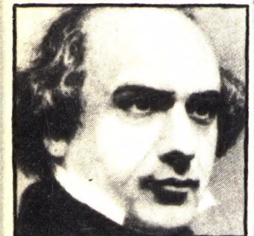
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

А.А. Левандовский

ВРЕМЯ ГРАНОВСКОГО

У истоков формирования русской интеллигенции

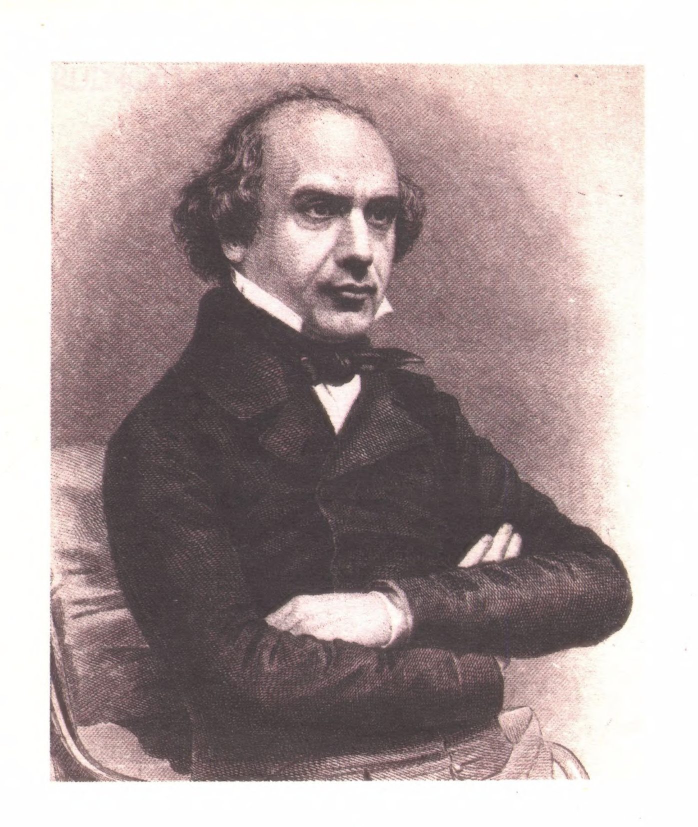


«...мы нуждаемся теперь в бескорыстных и неуклонных служителях науки, которые бы твердой рукою держали и высоко поднимали ее светоч; которые, говоря нам о добре и нравственности — о человеческом достоинстве и чести, собственною жизнью подтверждали истину своих слов... Таков был Грановский...»

/И. С. Тургенев./

1835 ГОДА

Молодая гвардия



А. А. Левандовский

ВРЕМЯ ГРАНОВСКОГО



Москва
«Молодая гвардия»
1990

ББК 63.3(2)47
Л 34

Левандовский А. А.

Л 34 Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции.— М.: Мол. гвардия, 1990.—304 с., ил.— /Исторические портреты/.

ISBN **5-235-00621-6**

Книга посвящена духовной жизни русского общества в 30—40-е годы XIX века, которые были названы А. И. Герценом «временем наружного рабства и внутреннего освобождения». В центре повествования фигура Т. Н. Грановского, крупного ученого, педагога и общественного деятеля. Книга рассчитана на массового читателя.

Л $\frac{0503020200—075}{078(02)—90}$ КБ —011—006—89 ББК 63.3(2)47

ISBN **5-235-00621-6**

ПРОЛОГ

Утром 14 декабря 1825 года первые русские революционеры вывели на Сенатскую площадь верные им войска. Те, кто решился на этот шаг, жаждали перемен — скорых, решительных и радикальных. Декабристы, мечтавшие о благоденствии России, до глубины души уязвлены были ее отсталостью; свято веря в созидательную силу разума, они воспринимали окружающую их действительность как неразумную и потому обреченную на уничтожение нелепость. В своих тайных обществах детально и основательно, по лучшим европейским образцам, декабристы разрабатывали программу коренных преобразований. Оставалось лишь взять власть в свои руки и, сметя прочь «бессмысленную старину», облагодетельствовать Россию мудрыми установлениями.

... Через несколько часов после начала восстания царская артиллерия в упор расстреляла каре бунтовщиков, построенное у памятника основателю Российской империи. Серый декабрьский день озарился вспышками выстрелов; залпы картечи прозвучали отходной по веку просвещения... Вместе с декабристами из жизни русского общества уходила наивная вера «в неминуемое и скорое торжество свободы и разума». Наступали тяжелые времена.

* * *

Новый царь, Николай I, казалось, самой природой был создан для защиты устоев и борьбы с вольномыслием. Он обладал ясным, холодным, но неглубоким умом, органически неспособным к восприятию идеи прогресса,— вечного развития всего сущего. Во всех своих действиях царь руководствовался врожденным, непреодолимым консерватизмом: он был искрен-

не убежден в упорядоченной неподвижности бытия. Любая мысль о серьезных преобразованиях воспринималась им как крамола, как зловредный зародыш бунта и анархии. Николай, впрочем, вообще не терпел отвлеченных рассуждений, стремясь предельно упростить любой вопрос, решить его в рамках элементарных арифметических действий; из всех цветов и оттенков для него существовало лишь два — черный и белый... К тому же царь, обладавший сильной волей и огромной работоспособностью, был чужд рефлексии и не ведал сомнений — во всяком случае, всегда решительно гнал их от себя. Не ведал Николай и жалости, хотя в его характере не было изуверской жестокости, но он всегда методически и с холодной беспощадностью карал за малейшее отклонение от установленного порядка вещей.

Натура Николая сказалась в его исключительном даже для семейства Романовых пристрастии к фрунту, сиречь военному, войсковому строю. Пристрастие это проявлялось во всем и прежде всего во внешнем облике императора: казалось, он так и родился в мундире... Высокий, рослый, широкогрудый, до конца дней своих сохранявший отличную выправку, царь так и запечатлелся в памяти современников великолепным образчиком офицера-строевика. Холодный, зоркий взгляд его больших серых глаз замечал малейшую погрешность; звонкий тенор был куда как хорош для четкого приказа, для «разноса и распекации». А чего стоила походка, знаменитая «военная походка», увековеченная Лесковым: «Голова прямо, грудь вперед, шаг маршевый, крупный и с наддачею, левая рука пригнута и держит пальцем за пуговицей мундира, а правая или указывает куда-нибудь повелительным жестом, или тихо, медленным движением обозначает такт, соответственно шагу ноги».

... Стройные, неподвижно застывшие ряды гвардии, над которыми в томительной тишине вот-вот прозвучит звонкая команда. Эхом разносятся голоса офицеров. И вот огромная людская масса приходит в движение, устремляясь в едином порыве, в едином

ритме к указанной цели... Эта картина не только услаждала взор самодержца, в ней черпал он уверенность в своих силах, в своем беспредельном могуществе и безграничной власти. Военные учения, смотры, парады с младых ногтей неудержимо влекли к себе Николая той предельной простотой и четкостью, с которой определялись здесь отношения между людьми: мудрый отец-командир, возложивший на себя все бремя власти; преданные, на лету ловящие каждое слово приказа исполнители во главе каждого подразделения; покорная масса, как один человек повинующаяся начальству... Здесь, на плацу, закладывались основы той «государственной мудрости», которой определялось все тридцатилетнее царствование Николая.

Взойдя на престол, он быстро обрел уверенность в том, что новая командная должность будет ему по плечу. Строгая централизация, полное единоначалие на всех уровнях управления, безоговорочное подчинение низших высшим — всей своей сущностью самодержавно-бюрократический строй как нельзя лучше отвечал фрунтовой натуре нового императора. К тому же с первых дней царствования он обрел мощную идейную опору своим природным склонностям и симпатиям в лице Николая Михайловича Карамзина.

* * *

Знаменитый историограф государства Российского менее всего был кабинетным ученым. К исследованию прошлого он обращался для того, чтобы понять настоящее; история, считал Карамзин, содержит в себе урок и «мудрым законодателям», и «простым гражданам». Во имя постижения этого урока сам Карамзин много лет упорно трудился над летописями и древними актами, создавая свою великую «Историю». Но еще до ее издания историограф однажды счел необходимым преподать постигнутое — и не кому-нибудь, а самому предшественнику Николая. В 1811 году встревожен-

ный упорными слухами о «коренном государственном преобразовании», подготавливаемом М. М. Сперанским, Карамзин представил Александру I «Записку о древней и новой России», в которой предельно ясно и отчетливо сформулировал свое кредо: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». В самодержавии залог благополучия русского народа. Задача государя состоит в том, чтобы совершенствовать существующий строй, избегая серьезных перемен. Карамзин не щадил нововведений Александрова царствования, утверждая, что вместо них достаточно было бы подыскать с полсотни хороших губернаторов и дать стране достойных духовных пастырей.

Если безнадежная попытка Сперанского придать российскому самодержавию европейский облик встревожила Карамзина, то грозные события 14 декабря потрясли его до глубины души. В этот день историограф был в Зимнем дворце, выходил на площадь... «Я видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упали к моим ногам». Глубоко прочувствовав угрозу возлюбленному им строю русской жизни, которую несло в себе восстание, он «алкал пушечного грома»... Когда же гром прогремел и горизонт самодержавной России очистился, Карамзин, насмерть простудившийся в этот день (он умер через два месяца), успел-таки дать новому царю несколько уроков политической грамоты.

Можно представить, с каким глубоким вниманием и сочувствием слушал Карамзина Николай. Умирающий историограф бросал семена на благодатную почву. Благодаря ему плац-парадные «убеждения» самодержца получали историческое обоснование и становились основой целой идеологической системы. Насколько хорошо усвоил Николай уроки, преподанные Карамзиным, можно судить, в частности, по письму, которым царь в июне 1826 года сопроводил доклад следственной комиссии по делу декабристов, посланный им брату, великому князю Константину. В этом письме царь дважды поминал «порядок вещей» в Рос-

сии, каждый раз вкладывая в это понятие разный смысл. Он писал здесь об «установленном порядке, освященном веками славы»,— о самодержавно-крепостническом строе, вечном, нерушимом, составляющем самую суть бытия русского народа; писал он и об эфемерном и опасном «порядке вещей», сложившемся в предыдущее царствование, имея в виду непоследовательность внутренней и внешней политики, неоправданные попытки реформ, попустительство либеральным идеям... Подобный «порядок», по словам Николая, неизбежно должен был привести к «подобным результатам» — открытому бунту против власти... Восстание 14 декабря объяснялось им прежде всего слабостью Александра I и его окружения; Николаю же это «отвратительное» событие давало «право и преимущество доказывать прочим необходимость мер быстрых и строгих». Вольномыслию, ведущему к смуте, следовало противопоставить силу; «анархическим устремлениям» — коренной порядок русской жизни, который нуждался не в преобразованиях, а, напротив, во всемерном укреплении.

* * *

Итак, новый самодержец чрезвычайно четко уяснил себе основную задачу своего царствования: он прежде всего стремился сохранить и укрепить существующий строй. А для этого следовало «всего лишь» навести порядок в «порядке»: отладить самодержавно-бюрократический механизм так, чтобы он действовал без перебоев. Нужно было изжить всякую непоследовательность в организации системы управления, придать ей стройность и целесообразность, покончить со злоупотреблениями и добиться на всех уровнях максимальной исполнительности. Средства же к достижению этих целей определялись фрунтовыми идеалами государя-императора, стремившегося, казалось, всю Россию превратить в огромный плац-парад.

...Каждое утро в Зимний дворец съезжались министры с туго набитыми портфелями. Царь ждал их в своем кабинете, готовый управлять и властвовать. Выслушав министерские доклады, Николай по-военному четко высказывал свою волю, которая воспринималась «властью исполнительной» почтительно и беспрекословно. Под перьями департаментских чиновников эта воля обретала соответствующую форму — и разносилась во всей Руси... С берегов Невы по всем направлениям летели фельдъегерские тройки, развозя по губерниям указы, рескрипты и циркуляры. На берегах Оки, Упы или Волги, в желтых казенных зданиях, поставленных на центральных площадях губернских городов, срабатывало следующее звено: царская воля, опять-таки должным образом оформленная, расходилась по уездам, получая воплощение во вполне конкретных административных деяниях — кого-то пороли, выбивая недоимку, кто-то шел под кнут «за предерзостное нарушение законов и постановлений», кому-то забривали лоб по новому рекрутскому набору. И на каждую входящую бумагу за №... незамедлительно составлялась исходящая бумага за №... . Курьеров не задерживали; порядок торжествовал по всей линии.

Отрабатывая эту систему, Николай не жалел усилий. Но его натура сказывалась и здесь: ему никак не давалась поза мудрого правителя, увлекающего за собой массы «единым мановением руки». Своим «стилем руководства» Николай больше всего походил на добросовестного служаку-строевика, муштрующего новобранцев: то сбоку забежит, то, впившись взором в «линию носка», на корточки присядет, то начнет темпы ружейных приемов вслух отсчитывать... И глаз с шеренги не спускает, потому что твердо уверен: расслабься он на мгновенье — и вся фрунтовая эквилибристика пойдет прахом.

Инстинктивно испытывая глубокое недоверие к исполнителям всех рангов, от министра до капитана-исправника, Николай стремился все сферы управления подчинить своему личному контролю. Недаром каждое

утро, в семь часов, в его кабинете уже горели свечи: царь трудился над ворохом бумаг, добросовестно пропуская через себя и журналы очередного комитета по крестьянскому вопросу, и донесения послов, и проект «реформы» обмундирования столичных будочников... Почти не было дня, чтобы царь пренебрег добровольно возложенной на себя обязанностью инспектировать казенные учреждения города Петербурга — в любой момент он мог нагрянуть с проверкой и в кадетский корпус, и в сиротский дом, и в суд, и в таможню. С той же целью ежегодно, не жалея лошадей, Николай, «смерчу подобно», стремглав носился по всей России, наказуя и милуя, распекая и награждая, требуя от чиновников всех рангов одного: б е з у п р е ч н о г о п о р я д к а в д е л а х.

Все эти инспекции неизбежно носили характер хаотический и произвольный; нерадивая администрация быстро притерпелась к ним, воспринимая стремительные наезды Николая как попущение божеское. Самодержец, впрочем, пытался найти и другие средства для того, чтобы усилить свой личный контроль над ходом дел в Российской империи. Небывалое доселе значение приобрела в годы царствования Николая собственная его императорского величества канцелярия. Функции этого прежде весьма скромного учреждения теперь становились все обширней. Канцелярия не просто росла, она, подобно яйцеклетке, размножалась делением, прибирая к рукам то кодификацию законов, то политический сыск, то кавказские дела... Николай последовательно изымал из традиционной бюрократической системы все новые, представлявшиеся ему наиболее важными категории дел, стремясь подчинить их через канцелярию своему собственному постоянному и чрезвычайному надзору.

Среди всех отделений с.е.и.в. канцелярии особо выделялось Третье; военно-полицейский дух николаевского царствования нашел в нем наиболее полное и яркое воплощение. На III отделение возлагались обязанности глобального контроля над всем и всеми. III отделение и подначальные ему жандармы долж-

ны были не только искоренять вольномыслие, но и следить за ходом дел в центральных и местных учреждениях, бороться с лихоимством и злоупотреблениями, блюсти нравственную чистоту как представителей власти, так и частных лиц, строго преследовать всякое уклонение или отклонение от обрядов православной церкви — короче говоря, обеспечивать все тот же вожделенный п о р я д о к во всех сферах русской жизни. Опираясь на агентов III отделения, самодержец как бы стремился преодолеть физическую невозможность повсеместного л и ч н о г о надзора. После его создания и государственный чиновник, и мирный обыватель в равной степени должны были ощущать за своими плечами постоянное присутствие верховной власти, контролирующей каждый их шаг и готовой воздать им должной мерой за каждое прегрешение.

* * *

Так совершенствовал Николай I самодержавно-бюрократическую систему правления в России. Печальный итог его государственной деятельности подвела Крымская война. Но это произошло через целых тридцать лет после начала царствования... На протяжении всего этого времени николаевская система производила на современников впечатление поистине ошеломляющее: казалось, в России заработала в полную силу неуклюжая, но мощная машина, способная без особого труда перемолоть любое инородное тело,— и нет той машине сносу...

Необходимо иметь в виду, что николаевский режим существовал отнюдь не только за счет произвола, слежки и командных окриков с высоты трона. У него были свои корни, свои традиции — и с этой точки зрения вполне понятно и оправданно благосклонное внимание молодого царя к карамзинской концепции русской истории. Была у николаевского режима и своя социальная база: тот порядок вещей, увековечить

который взялся царь, имел самых ревностных сторонников и в среде бюрократии всех чинов и рангов, и, самое главное, в помещичьих усадьбах. Среди них почти не было мыслителей, их действиями руководил инстинкт, а не разум. По справедливому замечанию Салтыкова-Щедрина, здесь «любовь к отечеству смешивали с выполнением распоряжений правительства и даже просто начальства». Но ведь это как раз и требовалось. Верноподданническое мировоззрение в эти времена сведено было к нескольким предельно четким и ясным формулам, которые следовало, не мудрствуя лукаво, затвердить на всю жизнь.

Яркое представление о мировоззрении привилегированных сословий дают заметки одного из характернейших действующих лиц николаевской эпохи — бессмертного управляющего III отделением Леонтия Васильевича Дубельта. Герцен справедливо считал его «умнее всех трех отделений канцелярии, вместе взятых» — от своих собратьев-чиновников Дубельт выгодно отличался умом, тонкой проницательностью и очень редкой по тем временам способностью действовать осознанно, предвидя результаты... К тому же у него была литературная жилка, сказавшаяся и в весьма красноречивых докладах «по начальству», и в чрезвычайно любопытных рукописных заметках «для себя», которые Леонтий Васильевич делал время от времени на протяжении всей своей многолетней службы. Эти заметки, не претендуя на звание «системы» или «теории», предельно четко выражали очень ясную и последовательную жизненную позицию.

В основе ее — хорошо усвоенная «первая обязанность честного человека: любить выше всего свое отечество и быть самым верным подданным своего государя». При этом высокая карамзинская мысль об ответственности монарха перед своей страной исчезла напрочь; понятия отечества и самодержавия у Дубельта сливались совершенно; без царя, по его мнению, не могло быть и России: ее «можно сравнить с арлекинским платьем, которого лоскутки сшиты одною ниткою,— и славно и красиво держатся. Эта нитка есть

самодержавие. Выдерни ее, и платье распадется». Все успехи России, весь ее международный авторитет — все заслуга «мудрых правителей»: «дай Бог здоровья и всякого счастия нашим царям, что они так прославили имя русское на земле...».

В своих заметках Дубельт не жалел славословий Николаю I — лучшему из самодержцев: «Все великое и прекрасное так свойственно нашему государю, что уж и не удивляет!.. Велик Николай Павлович, чудо-государь — какая конституция сравнится с его благодеяниями». Его царствование, в глазах Дубельта,— апофеоз России: «От времени и обстоятельств не только веси, грады и твердыни исчезают с лица земли, но и царства отжившие, как древа сгнившие в корне. Между тем не угаснет звезда России, венчающая славные и мудрые дела императора Николая Павловича...»

Под дланью мудрого и могучего монарха, взявшего на себя все тяготы государственного управления, «народу российскому» — крестьянам и помещикам — предоставлялось мирно благоденствовать, отправляя свои сословные обязанности в соответствии с «внутренним устройством империи»,— то есть крепостным правом. Крепостничество наряду с самодержавием — вот основной залог процветания России. «Наш народ,— пишет Дубельт,— оттого умен, что тих, а тих оттого, что несвободен». Русский «мужичок», по мнению автора заметок, совершенно счастлив в условиях крепостной неволи: он «живет мирно, обрабатывает свое поле и благодарит Бога за свой насущный кусок хлеба. Не троньте этот народ, оставьте его в патриархальной простоте и во всем природном его величии...» Не дай бог отменить крепостное право: «мужичок» сначала, может, и обрадуется, но потом, «потеряв голову от магического слова «свобода», захочет попытать счастья в другом месте, пойдет шататься по городам, где потеряет свою святую нравственность,— и погибнет...»

Исход трагический, но совершенно неизбежный,

ибо, как выясняется, комплименты в сметливости, честности и прочих добродетелях, которые расточает «мужичку» автор заметок, не мешают ему считать русского крестьянина «не скажу зверем, но получеловеком», не способным отвечать за свои поступки. За ним нужен постоянный надзор — и этот надзор, при нынешнем положении дел, образцово осуществляет поместное дворянство. «Помещик,— пишет Дубельт,— самый надежный оплот государя. Никакое войско не заменит той бдительности, того влияния, какое помещик ежеминутно... распространяет в своем имении. Уничтожь эту власть, народ напрет и нахлынет со временем на самого царя...» — вот ужасающая перспектива крестьянской реформы. В государственных интересах нужно стремиться к сохранению полной власти помещиков над крестьянами; «дело только в том, чтобы эту власть не употреблять во зло,— ну, а это уже дело правительства».

Так, несколькими крупными, отчетливыми мазками рисует Дубельт картину идеального государственного устройства, открывающего благонамеренному человеку неисчерпаемые возможности для счастливого житья-бытья. «Есть и у нас худое,— признает он,— без этого нельзя. Но уж ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно, в России. Это зависит от тебя; только не тронь никого, исполняй свои обязанности и тогда не найдешь нигде такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в царствии небесном».

Итак, склони голову перед существующим, покорись строгому, но справедливому порядку, знай свое место, не умствуй, не мечтай об ином — и ты обретешь истинное счастье! Этот призыв к благонамеренному россиянину не случаен: кому, как не Дубельту, специалисту-профессионалу по борьбе с инакомыслием, было знать истинную цену этой благонамеренности — в ней он видел поистине основу основ существующего порядка... Недаром в заключение этой тирады Дубельт иронически замечал: «Такие рассуждения, конечно, нашим журналистам, нашим передовым лю-

дям не по нутру...» Вот эти-то люди — изгои, оторванные от родной почвы, не связанные ни с каким сословием,— и были в глазах Дубельта единственным беспокойным, а следовательно, и опасным элементом в Российской империи, застывшей в своем благоденствии. В них, и только в них, видел он зловредную закваску «губительных перемен».

* * *

Воспетый Дубельтом государь император сознавал эту опасность не менее ясно. Трудно представить себе человеческое существо, вызывавшее большую неприязнь Николая, чем «штатские бездельники-щёлкоперы». Ходил характерный анекдот: просматривая как-то раз проекты городских построек, царь обратил свое неблагосклонное внимание на человечка, изображенного для масштаба на одном из них. Сей субъект, по воле автора проекта нарядившийся в цветной сюртук и панталоны, яркий жилет и широкополую шляпу, был изничтожен жирным крестом и гневным вопросом-резолюцией: «Это что за республиканец?!» С тех пор в подобных случаях изображали исключительно военных...

Николай, столь сурово отнесшийся к злополучному «франту», был по-своему логичен: одет вызывающе, не по форме, следовательно, не служит; шляется без толку по столице — чего ждать от этакого, кроме превратных идей? А в том, что подобные идеи отнюдь не канули в прошлое вместе с решительно раздавленными «злодеями-бунтовщиками», Николай не сомневался. В литературно-критических статьях и в университетских лекциях, в салонных спорах и в «вольных» стихах, во всем, что исходило из среды так называемых «передовых людей», царь не менее ясно, чем его верноподданный жандарм-мыслитель Дубельт, ощущал «декабристское наследство», опасное веянье духа перемен.

Если бы было возможно, император всех этих «передовых людей» перечеркнул бы крестом, напялил

на них военные мундиры, загнал в казенную службу. Но даже не знавший сомнений и не терпевший неясности Николай понимал невыполнимость подобных желаний. Со времен Петра верховная власть в России хорошо усвоила мысль о необходимости создания своих собственных кадров по-европейски образованных людей — работников на благо империи. Эта мысль, без сомнения, не чужда была и Николаю. Следовательно, приходилось мириться и с учеными, изучающими и преподающими полезные государству науки, и с издателями толстых журналов, и с авторами статей и публикаций в оных... В сознании роковой необходимости Николай, стиснув зубы, через силу, терпел всех этих людей, прощая им их возмутительно штатский вид, полное отсутствие выправки, и даже склонен был закрывать глаза на неуставные прически и бороды. Но он отлично сознавал, что провинности их не ограничивались внешним нарушением дисциплины; в его царствование люди, получившие образование, из полезных работников все больше превращались в «подрывателей основ»: они по каждому поводу имели собственное мнение, читали, распространяли и даже сочиняли книги злостного содержания, собирались в кружки, где вели возмутительные беседы,—короче говоря, представляли все более серьезную угрозу для существующего порядка вещей. Просвещение, без которого невозможно было обойтись в цивилизованном государстве, превращалось в то же время в главнейший источник «революционной заразы»...

* * *

Однако вернемся к Дубельту, в заметках которого содержится немало характерных сентенций по этому поводу. Дубельт, в принципе, не против просвещения и даже посмеивается над «староверами», его отрицающими, «ибо не просвещение портит людей, а ложное его направление». Замечательны примеры людей «истинно-просвещенных», которые приводит Дубельт: это его непосредственные начальники по жандармской

службе — граф Бенкендорф и граф Орлов, министр финансов граф Канкрин, министр двора граф Адлерберг, государственный секретарь граф Блудов,—во всей России Дубельт не находит никого более достойного подражания, чем эти образцовые чиновники. Именно их он имеет в виду, когда пишет: «Истинное просвещение должно быть основано на религии, тогда оно и плоды принесет сторицею. А когда просвещение религии знать не хочет и только опирается на дикий бездушный эгоизм, так и плоды будут адские, как начало его адское». Все эти беспокойные «передовые люди», журналисты и им подобные, являются, по мнению Дубельта, «адскими плодами» ложного просвещения; от них же «разврат» может пойти по всей Руси. Пока положение прочно, пока незыблемо стоят самодержавие и крепостное право, их держать в узде не так трудно. Но не дай бог «свободы» — зараза неизбежно перекинется на простой народ: начнет «мужичок» учиться грамоте,— что в крепостной России ему, слава богу, не угрожает,—и «станет развращать свои понятия чтением гадкой нынешней литературы: журналы собьют с толку....»

Впрочем, вся эта «гниль», по твердому убеждению Дубельта, наносная; она — зарубежного происхождения. Обличая «мерзкий Запад», автор заметок не стесняется в выражениях; обращаясь с «заветом» к своим сыновьям, он пишет: «Не заражайтесь бессмыслием Запада — это гадкая помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям; они ни вас и никого другого к добру не приведут... Для нас одна Россия должна быть самобытна, одна Россия должна существовать; все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение». Противостояние России и Запада должно быть полным и безусловным — в этом залог ее благополучия.

От Запада следует отгородиться идейно, *установив непроходимый карантин для «чуждых учений», стремящихся проникнуть в русское общество и развратить его; если же, паче чаяния, они найдут здесь*

последователей... Свое отношение к тем, кто изменял «устоям» русской жизни, Дубельт ясно выразил не на бумаге, а на практике — ежедневным и неустанным преследованием инакомыслящих; но и среди заметок его есть на сей счет весьма характерные; так, очевидно, уже в начале 1850-х годов, когда Герцен занял свое место в революционной эмиграции, Дубельт записал в гневе, что не знает в своих обширных лесах, пожалованных ему государем императором, такого «гадкого дерева», на котором затруднился бы повесить «этого мерзавца».

Мысль Дубельта ясна: одну из важнейших задач верховной власти он видел в безжалостной борьбе с любыми проявлениями «ложного» западного просвещения. И в то же время вынужденно признавал: без просвещения нельзя, оно необходимо — но в России оно должно принять принципиально иной, нежели на Западе, характер...

Впервые, может быть, за всю историю Русского самодержавного государства его представители так ясно ощутили необходимость идейного обоснования своего бытия. После первого революционного взрыва стало очевидным, что бороться с «духом времени» путем одних репрессий невозможно. «Людям движения» необходимо было противопоставить идеологию, *оправдывающую застой. Эту задачу и должна была выполнить концепция особого, истинно русского просвещения, воплотившаяся в теорию официальной народности.*

*Идеи, определявшие ее суть, носились в воздухе с первых дней восшествия на престол Николая 1. Их проповедовал молодому царю Карамзин, они пронизывали его Манифест о восшествии на престол и другие официальные акты этого времени. Но стройной теорией «официальная народность» стала лишь в начале 1830-х годов под пером Сергея Семеновича Уварова, чья в высшей степени характерная личность наложила неизгладимый отпечаток и на суть, и на форму этого «*credo*» российского самодержавия.*

* * *

... На первый взгляд Уваров заметно выделялся в толпе тех безгласных статистов российской бюрократии, которыми так любил окружать себя Николай I. При беглом знакомстве он вполне мог очаровать собеседника, произвести впечатление человека европейски образованного, талантливого и даже «благородно мыслящего». Однако все эти «прекрасные свойства ума и души» были не более чем искусным камуфляжем.

Цену уваровской образованности с безжалостной точностью определил Герцен: «Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала». Эта бесплодная, но зато весьма эффектная эрудиция входила в арсенал тех средств, с помощью которых Уваров штурмовал бюрократические высоты, а затем, достигнув вожделенного министерского кресла, удерживал его за собой без малого пятнадцать лет. Сергей Семенович был известен своим умением пустить пыль в глаза коллегам, подчиненным, а в случае необходимости и самому августейшему повелителю.

Однако, овладев в совершенстве внешними, «казовыми» приемами европейской образованности, Уваров был не только глубоко равнодушен, но и враждебен одушевлявшим ее идеям познания мира и человека. «Благородный образ мыслей» министра, позволявший некоторым современникам видеть в нем чуть ли не либерала, выражался реально лишь в краснобайстве, с помощью которого Сергей Семенович, холопски покорявшийся самодержавной воле, пытался изображать из себя государственного человека. Что же до общепризнанных «блестящих дарований» министра, то все они сводились на нет его вопиющей беспринципностью: причем, по свидетельству хорошо знавших Уварова современников, он был лишен не только твердых убеждений, но и элементарной порядочности. За блестящей фразой с «либеральным душком», за

солидными, импонирующими манерами, за внушительным ликом «мужа совета» европейского образца эти люди явственно различали столь знакомую россиянам неистребимую чиновничью натуру — холодную, расчетливую, и, в сущности, равнодушную ко всему, кроме собственных карьерных интересов.

Именно эти интересы и определяли деятельность Уварова на посту министра народного просвещения; исходя из них, сформулировал он свою знаменитую теорию. Недаром хорошо знавший министра С. М. Соловьев видел в нем «умного, хитрого холопа», стремившегося «потрафить» барину-самодуру. Уваров, писал историк, «быстро уловил «веяния времени» и сумел сформулировать ряд четких, логичных внешне положений, которые вполне отвечали настроению императора».

Для того чтобы примирить непримиримое — страх перед просвещением и сознание необходимости его постоянного развития,— нужен был именно Уваров с его холодным расчетливым умом, умением красно говорить и писать и, главное, с его удивительным, бесстыдным лицемерием. Он пренебрег ролью заурядного охранителя. Въехать в город на белом коне, сжечь гимназию, упразднить науки — все эти подвиги глуповского градоначальника в данном случае были неуместны. Кроме того, Уваров отлично понимал, что подобным градоначальникам вокруг трона несть числа; он же претендовал на исключительность, предлагая такую программу действий, в исполнители которой годился лишь один человек в России — он сам, со всеми его редкими в бюрократической среде «дарованиями».

Вместо погромов учебных заведений и упразднения наук Уваров развернул перед императором картину их процветания, невиданного на Руси. Однако, заявлял министр, это будут т а к и е науки и т а к и е учебные заведения, которые не только не повредят существующему строю, но, напротив, станут одной из самых надежных его опор.

Противоречия, мучившие императора, Уваров сни-

мал цепью следующих силлогизмов, отчасти уже знакомых нам по заметкам Дубельта. Он не возражал, что развитие просвещения способно подорвать государственную безопасность. Более того, Уваров прямо указывал, что именно «образованность», неизбежно и закономерно порождающая «разрушительные понятия», явилась основной причиной «грозных общественных бурь, потрясающих Европу». Но это касалось Европы, это была е в р о п е й с к а я образованность. В России же «порядок вещей устоял под натиском этих понятий, потому что опирался на неведомые Европе самобытные начала: православие, самодержавие и народность». До сих пор, по мнению Уварова, эти начала проявлялись в России в основном бессознательно, инстинктивно. Но что могло помешать государю императору с помощью преданного министра вызвать эти начала к сознательной жизни? Необходимо, заявлял Уваров, «собрать в единое целое священные остатки нашей народности и на них укрепить якорь нашего спасения», положив их в основу самобытного, «истинно-русского» просвещения.

Уваров не уставал доказывать императору, внимавшему ему до поры до времени весьма благосклонно, что просвещение само по себе не есть зло. Все зависит от его конкретного содержания, от его д у х а, который может и должен быть различным у разных народов. Просвещение может быть источником зла, революционных потрясений, как то случилось в Западной Европе, а может превратиться в элемент чисто охранительный — к чему и следует стремиться в России.

Сущность этого спасительного для страны просвещения вполне исчерпывалась знаменитой «триединой формулой»: православие, самодержавие, народность. Имелось в виду, что русский народ существует как единое целое лишь постольку, поскольку сохраняет верность самодержавию и подчиняется отеческому попечению православной церкви. Отказ от этих определяющих черт народного бытия неизбежно подрывает самое бытие... Любое выступление против самодержавного строя, любая критика церкви трактовались,

таким образом, как действия, направленные против коренных народных интересов,— со всеми вытекающими отсюда последствиями... Всем «служителям просвещения» в России — ученым, писателям, художникам, журналистам — вменялось в обязанность в своей деятельности исходить и с к л ю ч и т е л ь н о из этих несложных соображений. Каждый свой шаг, каждое слово свое они должны были постоянно поверять «триединой формулой», не за страх, а за совесть служа православию, самодержавию, народности.

Вот, собственно, и вся «теория», поелику возможно извлечь ее из писаний Уварова и официальных бумаг министерства просвещения. Ни о какой мировоззренческой глубине и идеологической искренности, которые были столь характерны для взглядов того же Карамзина, здесь не было и речи. Все уваровские «изыскания» носили откровенно прикладной характер; «официальная народность» отнюдь не стала философской системой: она воплотилась в сумму сугубо бюрократических предписаний. В полном соответствии с духом эпохи Уваров выработал предельно ясный и четкий кодекс поведения — точнее даже, кодекс мышления — для тех, кого более всего опасались власть предержащие. Во имя этого Уваров и стремился всеми средствами сковать развитие мысли, воздвигая искусственные «умственные плотины» на пути идей, опасных для порядка, господствующего в России.

Разрыв между словом и внутренним убеждением — характерная черта творца «официальной народности». Уваров, писал Соловьев, «придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочтя в свою жизнь ни одной русской книги, писавший постоянно по-французски и по-немецки». Уваровская теория была не более чем ловкой канцелярской штучкой — лживой, лицемерной и потому лишенной созидательной силы. Как попытка п р о т и в о п о с т а в и т ь западному просвещению какое-то «свое»,

«истинно-русское», теория «официальной народности» была просто недобросовестна. Герцен совершенно справедливо писал по этому поводу, что не может быть двух наук — русской и западной, что отказываться от последней «значит убивать вообще развитие науки и сводить преподавание на сухие исторические, филологические, математические сведения, не связанные единой мыслью». Шаманские заклинания «самодержавием, православием, народностью» ни в коем случае не могли заменить «связующую мысль» европейского просвещения.

Зато уваровское изобретение как нельзя лучше годилось для б о р ь б ы с этим просвещением. Бюрократическое клише «триединой формулы» было нетрудно приложить к любому явлению русской общественной и культурной жизни — и безжалостно отсечь то, что в него не укладывалось. «Официальная народность» обладала немалой силой, но не созидающей, а сугубо разрушительной. Благодаря Уварову самодержавие получило мощное и удобное в обращении орудие идейной борьбы, которое к тому же как нельзя лучше соответствовало деспотическому духу николаевского режима.

* * *

Да, для «людей движения» в России наступили тяжелые времена. Деспотизм, казалось, сомкнул кольцо облавы и обрек своих противников на полное уничтожение. К тому же их терзала не только внешняя реакция. Разгром декабристов, лишивший русское общество многих лучших его представителей, породил в русском обществе горькие сомнения...

В «Былом и думах» Герцен дал яркую характеристику своим старшим товарищам, сверстникам декабристов, похожим «на львов в клетке», снедаемых жаждой скорых перемен, для которых они нигде не находили «ни простора, ни дела». Духовная сломленность этого поколения, быть может, самое яркое выражение свое нашла в знаменитом «Философическом письме» П. Я. Чаадаева, в котором адресат пушкинского

призыва «...отчизне посвятим души прекрасные порывы» читал этой отчизне отходную...

Робкие попытки русской молодежи продолжить дело декабристов не имели ни малейшего успеха. Студенческие нелегальные кружки конца 1820-х — начала 1830-х годов были малочисленны и слабосильны; они собирали под свои знамена людей, чьи действия определялись скорее эмоциями, чем разумом: ненависть к официальной России у многих из них была безмерна, но на одном этом чувстве в будущее не прорвешься... Судьба «эпигонов декабризма», быть может, более всего страшила тем мраком, который ее окутывал. Современники могли сколь угодно долго вопрошать, подобно Герцену, о создателях революционных кружков—братьях Критских, Сунгурове: «...что они сделали? Кто их осудил? На что их осудили?» Ответа не было. Несчастные исчезали из жизни, не услышав гула восставших полков и пушечных залпов. Исчезали безмолвно, бесследно...

В николаевской России становилось практически невозможно бороться за социально-экономические и политические преобразования. Да и возможны ли были эти преобразования в той форме, которую предлагали вожди декабризма? Возможно ли было облагодетельствовать Россию, механически перенеся сюда и насильственно внедрив сверху заимствованные в западной литературе абстрактные схемы «идеального строя жизни»? Горький опыт декабристов предстояло осмыслить их преемникам...

Вынужденное бездействие, на которое Николай обрек русское общество, было тяжелым искусом для тех, кто жаждал перемен. Но зато у них появилось предостаточно времени для размышлений, а поразмыслить было о чем. Век просвещения уходил в прошлое, унося с собой наивные надежды на то, что несовершенный мир будет рационально переустроен мудрыми правителями, вкусившими плодов передовой философии. Новый век нес с собой новые идеи, обязывающие разобраться в окружающем мире как в объективной реальности, осознать управляющие им

законы, определить путь, по которому идет все человечество, и твой собственный, единственный и неповторимый народ — путь, где нельзя ничего не убавить, не прибавить, как бы ни влекли тебя к этому твои разум и чувства...

В безмолвии и мертвом покое николаевской темницы хорошо думалось. Передовым людям той поры, которую современник справедливо назвал «замечательным десятилетием», крепко-накрепко связали руки, но поработить их духовно и умственно не удалось. «Люди 1840-х» приняли бой, навязанный им самодержавием в сфере «высоких идей», и одержали решительную победу. Поистине эпоха беспощадного деспотизма стала для них не только «временем наружного рабства», но и «временем внутреннего освобождения». В очень узком кругу медленно, почти незаметно для всех, даже для III отделения, совершалось это освобождение, чтобы затем вырваться наружу, захватить русское общество, взбудоражить всю Россию.

«Тридцать лет тому назад,— писал в «Былом и думах» Герцен,— Россия будущего *существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей — а в них было наследие 14 декабря — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера».*

И в каких удивительных людях воплотилась эта жизнь! Станкевич и Герцен, Белинский и Константин Аксаков, Самарин и братья Киреевские — целое созвездие неповторимо ярких индивидуальностей: мыслителей, ученых, писателей, публицистов. Наша книга посвящена одному из них — Тимофею Николаевичу Грановскому, человеку, который, как никто другой, полно вобрал в себя все характерные особенности своего времени, его радость и боль, беды и свершения, став еще при жизни символом, олицетворявшим дух «замечательного десятилетия».

ГЛАВА I. «ЗА ЗОЛОТЫМ РУНОМ»

К началу XIX века в Российской империи образовался целый слой людей, вполне благополучных и ничем всерьез не озабоченных. Что мог требовать от жизни помещик средней руки, живущий в достатке, обеспеченном даровым крестьянским трудом, или провинциальный чиновник, дотянувший до такого же достатка свою служебную лямку? Разве что дальнейшего роста доходов, округления владений, продвижения по службе — все это по мере возможности, конечно... Любые серьезные перемены в жизни могли вызвать у этих людей лишь беспокойство и страх; должно быть, именно среди них и родилась пословица «От добра добра не ищут».

Оборотной стороной гарантированного благополучия являлась та жуткая рутина, которая плотной пеленой окутала жизнь русской провинции. Где-то мечтали, боролись, искали — здесь изо дня в день жирно ели и мягко спали, заполняли досуг охотой, выпивкой и картами. Существующее совершенно искренне возводилось здесь в идеал — недаром помещичье-чиновничья провинция, Россия мертвых душ стала одной из самых надежных опор самодержавия николаевской формации. Немало чистых светлых людей исковеркала эта среда, топя их в трясине бездумного, безмятежного существования...

Семейство, в котором 9 мая 1813 года появился на свет Тимофей Николаевич Грановский, было вполне заурядным провинциальным дворянским семейством. Своеобразием здесь отличались лишь некоторые «фамильные предания»... Дело в том, что «род Грановских» отнюдь не уходил своими корнями в седую древность. Подлинным основателем его был дед историка, сирота темного происхождения, который пришел в город Орел пешком, бог весть откуда, и всего с пятнадцатью копейками в кармане. Впрочем, вскоре выяснилось, что скудость материальных ресурсов

Тимофея Грановского-старшего с лихвой возмещалась силой характера, энергией и оборотливостью. Послужив какое-то время в казенной службе, он решительно ускорил «течение судеб»: умыкнул дочь своего начальника, женился на ней и сумел стребовать с разгневанного тестя приданое. Положив, таким образом, основу своего материального благополучия, дед историка занялся «частным промыслом»: он стал ходатаем по гражданским делам — и ходатаем весьма удачливым. Имя его, как знающего и дельного законника, получило широкую известность в Орле и его окрестностях.

Всю жизнь дед историка добивался сытого, спокойного существования для себя и своих близких. И вот с годами цель была достигнута: удобный дом в городе, доходное имение близ него, полный достаток — чего еще желать от судьбы? Как бы с целью подчеркнуть устойчивость и надежность своего положения, старик зажил строго и размеренно; он упорно поддерживал в доме раз и навсегда заведенный порядок; даже кушанья к столу каждый день подавались одни и те же. Но недюжинная натура старика никак не могла смириться с вожделенным животным благополучием; ее резкие, оригинальные черты слишком противоречили унылому укладу жизни русской провинции. «Основатель рода» Грановских инстинктивно искал выход духовным и физическим силам, которые, несмотря на возраст, продолжали бурлить в нем. Ему суждено было постоянно удивлять окружающих; соседи считали его чудаком и даже человеком не вполне нормальным. Не имея никакого образования, старик пристрастился к чтению: все стены его покоев в орловском доме пестрели назидательными выписками из самых разнообразных книг. Известно было, что он долго сидел над проектом преобразования судебных учреждений в России; проект этот потом долго ходил по рукам в Орле, и все читавшие признавали его дельным, умным, хотя и не лишенным странностей. Овдовев, старик сразу же снова женился на молодой женщине, которая любила и ревновала его сверх

меры. Под конец жизни он действительно сошел с ума и последние годы прожил пленником маленького флигеля в своем Погорельце.

Если старик Грановский так и не смог органично слиться со средой, в которую так долго и упорно пробивался, то его сын явился самым достойным ее представителем. Николай Тимофеевич был воплощенным гоголевским обывателем-байбаком, который чувствовал себя счастливо только за зеленым ломберным столом. Незлой, неглупый человек, он перечеркивал все свои достоинства всепоглощающей, необоримой ленью. Апатичный и равнодушный ко всему, кроме карточной игры, он вяло служил, исполняя спустя рукава не слишком обременительные обязанности советника соляного управления, и так же вяло, словно нехотя, жил. Все благополучие семейства зиждилось исключительно на сильном характере и неуемной, деятельной натуре старика Грановского.

Сын-первенец молодой четы Грановских удался в деда — так, по крайней мере, решил сам старик, души не чаявший в своем внуке-тезке. С рук кормилицы он забрал малыша в свои комнаты, сам ходил за ним и вопреки своему крутому нраву сильно баловал. По мере того как внук рос, старик привязывался к нему все сильнее. Он раньше, чем кто-либо, ощутил в мальчике ту даровитость и жизненную силу, которыми сам наделен был в избытке и которых так не хватало его сыну... Старик стал первым учителем внука, усадив его за Библию; в пять лет малыш уже не только свободно читал, но и изумлял священников, навещавших деда, знанием многих заученных наизусть текстов.

Свои чувства к внуку старик Грановский сохранил даже после того, как сошел с ума: во флигеле, под крылышком деда, мальчуган нередко отсиживался от разных домашних невзгод — не признававший никого из близких, старик лишь своего любимца ласкал по-прежнему.

В год смерти деда мальчику минуло девять, а все его образование по-прежнему заключалось в затверженных на память отрывках из Священного писа-

ния... Отец проявлял к судьбе первенца непостижимое равнодушие. Одна надежда оставалась на мать...

Добрая и ласковая Анна Васильевна Грановская нежно любила своих детей. Историк всегда вспоминал о ней с трогательным чувством и к ее влиянию относил все, что было в нем лучшего. От матери Грановский, очевидно, унаследовал те черты характера — терпимость, мягкость, незлобивость,— которые так привлекали к нему друзей и близких. Но, может быть, именно вследствие этих прекрасных душевных черт Анна Васильевна не имела никакого влияния на мужа и была не в силах расшевелить его, заставить подумать о ребенке. Маленькому Тимофею, казалось, грозила незавидная судьба Митрофанушки. Анна Васильевна ясно сознавала эту опасность. Однако сама она, дочь малороссийского помещика, получила обычное для провинциальной барышни воспитание, то есть была плоть от плоти той среды, гибельное влияние которой ей приходилось преодолевать. Все ее попытки помочь сыну носили сумбурный характер.

Как и в большинстве помещичьих семей, главную роль в обучении Грановского на первых порах играли гувернеры из французов. Эти случайные люди не дали, да и не могли дать мальчику ничего, кроме знания языков: в десять лет Грановский уже бегло разговаривал по-французски, неплохо знал и английский язык. Какое-то время он занимался вместе с детьми соседей — богатых помещиков Храповицких, получавших домашнее образование у разных педагогов. Однако продолжалось это недолго.

В 1826 году, тринадцати лет от роду, Грановского отправили в Москву, в пансион коллежского советника доктора Федора Кистера, который был вполне достойным звеном той системы обучения дворянских недорослей, которая начиналась гувернером «из французов», а заканчивалась обычно в армейских казармах или провинциальной канцелярией. Все здесь было зыбко, непрочно, неопределенно: пансион не имел ни постоянного штата преподавателей, ни даже постоянного местопребывания — за два года обучения в нем Гра-

новского пансион трижды менял свой адрес. Обучались здесь языкам и наукам гуманитарным: истории, географии, российской словесности. Пособия и руководства, по которым приходилось учиться, были очень скучные, зато учителя «развлекали» пансионеров как могли: по словам соученика Грановского В. Селиванова, их педагогические приемы были «куда оригинальнее руководств».

Особенно блистал в этом отношении экстраординарный профессор Московского университета Н. А. Бекетов, преподававший в пансионе историю и географию. Урок свой он обычно начинал беседой с одним из учеников — сыном частного пристава, о местных происшествиях: «воровстве, смертоубийствах, найденном трупе или пожаре». Где-то через полчаса, пресытившись полицейскими новостями, Бекетов гремел: «Шестеро из бочки!» Начиналась обычная процедура опроса — шестеро самых «безуспешных» школяров с последней скамьи обреченно брели к кафедре и молча становились там на колени. За ними следовали «четверо из бочки»— ученики с предпоследней скамьи и т. д. Опрашивая тех немногих, кто пытался ему что-то ответить, Бекетов не забывал и «безуспешных»: он с самым веселым лицом дергал их за волосы, долбил костяной указкой по головам и хлопал по ладоням, от чего поднимался страшный визг. Учитель же, хохоча, приговаривал: «Полудурье, дурак, скотина». Вместе с ним хохотал весь класс. Затем Бекетов задавал урок, посылал кого-нибудь из учеников к хозяину пансиона за двугривенным «на извозчика» и исчезал до следующего занятия. И вся эта смесь безалаберного разгильдяйства с откровенным садизмом значилась в пансионе Кистера как «изучение истории и географии». «Никакого толкования, никакого изустного объяснения, ни даже разговора об истории, как предмете занятия, мы не слыхали в классе»,— негодовал задним числом Селиванов.

Однако даже это бестолковое обучение было прервано самым нелепым и обидным образом: после того как Грановский пробыл в пансионе два года, его «вы-

писали домой» на летние вакации и... «забыли» отправить обратно. По словам друга и биографа Грановского П. Н. Кудрявцева, «частично по беспечности, частично по привычке откладывать» юношу три года (!) продержали в отчем доме «в совершенной пустоте и бездеятельности», а затем недоучкой послали к родственникам в Петербург — устраиваться на казенную службу.

* * *

Грановского не назовешь баловнем судьбы. Он так и не получил в юности сколько-нибудь дельного образования, не смог уяснить своих жизненных целей, и не было рядом с ним мудрого учителя, способного наставить будущего историка на путь истинный. Казалось, юноше суждено было кануть с головой в непролазную канцелярскую трясину... Спасла натура, столь же даровитая, как у деда, только взбунтовалась она раньше. Дело в том, что Грановским с детства овладела «одна, но пламенная страсть»— его неудержимо влекло к книгам. Поначалу он перечитал все, что было в доме: путешествия аббата Делапорта, лесажевского Жиль Блаза, романы Вальтера Скотта... Затем стал брать книги у соседей. Анна Васильевна всеми силами поощряла увлечение сына. Ей удалось получить доступ к самым богатым библиотекам Орла: графа Каменского и Пушкарева. По словам первого биографа Грановского А. В. Станкевича, «слуги этих господ носили Грановскому книги целыми узлами. Мать платила за это людям, а сын наслаждался. Домашние нередко видели ребенка на коленях возле шкафа, перед которым он склонялся, чтобы достать книгу, и тут же, углубившись в чтение, оставался в таком положении с книгою в одной руке и с завтраком в другой».

Запойное чтение продолжалось и в пансионе: записки соученика донесли до нас первое, пожалуй, свидетельство увлечения Грановского историей: нелепая фигура «историка» Бекетова, способного кого угодно отвратить от этой науки, была повержена в прах создателем «Истории государства Российского»,— Селива-

нов сохранил в памяти образ «юноши с девятым томом Карамзина в руках и с патриотическим воодушевлением глядящего из окон дома Гусятникова на верхи кремлевских соборов...». При этом Грановский отлично усваивал то, что читал, был памятлив, сообразителен: его «быстрые способности» отмечали еще учителя в доме Храповицких; на самом лучшем счету он был и в нелепом заведении доктора Кистера.

Конечно же, беспорядочное чтение само по себе не могло сформировать человека; и все же оно не давало заснуть, смириться с застойной тишиной и покоем. Недаром юноша так тяжело переживал свое трехлетнее орловское «сидение»: беспечная, бездельная жизнь стала для него тяжелым испытанием, наложившим неизгладимый отпечаток на его отношение к родному городу. «...И сколько тяжелых воспоминаний вызывают эти улицы,— писал он из Орла много лет спустя.— Отрадных почти нет».

Ведь именно в это время юноша, по его собственным словам, начинал ощущать «жажду деятельности без определенной цели и огромные надежды»; он искал свою звезду; его томили неясные мечты... А дома ждали неизбежные охота, визиты к соседям, флирт с местными барышнями. Все книги, которые можно было раздобыть в городе, давным-давно были прочитаны. С тоски Грановский, всегда равнодушный к точным наукам, несколько месяцев отчаянно зубрил «какую-то математику».

Петербург оказался для юноши воистину спасением: вдохновляющее ощущение независимости, новые знакомства и главное — новые книги... Грановский поступил на службу в один из департаментов министерства иностранных дел, сумев устроиться так, что чиновничья лямка не слишком резала ему плечо: он посвящал переводу и переписке служебных бумаг лишь утро. Днем же юноша отправлялся в Императорскую библиотеку, а вечером шел в дешевый французский театр или в кондитерскую — не столько ради чашки шоколада, сколько потому, что кондитерские в те времена заменяли читальни: в них выписывали для

посетителей газеты и журналы. Впрочем, ко всей этой распрекрасной жизни Грановский очень скоро стал относиться лишь как к кратковременной передышке после «грязного и подлого Орла». Прослужив с полгода, он принял решение, определившее его судьбу: в июне 1831 года Грановский с твердостью, несколько неожиданной в этом застенчивом юноше, сообщил родителям, что подал в отставку и собирается держать экзамены в Петербургский университет.

Мать отнеслась к решению сына с обычным для нее пониманием, отец проявил столь же обычное равнодушие. Вопрос, таким образом, был решен, и Грановский начал усиленно готовиться к предстоящим экзаменам.

...Вскоре ему пришлось пройти через одно из самых страшных испытаний в жизни: в июле 1831 года неожиданно умерла мать. Этот удар Грановский переживал тяжело и долго. «Мысль, что ее нет более,— писал он через несколько месяцев,— делается все невыносимей с каждым днем; что станется со мною без нее! Моя мать была моим Провидением на земле».

Смерть матери заставила юношу с удвоенной силой приняться за пособия и руководства: Грановский хорошо помнил, с каким восторгом приняла Анна Васильевна известие о его решении поступить в университет, стать ученым; он утешал себя тем, «что будет достоин ее».

Со смертью матери резко ухудшилось материальное положение юноши. Отец месяцами не высылал ему денег. Между тем Грановский отлично сознавал, насколько он, недоучка пансиона доктора Кистера, плохо подготовлен к вступительным экзаменам. Он хотел брать уроки, но средств не было: нередко денег не хватало даже на еду, и Грановский неделями сидел на вареной картошке, запивая ее слабым чаем. Когда же он окончательно испортил глаза ночным чтением, то долго не мог позволить себе купить очки. «Черт выдумал деньги!»— с отчаянием восклицал Грановский в одном из писем. Вскоре появились неизбежные долги, которые неуклонно росли и очень беспокоили юношу.

Напряженная учеба, лишения, обостренное чувство

зависимости от совершенно равнодушного к его судьбе отца, тревога за брата и сестер, оставшихся в Орле под опекой этого фатально равнодушного человека, вконец подорвали и без того слабое здоровье Грановского. Весной 1832 года он заболел всерьез и надолго.

И все же юноше удалось добиться своего: преодолев все препоны, он выдержал экзамены и поступил на юридический факультет Петербургского университета.

* * *

На протяжении всего девятнадцатого века юридические факультеты российских университетов являлись обычным прибежищем для молодых людей, желавших получить высшее образование, но крайне смутно представлявших, какое, собственно, образование им надобно. Юный Грановский с его сильным, но очень неопределенным стремлением к знанию, с его туманными мечтами о будущем был, очевидно, из их числа. Его университетский приятель В. Григорьев справедливо писал, что выбор Грановским факультета «определился отрицательно — нерасположением к математике и слабым для философского факультета знанием латыни».

Между тем, именно с точки зрения будущего, выбор Грановским факультета был неудачен: здесь готовили прежде всего чиновников, и юноша очень скоро понял это. «Я работаю сколько есть сил, чтобы со временем сделаться писарем»,— писал он с горечью. Перспектива для Грановского была действительно печальная: ведь он стремился получить университетское образование не для того, чтобы облегчить себе чиновничью карьеру, а для того, чтобы избежать ее.

Не могли удовлетворить Грановского и те «учителя и наставники», которых предоставлял своим питомцам юридический факультет. Впрочем, это была общая беда Петербургского университета, который переживал тогда тяжелые времена. Лишь в 1827 году было официально прекращено дело о прогрессивно настроенной профессуре, стоившее университету его лучших сил. В начале же 1830-х годов посредственность здесь не

просто преобладала — она царила. «...Многих тогдашних профессоров, отчасти даже знаменитостей,— писал в середине 1850-х годов В. Григорьев,— не сделали бы теперь учителями в порядочных гимназиях... На три-четыре человека, вполне удовлетворявших своему назначению, приходилось двадцать, тридцать человек, отставших от науки или никогда не погружавшихся в нее на достаточную глубину,— людей, смотревших на деятельность свою единственно как на средство существования, не имевших ни призвания к профессуре, ни любви к знанию, ни умения, ни желания возбудить его в слушателях». Пансионский монстр Бекетов был многократно воспроизведен в петербургской профессуре, пусть без его костяной указки, но все с тем же изучением наук по древним пособиям «от сих до сих».

В университете царила зубрежка. При ответе на экзаменах любые отклонения от «канонического» текста пособия и лекций воспринимались профессорами как личное оскорбление. Наиболее усердные студенты тратили массу времени и сил на бездумное заучивание скучных и неуклюжих творений квазинаучной мысли. Григорьев вспоминал, как, желая отличиться, он зазубрил наизусть (!) «Историю Греции» Арсеньева — «два тома убористого текста».

Что же касается тех трех-четырех человек, которых Григорьев выделял среди петербургской профессуры, то они могли показаться приятным исключением лишь при полном засилье рутины и бездарности. Об одном из таких профессоров — Фишере, преподававшем философию и весьма популярном среди студентов, Грановский впоследствии писал из Берлина: «Я не знал, что такое философия, пока не приехал сюда, Фишер читал нам какую-то другую науку, пользу которой я теперь решительно не понимаю».

Университет не оправдал надежд Грановского: он добросовестно учился, но смутные мечты его не стали яснее; звезда оставалась скрытой за облаками. Впоследствии Кудрявцев подвел совершенно справедливый итог этому периоду жизни своего друга: «Гранов-

ский прошел трехгодичный университетский курс, как добрую солидную школу, в которой имел случай познакомиться со многими науками и собрать хороший запас фактических сведений разного рода, но в которой не состоял ни под каким влиянием, так что, выходя из нее, не вынес никакого решительно направления».

Почти в таком же положении находились сверстники Грановского, учившиеся в то время в Московском университете. Там, правда, «звезд» было больше, и светили они на фоне общей для русских университетов того времени рутины ярче; и все же определяющую роль в духовном развитии Герцена и Огарева, Станкевича и Белинского, Каткова и К. Аксакова сыграли, очевидно, не столько лекции Каченовского и Надеждина, сколько постоянное общение в дружеских кружках, совместное постижение «тайн бытия», нескончаемые споры, в которых медленно, но верно постигалась истина...

Грановский был лишен и этого счастья. Те дружеские связи, которые завязались у него в студенческие годы, немногого стоили. Вокруг Грановского тоже сложился кружок, но совершенно безликий. Интересы его друзей не поднимались над обычным обывательским уровнем. «Толковали о всякой всячине,— вспоминал Григорьев,— мир духов и привидений был почти постоянным предметом рассказов, соображений и догадок». Петербургскую молодежь не трогали политические вопросы, так волновавшие в это время Герцена и его друзей; и философские интересы, объединявшие членов кружка Станкевича, так же были совершенно ей чужды. «Париж, Палата депутатов и ее ораторы для нас не существовали... Про Гегеля едва ли слух до нас доходил». Общение со студенческими приятелями ничего не дало Грановскому; неудивительно, что связи с ними — за исключением Григорьева — порвались вскоре после окончания университета быстро и безболезненно.

И все же это время не прошло бесследно. В студенческие годы Грановский сумел сделать важный шаг в своем развитии, причем так же, как и в детстве, совершенно самостоятельно, за счет вдохновен-

ного, запойного чтения. Но теперь он читал со строгим и весьма показательным выбором: Грановский внимательно изучал труды Юма, Гиббона и Робертсона — английских ученых, много сделавших для развития исторической науки. Он зачитывался и сочинениями современных французских историков, прежде всего Гизо и О. Тьерри,— сочинениями, составлявшими последнее слово этой науки. Учась в университете, Грановский овладел лучшими произведениями европейской историографии; лишь труды немецких ученых оставались для него, по незнанию языка, тайною за семью печатями. От блистательного поглощения исторических книг — пусть даже и очень хороших — еще далеко до профессиональных занятий историей. И все же можно, наверное, говорить о том, что уже в студенческие годы Грановский ощутил свое призвание и сделал первый, пусть самый робкий, шаг по избранному пути.

Однако после окончания университета Грановскому опять пришлось впрягаться в ненавистное канцелярское ярмо. Нужно отдать должное выбору им места службы: он устроился помощником библиотекаря в один из департаментов морского министерства. С точки зрения карьеры это было совершенно гиблое, безнадежное место, но Грановский о карьере и не хлопотал. Зато теперь он был избавлен «от рапортов, предписаний и всякого рода деловых бумаг, столь страшных для молодежи и артистических натур в особенности». Служба оставляла много досуга, который Грановский использовал весьма плодотворно, продолжая самостоятельно, на свой страх и риск, овладевать историческими знаниями. В это время он начинает публиковать статьи и заметки, причем в большинстве случаев так же исторического характера.

Эта работа, впрочем, носила чисто компилятивный характер и едва ли сыграла серьезную роль в становлении Грановского-историка. Зато благодаря сотрудничеству в петербургских журналах он свел несколько знакомств, обещавших для него важные

последствия. Так, в «Библиотеке для чтения» он познакомился с Е. Ф. Коршем, в «Журнале Министерства народного просвещения»— с Я. М. Неверовым. От первого тянулась ниточка в будущее — к Герцену, Огареву, молодой профессуре Московского университета; второй был близким другом Н. В. Станкевича и полноправным членом его кружка. Именно благодаря Неверову произошло одно из важнейших событий в жизни историка: летом 1835 года, проезжая через Москву на родину, Грановский с рекомендательным письмом нового приятеля явился с визитом к Н. В. Станкевичу. Так было положено начало дружбе, сыгравшей исключительную роль в духовном становлении Грановского.

Во всех же прочих отношениях 1835 год был далеко не лучшим временем в жизни Грановского. Журнальная поденщина, в равной степени как и служба в департаментской библиотеке, не открывала перед ним никаких перспектив. К тому же, как и в студенческие годы, ему постоянно приходилось во всем ограничивать себя: деньги из Орла приходили крайне нерегулярно; того же, что приходило, едва хватало на уплату долгов. А будущее казалось таким зыбким, таким туманным...

Но Грановский действительно родился под счастливой звездой: в конце томительного 1835 года он получил предложение от попечителя московского учебного округа С. Г. Строганова отправиться в Германию, в Берлин, «для усовершенствования в науках» с тем, чтобы по возвращении занять в Московском университете кафедру зарубежной истории. Этим предложением, походившим на чудо, Грановский был обязан своим новым друзьям — членам кружка Станкевича. В мае 1836 года, после того как были улажены все необходимые формальности, Грановский пароходом отплыл в Германию «за золотым руном европейской науки».

* * *

Свои занятия в Берлине Грановский начал с немецкого языка: к началу учебного года он вполне свободно говорил и читал по-немецки, а вскоре уже безо всякого напряжения мог воспринимать насыщен-

ные сложнейшей терминологией лекции по истории и философии.

Стремительное овладение почти незнакомым языком явилось лишним подтверждением серьезных намерений Грановского, отлично сознававшего, какой огромный объем работы предстоит выполнить ему, ученику бездарной петербургской профессуры. «... Я только теперь начал заниматься наукою как должно...— с горечью замечал он в одном из писем,— я должен учиться тому, что знает иной ребенок. Впрочем, я не упал духом от сознания собственного невежества, бодро взялся за дело...»

Свой первый учебный год в Берлинском университете Грановский начинал в приподнятом состоянии духа: сбылись его мечты — он был у источника знаний, в одном из самых лучших учебных заведений Европы. В первом же семестре он слушал профессоров, чья слава прогремела на весь ученый мир: Риттера, Раумера, Ранке. «Какие люди!»— восторженно сообщал он друзьям.

Однако вскоре восторги поумерились. Грановский всерьез искал «золотое руно», а потому мало было иметь громкое имя, чтобы увлечь его за собой. О том же Раумере Грановский писал Неверову: «Он много знает, но холоден и мелочен. Говорит о пустяках, которые всякому известны, а сверх того не имеет никакого твердого мнения от желания быть беспристрастным». Грановский же требовал именно мнений; в самом начале пути он уже ждал от своих наставников не педантичного перечисления фактов, а осознания их, проникновения в суть явлений и, главное,— объяснения их связи, их взаимодействия. О Ранке, сразу же ставшем его кумиром, Грановский писал: «Он понимает историю»,— и это в его устах звучало как высшая похвала.

Понять историю стремился и сам Грановский. Он хорошо сознавал, что этого невозможно достичь, замкнувшись в узкие рамки одной исторической темы: как добросовестно и полно ни собирай фактический материал, сам по себе он ничего объяснить не может. Чтобы

не заблудиться в лабиринтах истории, исследователю необходима надежная путеводная нить, факты нужно «скрепить идеей» — иначе, подобно Раумеру, он неизбежно будет обречен на тусклое и бесплодное «беспристрастие».

Восторги, вызванные первыми лекциями берлинских профессоров, сменились сомнениями; сомнения порождали вопросы. Такие же вопросы волновали и многих сверстников Грановского. «Тайны бытия» влекли их неотразимо; это было поистине веянье времени... Предыдущему поколению русской молодежи все эти вопросы показались бы просто банальными: ведь век Просвещения оставил им в наследство такие простые и ясные ответы на них. Человеческий разум — вот та определяющая сила истории, в которую свято верили ученики просветителей. Благодаря своему разуму человек осознает несовершенство окружающего мира, посредством разума создает он ясные, логичные, хорошо продуманные программы преобразований. Затем остается лишь раскрыть глаза окружающим, убедить их в своей правоте, а в случае необходимости заставить — для их же пользы — действовать во имя разума,— и человечество получает возможность совершить новый шаг вперед по пути прогресса. Механизм этого движения представлялся, таким образом, предельно простым, не нуждавшимся ни в каком дополнительном изучении, что позволяло сосредоточить все силы на решении конкретных, практических задач современности. Философские отвлеченности были не в чести у тех, кто мечтал о совершении грандиозных социальных и политических переворотов.

Великая французская революция, по мысли тех, кто стоял у ее истоков, должна была стать наивысшим торжеством человека разумного. А она вместо того принесла с собой безжалостную борьбу враждебных группировок, кровавый, якобинский и, еще более кровавый, белый террор, правление растленной клики буржуа-термидорианцев, диктатуру всесильного деспота Наполеона и в конце концов реставрацию ненавистных Бурбонов... Все получилось

совсем «неразумно», не по писаному; живая жизнь безжалостно отвергла те идеи, которые целый век вдохновляли европейских мудрецов. События, которыми завершился «век Просвещения», предельно ясно показали, что человек не всемогущ на этой земле, что есть силы куда более значительные, чем его разум, его воля. Постичь эти силы, разобраться в закономерностях их воздействия на природу, на общество, на государство — вот задачи, вдохновлявшие тех, кто пришел на смену французским просветителям,— философов-идеалистов, обосновавшихся в «туманной Германии».

В России великая революция запоздало аукнулась 14 декабря 1825 года. Те, кто вступал в сознательную жизнь после разгрома декабристов, волей-неволей должны были прийти к переоценке ценностей. Поколению Грановского банальными казались уже не основные вопросы философии, а традиционные, излишне прямолинейные ответы на них. Наследие просветителей не удовлетворяло русскую молодежь 1830-х годов, жадно искавшую самое себя, пытавшуюся всеми силами выработать устойчивое мировоззрение, определить свою позицию в окружающем мире, который был куда сложнее, чем казалось их предшественникам. Все приходилось начинать сызнова, с самых основ — и философские проблемы оттеснили на задний план политику и экономику. У молодежи появились новые кумиры: в поисках ответов на «проклятые вопросы» она обращалась уже не к Монтескье и Тюрго, а к Шеллингу и Гегелю.

Не случайно одним из самых ярких, определяющих явлений русской общественной жизни 1830-х годов стал кружок Станкевича.

Николай Владимирович Станкевич вложил в этот кружок всю свою душу. Овладение идеями немецкой философии и приобщение к ним окружающих — вот в чем был смысл его короткой жизни. Ничего важнее этих идей для Станкевича не существовало: в них находил он универсальный ответ на все «загадки бытия», раскрепощавший человека, снимавший с него тяжкое ярмо «ограниченного полузнания». «Оковы спали с ду-

ши,— писал он в одном из писем,— когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания». Философию Станкевич считал «душою всего сущего», не просто «наукой в ряду наук, но высочайшей из всех, служащей им основанием, душою и целью». Связать воедино все многообразие конкретных явлений и, объяснив их через эту взаимосвязь, подчинить человеку — вот в чем видел Станкевич высокую задачу философии.

Такой науке можно и должно было посвятить жизнь. И Станкевич честно прошел по всему тернистому пути познания идеалистической философии: от системы Канта, через труды Фихте и Шеллинга к высочайшей ее вершине — гегельянству; прошел сам и повел за собой Белинского, Бакунина, К. Аксакова. Велика была роль Станкевича и в «обращении» Грановского.

После первой же встречи их связала взаимная симпатия, возникшая из сознания глубокого духовного родства: Станкевич писал новому другу, что слышит «голос души, которая понимает твою и невольно стремится слить ее с собою, которая дорожит всяким прекрасным явлением, всяким чистым сердцем и крепко за него держится». Принимая самое горячее участие в судьбе Грановского, Станкевич внимательно следил за духовным развитием своего друга, пытаясь направить его на единственно верный путь.

Из переписки Станкевича с Грановским видно, как хорошо понимал он «родственную душу», чутко воспринимая все ее заботы и тревоги. Уже в первом письме в Берлин Станкевич не только совершенно точно предугадал те вопросы, которые неизбежно должны были встать перед Грановским-историком, но и попытался указать путь к их решению: «Воля твоя! Я не понимаю натуралиста, который считает ноги у козявок, и историка, который, начав с Ромула, в целую жизнь не дойдет до Нумы Помпилия, не понимаю человека, который знает о существовании и спорах мыслителей и бежит их...»

Нет спасения вне философии... Призыв заняться ею одновременно с изучением истории рефреном зву-

чит в письмах Станкевича: «Занимайся тем и другим, эти переходы из отвлеченностей к конкретной жизни и снова углубление в себя — наслаждение»,— писал Станкевич другу в июне 1836 года. А в следующем письме он еще более настойчиво подчеркивал значение философской основы для «ремесла историка»: «Работай, усиливай свою деятельность, но не отчаивайся в том, что ты не узнаешь тысячи фактов, которые знал другой. Конечно, твое будущее назначение обязывает тебя иметь понятие обо всем, что сделано для твоей науки до тебя; но это приобретается легко, когда ты положишь главное основание своему знанию, а это основание скрепишь идеею».

При этом Станкевич отнюдь не склонен был закрывать своему другу глаза на те трудности, которые предстоит преодолеть ему в постижении философских идей: «Тысячу раз отчаишься и снова исполнишься надежды, но верь, верь! и иди путем своим».

Страстный призыв друга не мог оставить равнодушным Грановского, хорошо сознававшего, что Станкевич указывает ему верный выход из лабиринта сомнений. Однако его сдерживала неуверенность в своих силах, полное отсутствие подготовки, необходимой для того, чтобы разобраться в «спорах мыслителей»,— ведь Фишер в Петербурге действительно преподавал не философию, а «какую-то другую науку». Заниматься философией с первого года обучения, параллельно с историей, как советовал Станкевич, Грановский считал выше своих сил.

«Габлерову философию я слушаю мало,— писал Грановский в конце 1836 года Неверову,— потому что это предмет для меня новый и им нельзя заниматься в промежутках от других занятий. Хочу посвятить философии целый семестр исключительно». Очевидно, Грановский собирался отложить изучение «науки наук» до следующей осени. Зимой же 1836/37 года он много времени уделял латыни, всерьез занялся древнегреческим, продолжал интенсивное чтение исторических монографий и источников.

Но сомнения оставались, росли, становились все

глубже, и вот Грановский ставит под вопрос уже не только свои способности и силы, но и познавательные возможности избранной им науки. Стоит ли вообще заниматься ею? Весной 1837 года Грановский пережил если и не духовный кризис, то жестокую хандру, борясь с которой он в конце концов отбросил все прочие занятия и засел за Гегеля.

В письме к Григорьеву от 20 октября 1837 года Грановский задним числом вспоминал свои терзания. Утешая «друга Васю», сетовавшего на «горестное состояние духа», Грановский писал: «Ты говоришь, что ты во всем сомневаешься, что ты убежден в невозможности знать что-нибудь?.. Меня мучили те же проблемы, над которыми ты ломаешь голову. Подобно тебе я едва не сошел с ума, видя невозможность добиться дельного ответа...» Эти сомнения, считал Грановский, не есть зло — они закономерны; самое страшное — отказаться от них, отказавшись вообще от размышлений: «Это смерть души, уничтожение нравственное».

Однако жить, вечно сомневаясь во всем, тоже невозможно. «Мы можем,— писал Грановский,— мы должны сомневаться, но эти сомнения должны вести куда-нибудь; мы не должны останавливаться на первых отрицательных ответах, а идти далее, действовать всей диалектикой, какой нас Бог одарил, идти до конца, если не абсолютного, то возможного для нас».

Сам Грановский к осени 1837 года уже вступил на верный путь: он твердо убежден, что «мир Божий хорош и разумен, только на него надо смотреть разумными очами». Против мук сомнений он прописывает Григорьеву то лекарство, действенность которого проверил на себе: «Займись, голубчик, философией... Учись по-немецки и начинай читать Гегеля. Он упокоит твою душу».

В нашем распоряжении нет материалов, которые позволили бы восстановить во всех подробностях процесс постижения Грановским философии Гегеля. Несомненно, что осенью 1837 года он находился лишь в самом начале этого пути, но собирался идти по нему до

конца. В том же письме он весьма определенно выразил свое отношение к Гегелю и его учению: «Есть вопросы, на которые человек не может дать удовлетворительного ответа. Их не решает и Гегель, но все, что т е п е р ь доступно знанию человека, и самое знание у него чудесно объяснено».

Так, в учебе, в напряженных духовных поисках прошел первый год пребывания Грановского в Берлине. Он прожил его отшельником, «в совершенном уединении»; по словам Григорьева, «не только не завел он знакомств в немецком обществе, но весьма мало знался даже с русскими педагогами»— своими товарищами по командировке. В 1837 году положение изменилось — в Берлин прибыли долгожданные друзья.

* * *

Первым, в мае, приехал Неверов. Этот немного взбалмошный человек, с открытой, детской душой и покладистым характером, вызывал у Грановского самые теплые чувства. В свою очередь, Неверов еще в Петербурге полюбил своего нового товарища, во многом подчинившись его нравственному влиянию. В первый же месяц совместной жизни в Берлине их дружба еще больше окрепла. «Мы,— вспоминал Неверов,— нанимали вместе квартиру... брали вместе уроки, словом,— делили труд и удовольствие». Когда же в начале ноября в Берлин прибыл Станкевич, «слабый телом, но с душой, исполненной любви и возвышенных стремлений», жизнь «соединенных друзей», как они себя теперь называли, стала совсем замечательной. Неверов справедливо писал: «Отсюда начинается новая эпоха в развитии Грановского».

Историк и сам всегда признавал, что Станкевич оказал определяющее влияние на всю его жизнь. Впрочем, то же могли сказать о себе — и говорили — Белинский и К. Аксаков, Бакунин и Катков... Люди, ставшие со временем непримиримыми врагами, с одинаковой любовью и нежностью вспоминали этого удивительного человека. Тайну его редкого обая-

ния в какой-то степени раскрыл И. С. Тургенев. «Станкевич,— писал он,— оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собою в область идеала. Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем следа не было... во всем его существе, в движениях была какая-то бессознательная distinstion* — точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении». А кроме того, Станкевич не мог не привлекать современников своим умом и глубокими знаниями; в совершенстве овладев немецкой философией, он готов был помочь каждому, кто желал «встать на путь истинный». Его давние призывы к Грановскому изучать Гегеля подкреплялись теперь практической поддержкой, советом, объяснением.

Приезд Станкевича даже внешне изменил жизнь маленькой русской колонии. Несмотря на тяжелую болезнь, Станкевич был человеком веселым и общительным. С его легкой руки «соединенные друзья» сумели устроить свою жизнь не только разумно, но и приятно. Прежде всего они сняли отдельный дом. Станкевич, сын богатого воронежского помещика, вследствие болезни нуждался в известном комфорте, он занял бельэтаж; Грановский с Неверовым обосновались в трех нижних комнатах. «Разумеется,— вспоминал Неверов,— что мы были вместе на лекциях в университете, в театре, словом — везде».

Начались и «выходы в свет». Поначалу это был скромный салон негоцианта Зикмунда, который друзья иногда посещали по воскресеньям. У Зикмунда были две дочки на выданье, и вечера неизбежно заканчивались танцами, в которых иногда принимал участие даже чуравшийся «светских развлечений» Грановский. Обычно же он предпочитал им «беседу с умною и чрезвычайно образованною, хотя и некрасивою старшей дочерью — Эммой», вышедшей впоследствии замуж за знаменитого поэта Гервега.

---

*Благовоспитанность *(фр.)*.

В конце же 1837 года в Берлин прибыли супруги Фроловы, приезд которых, по словам Неверова, «не только изменил нашу жизнь, но имел обширное влияние на ход и направление наших занятий». В гостиной Фроловых, частыми посетителями которых стали «соединенные друзья», собиралось «все, что было замечательного в Берлине в ученом, литературном, художественном и других отношениях». Здесь бывали А. Гумбольдт, ученый и дипломат Варнгаген фон Энзе, Беттина фон Арним, известная своей дружбой и перепиской с Гёте, профессора Берлинского университета Ганс, Вердер.

Впрочем, все эти посетители Фроловых не очень интересовали друзей; близкое знакомство завязалось у них лишь с молодым профессором-гегельянцем Вердером, у которого Грановский вскоре стал брать частные уроки философии. И, если друзья являлись к Фроловым «при первом случае, как только можно было явиться, не нарушая приличий», то, конечно же, причиной тому была хозяйка гостиной Елизавета Павловна.

Уже после первого визита к Фроловым Неверов с восторгом писал Григорьеву: «Признаюсь, давно я не имел такой приятной беседы: женщина, с которой можно говорить обо всем: и о науке, и о религии, и об искусстве, и о жизни, и говорить свободно, потому что она все поймет, все оценит». С каждым новым визитом друзья все более ощущали очарование Елизаветы Павловны, которая «высокий ум, верный и глубокий взгляд на людей и на весь мир... соединяла с основательными познаниями, чарующей теплотою сердца и тою дивною женственностью, которая любит без любви, благотворит для блага, исправляет шутя, наставляет без наставлений и свою внутреннюю гармонию разливает на весь окружающий мир».

Гармонический строй души этой некрасивой, болезненной женщины — она умерла через три года — привлекал друзей. Они чувствовали во Фроловой огромную внутреннюю силу; это был человек, который действительно «понимал все», мог поддержать в тяжелую минуту и многому научить, причем отнюдь не толь-

ко умным разговором. Неверов в своих воспоминаниях особо подчеркивал мягкость Фроловой, ее душевный такт и исполненное редкой доброжелательности отношение к людям; он с восторгом писал о постоянном стремлении этой женщины уловить лучшие черты ума и души собеседника и помочь ему полностью раскрыть их.

Грановский, которого Фролова «особо полюбила... и превозносила до небес его ум, образ мыслей — все», с благодарностью воспринял уроки своей новой знакомой: «Они сообщили мне более веры, более доверенности, даже, может быть, более любви к моим ближним». Об этом писал и Неверов: «Грановский был нелюдим — Фролова сумела внушить ему интерес не только к обществу вообще, но даже к самым незамечательным лицам... Она-то и передала Грановскому эту внимательность и снисходительность к людям и умерила его склонность к насмешке».

Впрочем, благотворное влияние Фроловой не ограничивалось сферой морально-нравственной. В ее гостиной друзья, может быть, впервые за все время пребывания в Берлине вспомнили о России, заговорили «о современном обществе и его интересах». Фролова горячо, хотя и «со свойственной ей любезностью», нападала на Станкевича и Вердера, которых погружение в философские абстракции зачастую совершенно отрывало от реальной действительности. Она, по словам Неверова, всеми силами стремилась «оживить взгляд» друзей «как на минувшую жизнь человечества, так и на настоящие его стремления».

Эти беседы, в которых затрагивались различные проблемы «государственного строя, экономики, народного быта», причем «чужеземная жизнь и чужеземные постановления были сравниваемы с русскими», не прошли даром. Как-то поздним вечером, после одного из визитов к Фроловым, Станкевич взял со своих друзей клятву всеми силами способствовать просвещению России, ибо в нем он видел залог освобождения русского народа. Тем самым был сделан шаг из сферы отвлеченной философии в реальную жизнь — и сделан он был друзьями под влиянием Фроловой.

Не забывал Грановский и своих профессиональных занятий. Он интенсивно овладевал фактическим материалом, ведь пора было думать о самостоятельной работе, которая могла бы стать основой для магистерской диссертации. Грановский упорно искал свою тему, и эти поиски раздвигали границы его знаний не только вглубь, но и вширь, в сопредельные с историей сферы.

Так, начав работу над историей средневековых городов, Грановский в январе 1839 года писал Григорьеву: «Я теперь стал совершенным юристом: читаю юридические исследования о городских правах, старые акты, грамоты и пр.». Одновременно он, возможно, в связи с изучением эпохи переселения народов, увлекся историей славян — а тут уж шагу нельзя было ступить без филологии. «Жаль, что я плохой филолог, а то можно бы черт знает, что сделать»,— писал он Григорьеву в конце 1837 года; зимой же 1838 Грановский сообщал приятелю, что всеми силами пытается устранить этот досадный пробел в своих знаниях: «Прочел Гриммову немецкую мифологию, но наполовину: много филологических подробностей»; «Летом стану учиться по-богемски и по-сербски...»

Для славянских увлечений Грановского очень характерен эпизод, о котором рассказал в своих воспоминаниях Неверов: как-то раз в одном из берлинских ресторанов друзьям пришлось столкнуться со сверстниками-поляками, которые затеяли демонстративное чтение памфлета, «наполненного ругательствами против России». Чтение завершилось не менее демонстративным тостом «возмутительного для русских содержания», оставить который без ответа было невозможно. Назревал грандиозный скандал, тогда Грановский предложил ответный тост: «Наша слава должна заключаться не в том, кому из народов славянских вести славянскую семью по пути развития его исторического, но в том, чтобы исполнить волю Провидения и поставить славян во главе исторического развития. Пока отложим с нашей стороны раннюю гордость, а с их — несправедливую и бесцельную злобу и братски соединимся в стремлении к высокой цели — сделать племя славян

первенствующим на историческом поприще». Этот тост, произнесенный с небывалым для сдержанного Грановского энтузиазмом, произвел впечатление на обе стороны. «Поляки и русские,— вспоминал Неверов,— дружески обнимались, и с тех пор между нами не было столкновений».

В таком-то настроении Грановский и задумал поездку в Австрийскую империю, прежде всего по ее славянским владениям. Мысль об этом путешествии появилась у Грановского еще в конце 1836 года; к весне 1837 он уже ясно представлял маршрут. «В апреле поеду в Прагу, оттуда в Вену на два или три месяца, а в начале ноября снова возвращусь сюда»,— писал он Григорьеву из Берлина. Поездку эту Грановскому удалось совершить лишь на втором году своей стажировки.

* * *

Путешествие Грановского началось, как мы видели, под знаком «славянских увлечений»; однако ни в коем случае нельзя преувеличивать их силу. Недаром, сообщая Григорьеву о своем интересе к истории и филологии славянских народов, Грановский тут же оговаривал: «Большим славянофилом я не буду, впрочем». Да и в задуманной им поездке изучение славянских языков было, по признанию самого Грановского, «только предлогом». Больше всего ему хотелось переменить место, развеяться, «mish in die Wirklichkeit werfen»*.

Своеобразие позиции Грановского в славянском вопросе проявилось сразу же по приезде его в Прагу — истинную столицу «славянского возрождения» в австрийских землях. Познакомившись с «властенцами»— самыми горячими участниками этого культурного общественного движения, Грановский нашел, что они «слишком уж славянствуют». В письме к друзьям он подробно описывал свой спор с патриархом «властенцев» знаменитым ученым П. И. Шафариком: сходясь с этим человеком, сразу вызвавшим у него большое уважение и симпатию, в надеждах на великое будущее

*Броситься в действительность *(нем.)*.

славянских народов, Грановский весьма резко оспаривал взгляды Шафарика на первостепенную роль славян в истории. По твердому убеждению молодого ученого, такую роль в прошлом играли «племена романо-германские», славяне же стали выдвигаться на первый план лишь после того, как «Россия вошла в Европу». Впрочем, Грановский, всегда стремившийся трезво оценивать не только взгляды собеседника, но и обстановку, в которой они формировались и высказывались, считал, что подобное искажение исторической перспективы вполне понятно и простительно в Австрийской империи, где славяне находятся под неуклонным гнетом.

Поездка в Прагу явно удалась: город, природа, люди — все радовало Грановского. «Бросок в действительность», отдых от кабинетной работы, сидячей жизни — все это принесло свои плоды. «Во мне проснулась жажда деятельности...— писал Грановский Неверову,— а интересов на свете ужасно много».

В Вене, куда Грановский прибыл в середине мая, его приподнятое настроение развеялось, как дым. После насыщенной культурными и общественными интересами пражской жизни столица Австрийской империи произвела на Грановского самое мрачное впечатление: «Тяжелый воздух здесь для меня...»

Его отвращало от себя бездуховное бытие этого города, в котором проза канцелярской рутины тесно переплеталась с «поэзией» кафе-шантанов. К тому, что здесь властвует «ястребом смотрящий» чиновник, Грановский был подготовлен: на эту самую характерную для Австрийской империи фигуру он уже вдосталь насмотрелся в Праге. Но его поразили студенты, спящие на лекциях, интеллигенция, читавшая и с жаром обсуждавшая в кофейнях т о л ь к о театральные рецензии. «Политического интереса нет...— писал он друзьям вскоре по приезде в Вену,— скотство... Больно смотреть на старика, который проел и проспал жизнь, а здесь — вы видите целый народ, 30 мил. человек в таком положении. Еще хуже: эти несчастные проедают не только свою, но и чужую жизнь—жизнь детей и вну-

ков». Существование лишь сегодняшним днем, без надежд и мечтаний,— вот судьба Австрии; размышляя о ней, Грановский вспоминал родину, и вера его в ее великое предназначение еще более крепла: «Как можно сравнивать Россию! У нас свежий, бодрый народ!»

Но нет худа без добра: наверное, именно гнетущая атмосфера этого города, в котором он не встретил ни одного близкого по духу человека, заставила Грановского обратиться к самому себе. В Вене он очень много размышляет, пытаясь до конца уяснить свою жизненную позицию. «Я теперь много занимаюсь аналитическим разложением моего субъекта»,— писал он «соединенным друзьям», поясняя, что прежде всего он хочет разобраться в своей натуре, трезво оценить ее возможности; выяснить, где, на каком поприще он сможет проявить себя в полную силу,— и лишь тогда взяться за дело. Этот углубленный самоанализ, которому подверг себя Грановский, принес характерные результаты.

Так, историк вынес решительный приговор своей магистерской диссертации: «Исторического сочинения, сообразного моим требованиям, я не могу написать. За материалами дело бы не стало; но связать их единой мыслью, вправить в художественную форму у меня не достанет силы». Работу над диссертацией Грановский продолжал и возвратясь из Вены в Берлин, но жалобы — причем не столько на трудность работы, сколько на ее характер — постоянно звучали в его письмах к Григорьеву: «Скучно, мочи нет, как скучно, особливо пока сам не добился ни до каких результатов и только ищешь поверки чужим мнениям».

Грановский в принципе не отвергал кропотливую исследовательскую работу над той или иной узкой темой. Но по твердому убеждению, которое сложилось у историка именно в это время и затем постоянно высказывалось им в лекциях и научных статьях,— русским ученым, избравшим своей специальностью зарубежную историю, слишком рано погружаться в «чистый» академизм с его узкой специализацией. Прежде им нужно понять, что такое история, овладеть ее законами, осознать «идеи, связующие воедино все многооб-

разие фактических данных». Во всем этом нужно было разобраться самим и, разобравшись, научить других. Недаром Грановский собирался по возвращении в Москву на несколько лет оставить «исключительные занятия историей — для поэзии и философии».

Такой подход к истории был в духе времени, выдвигавшем на первый план великую задачу постижения мира как единого гармоничного целого,— задачу, решение которой, по понятиям той эпохи, было доступно лишь человеку, способному слиться с этим целым воедино и в то же время сохранившему способность к его анализу, к подчинению его строгим философским категориям. И здесь, как и во многих других случаях, Грановский должен был быть благодарен урокам Станкевича, который, как, пожалуй, никто в России, «чувствовал время». Венские письма историка перекликаются с вдохновенными посланиями Станкевича, который еще в 1836 году указывал ему верный путь: «Больше простора душе, мой милый Грановский! Теперь ты занимаешься историей: люби же ее как поэзию, прежде нежели ты свяжешь ее с идеею; как картину разнообразной и причудливой жизни человечества, как задачу, решение которой не в ней, а в тебе и которое вызовется строгим мышлением, проведенным в науку. Поэзия и философия — вот душа сущего».

Этот призыв не остался без отклика уже в начале стажировки Грановского. В Вене же он еще яснее осознал, какую огромную роль должна играть философия во всех его начинаниях. «Я теперь очень понимаю,— писал он,— что есть богатые натуры, которые не нуждаются в философии: они переносят свое внутреннее единство на внешний мир; у меня наоборот — я должен извне усвоить себе внутреннее единство и согласие. Только по достижении этой цели могу я сделать что-нибудь хорошее — по моим требованиям — для истории». Овладеть системой Гегеля, понять исторический процесс с позиций той философии, которая «все объясняет»,— вот стремление, которое все заметнее проявлялось в это время в научных занятиях Грановского, становясь постепенно определяющим.

В то же время историк начинал все яснее ощущать, что в холодных абстрактных формулах скрыта огромная взрывная сила. Им овладевает стремление использовать эту силу на практике. «Мне кажется, что я могу действовать при настоящих моих силах, и действовать именно словом. Что такое дар слова? Красноречие? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убеждения. Я уверен, что меня будут слушать студенты...» «Хочу читать историю средних веков на славу. Пусть со всех краев мира идут меня слушать».

Грановский никогда не был честолюбцем. И в Вене он мечтал не о славе, а о служении... «Положим,— писал он Григорьеву,— что я не теряю времени здесь, что сведения мои увеличиваются с каждым днем, но работать только для себя скучно, мне нужна живая деятельность». Грановскому хотелось бы работать так, чтобы результат этой работы «был в ту же минуту полезен другим». «Пока я вне России,— писал историк,— этого нельзя сделать».

На последнем году стажировки этот, казалось бы, прочно забывший Россию поклонник «немецкой премудрости» постоянно обращается к ней в своих размышлениях. Не случайно в письмах из Вены историк с такой гордостью живописал «скандал», устроенный им в салоне банкира Вальтера, перед лицом интеллектуальной элиты столицы Австрийской империи. Попал в этот салон Грановский по случаю, сидел там в уголке, «глядел медведем» и в беседу не вмешивался — до тех пор, пока она не коснулась России, о которой, по словам историка, собравшиеся черпали сведения из рассказов заезжих кавалергардов. Как пример он приводил высказанное мадам Вальтер убеждение в том, что русские крестьяне «очень счастливы и не чувствуют никакого желания другой участи». Естественно, Грановский вступил в спор, «спорил довольно кротко, крепился, наконец не утерпел и (вытянув предварительно шею и зашипев) дал волю своему красноречию». О содержании его «монолога» можно лишь догадываться; но ему, очевидно, было что сказать... Поэтому не удивительно, что он произвел на собравшихся сильное

впечатление. «Я опомнился, гляжу, и на меня все глядят...»

Давая оценку самому себе, «берлинскому Грановскому», историк крепко-накрепко уже связывал свою судьбу с Родиной: он понял, чем может быть полезен России, и готов был служить ей, не щадя сил. Туман, окутавший будущее, рассеялся, смутные мечты приобрели ясные очертания. В венских письмах Грановского оказалась заключена программа всей его последующей жизни.

Работа над диссертацией, как мы видели, мало воодушевляла Грановского. Характерно, что за три года своей стажировки он так и не уяснил для себя, над чем, собственно, он трудился. Лишь по возвращении в Россию он окончательно определил тему диссертации, в которой своеобразно слились оба его увлечения,— средневековыми городами и историей славян: «Волин, Иомсбург и Винета». Защитил ее Грановский лишь в 1845 году, через пять лет после того, как покинул Берлин.

Профессором же, причем профессором выдающимся, он стал с первого года работы в Московском университете — к *этому* он уже был готов... В Вене и в Берлине Грановский продолжал добросовестно работать в библиотеках, рылся в архивах, кропотливо собирая материал, уточняя различные аспекты своей будущей работы,— но делал все это скорее по необходимости. Диссертация была для него средством — без нее нельзя было рассчитывать на университетскую кафедру. Целью же была сама кафедра, «профессорство», причем уже в Берлине для Грановского это слово означало не должность, а призвание; чтение лекций было в его глазах не ремеслом, а высоким искусством — искусством посвящения в истину. Торжество истины, взрывающей устоявшиеся ложные взгляды, формирующей человека, способного понять, а следовательно, и разумно изменить окружающий мир,— вот цель, достижению которой Грановский хотел посвятить жизнь.

* * *

Последний год стажировки был омрачен житейскими невзгодами. Грановский много болел; выздоравливал, усиленно, не щадя себя, работал — и снова заболевал. В конце концов врачи заговорили о чахотке. Весной 1839 года перед отъездом на родину Грановский решил подлечиться на курорте в Зальцбурге — и не высидел там и месяца. Он истомился в одиночестве, курортная публика была ему противна, а главное — снедала тоска по России, тоска по деятельности... Вскоре Грановского уже встречали в родном Погорельце. Не за горами был новый учебный год — первый год «профессорства» Грановского в Московском университете.

ГЛАВА II. ДУША И РАЗУМ ИСТОРИИ

«...Четверть часа прошла уже после звонка. Вся аудитория в каком-то ожидании. Разговоры смолкли, и все вышли на лестницу, ведущую в аудиторию. «Будет ли?»— говорит один из студентов. «Будет»,— отвечает другой. «Должно быть, не будет»,— замечает третий, смотря на часы. «Приехал!»— кричит снизу швейцар, как будто отвечая на нетерпеливое ожидание. «Идет...»— и вся толпа двинулась в аудиторию, все спешат заполнить места. Глубокая тишина воцарилась в зале...»

Такие сцены постоянно разыгрывались перед большой аудиторией Московского университета, в которой Грановский читал лекции. Для студенческой молодежи историк очень скоро стал кумиром, оракулом, которому она внимала, затаив дыхание. Его лекции собирали слушателей со всех отделений; опоздавшим приходилось сидеть на ступеньках кафедры. Подобной, поистине ошеломляющей и к тому же устойчивой популярностью никогда не пользовался ни один университетский лектор — в России, во всяком случае.

«Неотразимая, притягательная сила» лекций Грановского, которую испытало на себе несколько поколений московского студенчества, требует объяснений.

Историк был человеком огромного личного обаяния. Сохранилось множество описаний внешности Грановского, его манеры держаться, причем, как правило, они выдержаны в восторженных тонах. «... Лицо это не имело той вульгарной красоты, которая поражает с первого раза; но его большие, глубокие, темные глаза с меланхолическим оттенком, с надвинутыми густыми и широкими бровями, его открытый лоб, почти черные волосы, зачесанные назад и доходившие до плеч, его грустная, добродушная, кроткая улыбка — все это вместе поражало той внутренней красотой, в которую чем более вглядываешься, тем более она кажется привлекательною... В его движениях, взглядах, голосе, манере говорить... было что-то неотразимо симпатичное». Среди друзей, в небольшом интимном кружке, Грановский буквально завораживал собеседников.

Внешние качества историка, несомненно, играли свою роль и на кафедре. Но нужно иметь в виду, что у него был очень слабый голос, плохая дикция и к тому же довольно заметный дефект речи — отсюда и прозвище «шепелявый профессор», которое постоянно мелькало в дружеской переписке. Те, кто заполнял до отказа аудиторию на лекциях Грановского, должны были быть готовы к тому, что «говорит он очень тихо, требует напряженного внимания, глотает слова».

Не было в Грановском и той отчаянной смелости, порождаемой безоговорочной верой в себя, которая, как утверждают, города берет. После первой же показательной лекции стало ясно, с какими трудностями придется столкнуться молодому профессору на избранном им пути. Сам Грановский в письме «соединенным друзьям» описывал ее в комических тонах, хотя, наверное, этот неудачный дебют стоил ему немало переживаний.

Лекция проходила в большом актовом зале; кроме двух с лишним сотен студентов, на ней присутствовали

товарищ попечителя Голохвастов, коллеги-профессора и «много иных особ». Чувствовал себя дебютант прескверно: «Струсил до крайности, в глазах потемнело, и не могу найти кафедры. Без шуток. Голохвастов тщетно делал благородные жесты правою рукою — не тут-то было. Пропали проклятые ступени на кафедре. Хоть убей, не вижу. Наконец Крылов сжалился и дал мне толчка сзади, так что я с закрытыми глазами вскочил на место. Публика, должно быть, улыбалась. Мысль, что, открыв глаза, я встречу эту улыбку, заставила меня читать слепо, т. е. я скороговоркою и почти шепотом пробормотал, что мог припомнить из написанного (написана была пошлость), через четверть часа раскланялся и ушел».

В сущности, это был провал... Но Грановский свято верил в свою звезду. И во имя этой веры он работал не покладая рук. «Круглым числом,— писал он Станкевичу,— я занимаюсь по 10 часов в сутки, иногда приходится и более. Польза от этого постоянного, упрямого труда (какого я до сих пор еще не знал) очень велика: я учусь с каждым днем...» Историк понимал, к чему ему нужно стремиться: прежде всего он хотел овладеть материалом, «понять историю в связи», достичь соразмерности всех частей своего курса. «Еще года два,— писал он Станкевичу в феврале 1840 года,— и я буду хозяином предмета; теперь он владеет мною, а не я им». Много Грановский работал и над стилем лекций, добиваясь максимальной простоты и естественности. Пышных, эффектных фраз он не терпел. «Даже когда рассказ в самом деле возьмет меня за душу, я стараюсь охладить себя и говорить по-прежнему».

Дело шло на лад. Воистину Грановский вернулся из Берлина счастливым обладателем «золотого руна»: очень скоро он добился блестящих результатов. В простой, безыскусной, но «исполненной удивительного изящества и благородства форме» он сумел раскрыть перед своими учениками самую суть исторического процесса, заставить их услышать «поступь абсолюта» и задуматься над судьбами человечества, над судьбами своей родины... При этом Грановский всегда был иск-

ренен и полон одушевления, недостижимого для многих, даже самых усердных тружеников науки. Свой курс он читал с полной отдачей, не щадя сил: «После всякой лекции я прихожу в решительном изнеможении; нервы разыграются и упадут совершенно». На кафедре же затрата нервной энергии всегда окупалась сторицею; недаром многие слушатели Грановского вспоминали впоследствии о совершенно особой атмосфере, царившей в аудитории, о «священном трепете», который вызывал в них голос профессора. Прав был один из почитателей Грановского, который вскоре после смерти историка сетовал на несправедливость судьбы: «И вот он ушел от нас, и все, что от него осталось, не дает о нем ни малейшего понятия. Чем он был, знаем только мы, близко его видевшие и слышавшие, а умрем и мы, о нем останется только смутное предание, как о чем-то необыкновенном...» Несовершенные записи слушателей Грановского, конечно же, бессильны передать всю прелесть и очарование его живой речи; читать этот часто неуклюжий, корявый текст нелегко; обаятельная форма лекций исчезает здесь почти бесследно. По этим записям мы можем составить лишь самое общее представление о содержании лекционных курсов, но и этого вполне достаточно, чтобы понять причины феноменального успеха молодого профессора.

* * *

Свое кредо Грановский четко определял в первых же лекциях, которые он, как правило, посвящал историографии древнего мира и средневековья. Опровергая ошибочные и ложные концепции ученых прошлых веков, профессор вплотную подводил своих слушателей к такому пониманию истории, которое казалось ему истинным. Долгое время, говорил Грановский, ученые улавливали лишь внешний ход событий; история в их трудах превращалась в собрание сухих, безжизненных фактов. Лишь в конце XVIII— начале XIX ве-

ка, после того как произошло оплодотворение истории идеями корифеев немецкой философии — Гердера, Канта, Шеллинга и особенно Гегеля — появилась реальная возможность постичь самую суть исторического процесса.

Вслед за Гегелем, главным творцом «философской основы современной науки истории», Грановский видел движущую, «зиждительную» силу всего сущего в абсолютном духе. Абсолют «открывает себя в явлении», познает себя в нем; история всего мироздания суть процесс самопознания абсолютного духа через проявление его в реальности. В истории человеческой абсолютный дух проявляет себя в виде духа народного, который и определяет бытие каждого народа в отдельности: «Дела народа, его судьбы, учреждения, религия, язык, искусство — суть откровения народного духа». При этом народный дух отнюдь не идентичен абсолютному. Абсолют многообразен и в многообразии своем совершенен; воплощаясь же в народный дух, он реализует лишь какую-то определенную сторону самого себя. Отсюда своеобразие (и вместе с тем несовершенство) бытия любого народа, отсюда неизбежная, последовательная смена народов, свершающих на земле свою историческую миссию. При каждой такой смене абсолют являет себя по-новому, познает себя с новой стороны — так в процессе самопознания абсолютного духа свершается история человечества.

Обращаясь к истории отдельных народов, Грановский говорил о законах, определяющих развитие народного духа. Сформулировать их позволяло признаваемое немецкой философией «тождество законов природы с законами человеческими». Подобно любому природному явлению, подобно любому живому существу, каждый народ проходит через определенные стадии развития, «переживает свое младенчество и юношество, эпоху возмужалости и старости», причем развитие это происходит в постоянной борьбе, в бесконечных столкновениях беспокойного «творящего» духа с теми формами, которые он сам же и создает.

В «младенчестве народа» борьба сведена почти к

нулю: он ведет жизнь еще слишком близкую к природе с ее беспрерывным, вечно повторяющимся круговоротом. Движения вперед почти нет: «... Жизнь, связанная природою, обычаем, верой, течет тихо и однообразно; одни учреждения и идеи переходят от поколения к поколению, и немногие перемены совершаются так постепенно, так бессознательно, что они не составляют почти предмета для истории...»

С переходом к «возмужалости», в период расцвета, дух народа пробуждается из природы и раскрывает себя «в многообразии форм и индивидуальностей». Начинается процесс непрерывного поступательного движения народного духа, процесс развития, который вырывает одушевляемый им народ из однообразно повторяющегося круговорота мирной патриархальной жизни. Народ вступает на арену истории; вместе с тем уходит в прошлое сонный покой его прежнего неподвижного существования. В этом непрерывном, устремленном вперед движении дух создает для себя новые формы, и очень скоро они устаревают, превращаясь в препятствие на его пути. «... Тогда начинается борьба возникающих противоположностей, борьба тем более упорная, чем упрямее в требованиях пробудившийся к сознанию дух и отверделые внешние формы... С беспрерывно ускоряющейся скоростью повторяются эти переходы от периодов спокойного образования к переворотам, разрушающим эти формы и зиждущим новые...»

Но вот наступает время, когда абсолют, проявляющий себя в народном духе, истощил «зиждительные» силы в данном своем проявлении. «Тогда наступает старость народа, которая высказывается в медленном замирании прежних живых форм, в возрастающем равнодушии, в беспрепятственном вторжении чуждых, даже враждебных элементов...» Тогда народ теряет способность к развитию; на арену истории вступает его преемник, в духе которого абсолют продолжает свое самопознание, проявляя себя с новой силой и с новой стороны. История человечества совершает еще один виток.

Подводя под «науку историю» философское обоснование, Грановский ставил перед своими слушателями вопрос о ее практическом значении. Является ли история занятной отвлеченностью, игрушкой для изощренных, но праздных умов, или это реальная сила, орудие в общественной борьбе? По мнению многих мыслителей, в том числе и самого Гегеля, действия любого человека всегда определяются настоящим, по сравнению с которым «бледное воспоминание прошлого» не имеет никакой силы. Тому же закону, по словам Гегеля, подчиняются «народы и правительства».

Грановский ясно видел, какие печальные выводы подсказывает подобная точка зрения: исторический опыт человечества превращается в иллюзию, с ним исчезает и свобода воли... Всегда, в любой точке исторического развития человек оказывался лишенным возможности принять самостоятельное решение, отталкиваясь от накопленного веками опыта, все решали обстоятельства, за которыми скрывался «великий зодчий»— абсолют. Человечество, таким образом, оказывалось не более чем строительным материалом.

Подобное воззрение на историю было совершенно неприемлемым для Грановского. Его ошибочность он видел в излишне полной аналогии между двумя процессами развития — природы и человечества. Человек если и является «материалом» для абсолюта, то совершенно особенным: он не только дышит и чувствует, но и любит, ненавидит, надеется; он способен на сопротивление, на борьбу, на лишения и жертвы во имя высоких духовных целей... Им не так уж просто манипулировать. И потому в истории человечества нет и не может быть такого правильного, определенного развития, как в природе: «Ей дан закон, которого исполнение неизбежно, но срок исполнения не сказан — десять лет или десять веков. Закон стоит как цель, к которой неудержимо идет человечество; но ему нет дел до того, какою дорогою оно идет и много ли потратит времени на путь».

Вот тут-то и «вступает в свои права отдельная личность». Абсолют не только использует ее, он ее

одушевляет, наделяет свободной волей и правом выбора. «Здесь лицо выступает не как орудие, а самостоятельно, поборником или противником исторического закона, и принимает на себя по праву ответственность за целые ряды им вызванных или им задержанных событий».

Во «взаимоотношениях» абсолютного духа с человеком существует многообещающая двойственность: в своем историческом развитии человек становится не только объектом, но и субъектом действия; он не просто пассивно подвергается направленному воздействию абсолюта — он совершает в этой сфере «свой главный подвиг»; являясь «материалом» истории, человек в то же время созидает ее.

Так Грановский подходил вплотную к тому, что было самым важным, определяющим в его лекциях, в его книгах, в его жизни: к вопросу о сознательности действий каждого человека в отдельности и всего человечества в целом. Для того чтобы активно и плодотворно участвовать в претворении планов своего всемогущего «соавтора», человечеству прежде всего необходимо эти планы уяснить. Возможно ли это? Ведь в будущее заглянуть не дано никому... Но будущее является продолжением настоящего, настоящее вырастает из прошлого, а прошлое — открыто для познания. Поскольку история человечества не хаос, а целенаправленный процесс, очевидно, можно и нужно определить для себя и направление, и цель. К этому, собственно, и были устремлены усилия всех лучших умов человечества. «...Весь прогресс истории,— говорил Грановский,— в том и заключается, что человечество становится сознательнее и цель его бытия яснее и определеннее».

На университетской кафедре Грановский всегда сохранял верность своим теоретическим постулатам: его лекции по древней и средневековой истории открывали путь к познанию современности. Раскрывая в них с максимальной полнотой и ясностью постепенный, мучительный процесс «просветления» человечества, Грановский исподволь вовлекал в него своих слуша-

телей. Опыт прошлых веков должен был помочь им осознать настоящее, понять, какую роль в истории человечества играет и х народ, какие проблемы эта история поставила перед и х страной; должен был помочь им определить свое место в борьбе нового со старым, отжившим. Такая «тихая работа» стоила многого.

* * *

Философскую основу курса, которую Грановский так полно и последовательно раскрывал во вступительных лекциях, необходимо было одеть плотью исторических фактов. Но тем и сильно было мировоззрение Грановского, что вооружало его четкой методологией для их отбора: для профессора в истории было важно лишь то, «что характеризует дух в его разнообразных переходах и действует, определяя, на его развитие».

Абсолют в своем развитии создает определенные формы. В сфере внешней, политической это — государство; в сфере внутренней, духовной — религия. Лишь в этих формах и можно уловить абсолют, сделать его предметом исследования. При этом следует учесть, что чем полнее, совершеннее развитие этих форм, тем легче они поддаются изучению и, следовательно, тем шире открываются двери в «мастерскую», в которой творит абсолют.

Но абсолютный дух не только творит, но и разрушает — разрушает старые формы, чтобы на их обломках создать новые. И изучать историю нужно прежде всего на этих «переломах»: в центре внимания историка должны быть именно переходные эпохи — «только здесь возможно опытному уху подслушать таинственный рост истории, поймать ее на творческом деле». Анализ же «механики» переходных эпох начинался для Грановского, верного последователя немецкой идеалистической философии, с идей, являвшихся провозвестниками абсолюта, и с людей, одушевленных этими идеями. «Каждый по-

рядок общественный,— говорил Грановский,— тесно связан с лежащими в основе общества идеями, которых он есть результат и продукт». Великих же людей он видел в «избранниках Провидения», призванных на земле совершить то, что «лежит в потребностях данной эпохи, в верованиях и желаниях данного времени, данного народа».

Итак, Грановскому было совершенно ясно, что в истории представляет наибольший интерес между людьми — «великие люди, цвет народа, которого дух в них является в наибольшей красоте; между событиями — великие перевороты, которыми начинаются новые круги развития; между положениями — те, в которых развитие достигает полноты своей; наконец, между формами — великие общества, в которых народная жизнь просторнее движется и чище выражается: церковь и государство».

Столь же четко определял в своих лекциях Грановский и «место действия»: это прежде всего и почти исключительно Западная Европа. На Восток историк смотрел глазами Гегеля. Немецкий мыслитель, признавая эту часть света колыбелью человечества —«Солнце, свет восходит на Востоке»,— отказывал ему в способности к развитию. Именно с этих позиций и наш профессор говорил о Востоке как о «дряхлых, неподвижных общинах... коих поучительные развалины до сих пор призывают к созерцанию первобытных форм жизни». На Востоке нет движения вперед, нет развития — к этой мысли Грановский возвращался неоднократно. «История Востока,— говорил он,— не беднее, даже богаче европейской событиями и переворотами, но в ней почти нет переходных эпох. События совершаются там большей частью как бы на поверхности, не опускаясь на дно неподвижных обществ». Эта история «подчинена другим законам, развивается под другими условиями, нежели европейская. Там народы коснеют в продолжение веков в непробудном сне. Им видятся странные грезы, которые они переносят не только в свою поэзию, но и в свою историю. Там нет правильных переходов от одной эпохи к другой, нет посте-

пенности и, следовательно, логической необходимости».

Подобная история рождает мифы, дает богатейший материал для художественного творчества; ученого же гегельянца, для которого предметом исследования являлось именно развитие, она всерьез заинтересовать не могла. Восток не осенен абсолютом — и потому он всегда оставался за рамками лекционных курсов Грановского.

* * *

Древние Греция и Рим — вот где началась подлинная история человечества; и не только началась, но и впервые прошла полный цикл своего развития. Если Восток одряхлел, не повзрослев, то «Греция и Рим представляют картину и юного, и зрелого, и состарившегося человечества».

Главной идеей, одушевлявшей историю древнего мира, была идея совершенного государственного устройства. Свое наиболее полное воплощение она получила в древнегреческих городах-государствах и прежде всего — в Афинах. Силу этой идеи Грановский видел в ее широте: становление полиса происходило в теснейшей взаимосвязи с развитием духовной сферы бытия его граждан — религии, науки, искусства. Гармония государственного устройства обуславливалась гармоническим развитием личности каждого гражданина, которое, в свою очередь, гарантировалось демократическими институтами полиса. «Воспитание афинянина совершалось жизнью, а не в школе... Глаз его привыкал с детства к изящным формам пластической красоты, со всех сторон его окружавшей в памятниках искусства; суждение его изощрялось постоянным участием в судебных и политических прениях, в которых расточали свое красноречие величайшие ораторы Греции; происходившие под открытым небом, приглашавшие всех к участию беседы философов... довершали умственное развитие афинянина». В V веке

до нашей эры, при Перикле, Афины по праву стали путеводной звездой всей древнегреческой цивилизации.

Однако все это совершенство существовало лишь для избранных, ибо оно основывалось на политической гегемонии, которую установили Афины в Греции. Границы полиса были чрезвычайно узки, а следовательно, столь же узки были и границы всех достижений афинян как в политической, так и в духовной сфере. Отказаться же от своей исключительности Афины не могли и не желали. Это привело к отложению от нее союзников и к усилению «грубой, варварской Спарты».

Абсолюту становится тесно в созданных им формах, и, невзирая на все их совершенство, он в своем развитии безжалостно разрушает их. Пелопоннесская война, говорил Грановский, «положила конец блестящему, не повторенному более историею, развитию греческой жизни». В бесконечных междоусобицах, в многолетней борьбе Афин и Спарты нарушалось то «прекрасное равновесие стихий, из которых слагалась эта жизнь...». Обретенная, казалось, гармония была разрушена во всех сферах. «Распадение городовой жизни и республиканских форм очевидно». «Внутренняя порча», корыстолюбие, лицемерие разъедали еще недавно столь прекрасный внутренний мир греческого гражданина. Что же касалось наук и искусств, то «греческая образованность», по словам Грановского, к концу IV столетия до нашей эры «принесла уже и цвет и плод свой. Она еще красовалась дивным богатством прекрасных форм и великих идей, но органическое развитие ее кончилось, и дальнейшего роста от нее нельзя было ждать». Греческой культуре «предстояло перейти к другим народам и принять в себя извне, через сближение с новыми чуждыми ей стихиями, семена нового развития». Попытку создать для этой культуры новые формы Грановский видел, в частности, в деяниях Александра Македонского — недаром он расценивал их как «подвиг всемирно-исторический»...

Подлинным же и полноправным наследником древнегреческой цивилизации стал Древний Рим. Грановский обращал внимание своих слушателей на то, что начала свои эта цивилизация передала Риму, уже находясь на стадии разложения, значительно исказив и «опошлив» их. Римская история — суть продолжение этого процесса: перерабатывая «греческие начала», «практически прикладывая их к своей собственной жизни», Рим дал им направление в высшей степени одностороннее. Он усвоил и в полной мере развил в своей истории лишь начало политическое — к страшному ущербу для жизни духовной. Усовершенствовав элементы греческого полиса, построив на их основе мощное государство, вышедшее за пределы одного города и вобравшее в себя сначала Италию, а затем и все Средиземноморье, римляне пожертвовали его мощи человеческую личность. Государство подчинило себе все области человеческой деятельности, наложило неизгладимую печать на религию, науку, искусство. «Гражданин взял верх над человеком».

Исключительное развитие одного начала за счет другого никогда не проходит даром. Поначалу, в период республики, которую Грановский называл «римским счастьем», «художественное построение» государства приводило к постоянному усилению его внутренней мощи, создавало базу для его грандиозной экспансии вовне. Но все эти успехи достигались за счет духовного оскудения римского общества. Подавив в себе под гнетом государства независимую личность, оно волей-неволей изживало и те «добродетели», которые были порождены исконной демократией полиса и в то же время являлись ее основой: заинтересованность в общественных делах, патриотизм, способность к самопожертвованию. В своем одностороннем развитии республика как бы пожирала сама себя: ее падение было предопределено.

Гибель республики знаменовала начало конца древней цивилизации: Римская империя составляла уже «переход к новой, от языческой к христианской, истории». Переход этот был длительным и пос-

тепенным, даже внешняя форма — республиканские учреждения, давно не соответствующие реальному положению вещей,— изживалась десятилетиями. «Окончательный вывод этих изменений в древнем мире является при Константине. Он... навсегда оторвал империю от республиканских преданий. В системе государственного управления, составленной Константином и его ближайшими преемниками, вполне выражается характер империи».

В этой системе развитие государства, пренебрегающего личностью, уже не сдерживается даже «преданиями» и быстро достигает своего апогея. Громоздкий государственный аппарат, пышный двор, несколько армий — все это тяжелым гнетом ложится на плечи населения. Резко возрастают подати; право, «справедливое в своем основании», сознательно искажается в приложении к реальной жизни, «становится орудием жестокости».

Глубокий кризис переживала империя и в сфере духовной: «Наука не шла вперед; в искусстве совершенный упадок... Самые благородные умы развращены и погружены в мелкие нужды империи... Участие общества только внешнее». Причина этого странного противоречия была для Грановского совершенно ясна: все то же «страшное преобладание государства» над личностью, над всеми сферами духовной жизни. Рационалистическая религия, заимствованная у греков, уже в Римской республике превратилась в орудие государственной политики. В империи же это, в принципе, порочное отношение к религии было доведено до апогея: Рим обоготворил своих императоров. Самые истоки духовной жизни римского общества империя отравила «величайшей ложью», и в результате — «в Риме все было ложь». Подобное общество обречено было на застой, гниение, гибель.

«Дух умирает», подавленный нелепой, громоздкой формой. Римской империей окончательно исчерпала себя вся древняя цивилизация. Она была обречена на гибель, и нашествие варваров лишь ускорило этот неизбежный процесс.

* * *

Германские племена — вот та новая сила, через которую абсолют начинает выражать себя по мере того, как дряхлеет Рим. Причем начало этому процессу было положено исподволь: вступая на арену мировой истории, германцы уже имели свою цивилизацию, «особую, простую, отличную от античной, но тем не менее выдвигавшую их из ряда диких племен». Грановский четко выделял основную идею, одушевлявшую эту цивилизацию уже у самых ее истоков: идею свободы.

«Основу народа составляли полноправные люди, свободные германцы». Германское общество слагалось из общин, в которых «каждое важное дело решалось соображением свободных мужей». В случае нужды вся община, а чаще «юноши, которым надоедали пиры», и люди, совершившие какой-либо проступок и принужденные удалиться из отечества, составляли военную организацию — дружину. Но и дружина была основана на свободном, сознательном отношении ее членов к вождю и вождя к ее членам: «Вожди делились со своей дружиной всем, члены дружины считали позором оставить вождя в опасности».

Эти дружины дряхлеющий Рим нанимал для защиты своих рубежей, а с ними в его пределы медленно, но верно проникало новое, противное всей его сути жизненное начало. Свободное, демократическое устройство германских племен противостояло всему укладу «нелепой империи»; германская свобода была весьма соблазнительна для многих ее подданных, измученных постоянно растущим насилием государства. «Мы привыкли,— говорил Грановский,— на основании старых поверий считать нашествие варваров гибелью для Рима, но римляне толпами бежали из римских областей, дабы найти убежище у германцев». Империя не могла выдержать натиска извне прежде всего потому, что она уже истлела внутри.

Но умирающий Рим, в свою очередь, оказывал мощ-

ное воздействие на германские племена... «Завоевание и возрождение,— отмечал Грановский,— было обоюдным. Империя уступила натиску суровых пришельцев, приняла их в свои пределы и потом покорила их в свою очередь».

Похоронив Римскую империю, германцы наследовали многие ее институты. Так, с местным населением вожди обращались, по сути, по-римски; но с дружиной своей они вынуждены были сохранять «германское обхождение». За свои ратные подвиги дружинники получали на завоеванной территории крупные земельные участки и тем самым еще больше укрепляли свою независимость, подводя под нее мощное материальное основание.

Однако «кунигов» не устраивало подобное положение. По мере того как вожди германцев вживались в римский строй, «проникались римским элементом» и вместе с тем усиливались за счет захвата огромных территорий, в них все ярче возгоралось желание «подвести обе части населения к одному общему уровню, стать в одинаковых отношениях как к галло-римлянам, так и к дружинам», то есть поставить последних «в положение зависимое, аналогичное положению местного населения». «Куниги» стремились возродить выгодный для себя порядок по римскому образцу, «подчинив римским учреждениям и римской администрации германские дружины».

Однако к старому возврата не было и быть не могло. «Идеи римского порядка были отринуты германскими дружинами», сохранившими все характерные черты германского племени: члены их «отстаивают неограниченную свободу личности германской и упорно отвергают все государственные учреждения, стремившиеся ограничить эту личность». С другой стороны, вожди в своих стремлениях не находили серьезной опоры и среди местного римского или галло-римского населения. «Низшие массы... не могли усердно стоять за эти древние идеи, с ними было сопряжено много тяжких воспоминаний».

Те, кто стремился укрепить высшую власть, превратить ее в абсолютную, вдохновлялись идеями прошлого, давно потерявшими всякую жизненную силу. И какие бы «сильные, великие люди» ни брались за это, все их попытки были обречены на неудачу, ибо прошлое возродить невозможно... В своем развитии народы Западной Европы все дальше уходили от развалин Римской империи. Путь, на который они стали, вел к принципиально иному — феодальному строю, одушевленному новой идеей — идеей свободы.

Однако эта идея, получившая в новом обществе, казалось бы, максимально полное воплощение, привела к печальным результатам: «Личность, разорвавшая цепи, которыми окутывало ее государство, оказалась не в силах воспользоваться представившейся свободой на благо себе и всему миру». Грановский говорил о «страшном развитии» в эпоху феодализма эгоистических начал в человеке: «...Никогда не бывало в истории такого общества, где личная свобода была бы так развита, до такого своенравного полномочия».

Господствующий класс нового общества — феодалы — владели землей и теми, кто населял ее, на правах, близких к самодержавным. Их почти безграничная свобода была чревата для основной массы населения столь же безграничным угнетением... Социально-политические отношения в этом обществе определялись личным произволом. Сфера духовной жизни была пронизана «нравственной порчей», порожденной беспредельным эгоизмом власть имущих. «Никогда не было более недостойного общества...»

И все же в отличие от древнего, рабовладельческого оно имело перспективы. Грановский находил в феодальном обществе зародыши сил, способных обуздать эгоистическую личную свободу и тем самым обеспечить ему более правильное развитие. Источник этих сил таился в христианстве, которое, вытеснив безжизненное язычество, стало залогом создания «единой европейской цивилизации».

На это нужно было время, ибо «перевороты в сфере идей медленно переводятся в факты». Но превосход-

ство новой религии ясно сказывалось уже у истоков феодализма. Так, например, хотя положение средневекового виллана немногим отличалось от положения раба, все же возрождение античного рабства во всем его объеме стало невозможно: «уже одно понятие о равенстве, об общем происхождении», заложенное в христианстве, нанесло удар представлению о рабе, «как его понимал Древний Рим». Поэтому и церковь на заре феодализма защищала рабов. «В своих храмах она открыла им убежище, она одна впустила их в ряды свои». Она же воспитала средневековое рыцарство, «соединившее в себе все благородные элементы» нового строя, которых была лишена предшествующая эпоха: «В нем воспиталось особенное воззрение, особенное чувство чести, понятие о достоинстве человека...» Эти «воззрения» оказались непреходящими, они сохраняют свое значение и по сей день, подчеркивал Грановский: «За такое наследие многое, конечно, можно простить феодальному миру».

* * *

Эпохе «перелома» феодализма Грановский уделял в лекциях исключительное внимание; ее истоки он тщательно исследовал и в своем наиболее значительном научном труде, докторской диссертации «Аббат Сугерий». Ведь эта эпоха открывала путь «в последние три столетия, переходные от средневековой истории к новой — еще нам неизвестной». Через нее лежал путь в современность, и Грановский, верный своей позиции «оценивать прошлое с точки зрения настоящего», искал в этих отдаленных временах ответ на многие насущные вопросы.

В эпоху «перелома» начинается процесс синтеза тех начал, которые нашли свое самостоятельное выражение на предшествовавших этапах истории человечества. Если в древнем мире восторжествовало государство с идеей внешнего порядка; если в эпоху феодализма верх взяла личность, доведшая до небывало одно-

стороннего развития идею свободы, то теперь закладывался фундамент нового строя, в основе которого лежала идея «нравственного государства», государства не подавляющего, а охраняющего личную свободу. В направлении к этому идеалу постепенно, не всегда и не везде последовательно, преодолевая массу препятствий, шел тот исторический процесс, которому Грановский посвящал свои лекции по истории позднего средневековья.

Начало этого процесса ученый видел в образовании союза между главными антифеодальными силами: церковью и королевской властью. В этом союзе власть получила от церкви то, чего ей так недоставало в предшествующие века: ее грубая материальная сила была оплодотворена теперь «теплым гражданским чувством» и «возвышенной идеей общего блага». В эпоху раннего феодализма «куниги», майордомы и прочие представители центральной власти отстаивали, как правило, сугубо личные, корыстные интересы; в деяниях их преемников, тоже не забывавших о своей пользе, все чаще начинает проглядывать стремление к высшим целям. Королевская власть начинает «работать на абсолют», то есть на будущее, стремясь преобразовать феодальную анархию в прочный общественный порядок. Подобная деятельность не могла оставить равнодушной и «угнетаемые сословия»: народные массы, исстрадавшиеся от произвола и насилия, начинают оказывать власти все более активную поддержку.

Пытаясь с максимальной полнотой и ясностью раскрыть перед своими слушателями процесс становления «нового строя», Грановский не одну лекцию посвятил «соавторам абсолюта» — великим деятелям этой эпохи.

Он ясно показывал, какие мучительные противоречия приходилось преодолевать им в своей деятельности. На лицах французских Карла VII и Людовика XI, английских Ричарда III и Генриха VII, испанских Фердинанда и Изабеллы Грановский видел «черту холодной иронии, из-за которой проглядывает внутренняя тревога, беспокойная жажда деятельности. У всех

них было одинаково невыгодное расположение к феодальному обществу и нетерпеливое желание заменить его другим, еще не ясно осознанным порядком вещей». Отрицая феодализм в настоящем, все эти «великие властители» не имели ясного представления о том, что они ждут от будущего. И тем не менее они, зачастую бессознательно, действовали по единой программе — программе, начертанной абсолютом.

Грановский четко выделял основные направления этой деятельности. Прежде всего каждый представитель королевской власти, «осененный» абсолютом, стремился к созданию сильного централизованного государства. Беспощадная борьба с «местными особенностями», с сепаратизмом «знатных родов» и отдельных областей, стремление к полному контролю над своей державой — вот главная цель представителей королевской власти. Во имя этой цели они реорганизуют государственный аппарат, превращая его в свое послушное орудие, вводят «постоянную армию и постоянные налоги».

Параллельно и в тесной взаимосвязи с этим процессом идет другой: «средневековое государство, феодальное, общинное разрушалось, а вместе с монархией крепло другое начало, начало национальности». Это начало могло проявить себя только в условиях распада феодального строя; в средневековой Европе, говорит Грановский, не было и не могло быть «народов в настоящем смысле слова, а были враждебные между собой сословия». Возникнув в результате распада Римской империи и покорения отдельных ее частей германцами, эти сословия сплачивали воедино победителей, сплачивали побежденных и разрывали на части то единое целое, которое должно было стать народом. Теперь же, в XIV—XV столетиях, королевская власть Франции, Англии, Испании, преодолевая сословную обособленность, создает единые нации, создает государство не только централизованное, но и национальное. Именно в этих странах Грановский видит наиболее быстрое и последовательное разложение старого и становление нового строя.

И, напротив: «Именно в тех государствах, где эти явления обозначались не с такою силою, там оказалось более препятствий к успеху...» Так было в Италии, Греции, Польше: в силу различных причин центробежные силы здесь оказались непреодолимыми, феодальная вольница взяла верх над центральной властью, порядок не смог победить анархию. В результате разложение старого феодального порядка затянулось, сопровождаясь безысходными «кровавыми раздорами»; движение же к новому строю если и не остановилось совсем, то было затруднено до крайности. Эти страны оставались до поры до времени вне поля деятельности абсолютного духа.

Но и там, где абсолют проявил себя в полную силу, становление нового проходило, как и должно, в «непрерывных борениях». Ведь история отнюдь не прямолинейна — Грановский не уставал твердить своим слушателям об «излучистом ходе прогрессивного движения человечества». То, что прогресс этот осуществляется через кровь и грязь, ложь и насилие, которых в избытке на каждой странице истории, не должно смущать, повергать в уныние, ибо движение вперед, «если его рассматривать только с одной стороны, всегда является порчею чего-нибудь существенного, известного, в пользу еще не существующего, не вызванного к жизни».

«Оскорбительное», «отталкивающее» Грановский находил в избытке и в деяниях тех, кто «работал на будущее», создавая новый строй. Их деятельность в значительной степени имела характер «разрушительный и отрицательный»: «Все власти и идеалы средних веков подвергаются здесь циническим насмешкам и поруганию». Честь, верность, рыцарская доблесть — все это уходит в прошлое; «нравственность средневековья была... отвергнута; новой еще не было». В условиях беспощадной борьбы с феодальным порядком эта «порча» безжалостно разлагала старое,— но она же превращалась в серьезное препятствие на пути к «новому строю».

Парадоксальную двойственность этого сложного

процесса Грановский ярко показал в лекции, посвященной Макиавелли. Историк, которого чрезвычайно интересовал итальянский мыслитель, сумел глубоко разобраться в той сложной системе взглядов, которая получила название макиавеллизма, и уловить основное ее противоречие. С одной стороны, Грановский совершенно справедливо говорил о «высоких стремлениях» Макиавелли, который всеми силами души жаждал спасения своей родины и указывал единственно верное средство: создание сильной центральной власти, способной объединить всю Италию. С другой — он столь же справедливо подчеркивал, что великий итальянец во имя высокой цели заранее отпускал этой власти все грехи, призывая ее не стесняться в средствах, действовать без оглядки на совесть, мораль, нравственность. Учение Макиавелли в лекциях Грановского становилось своеобразным символом «эпохи перелома», воплотившим «все ее добродетели и все ее пороки». И, воздавая должное конкретной деятельности самого Макиавелли, высоко оценивая его личность — «один из самых стройных и благородных характеров в Италии»,— историк был беспощаден к макиавеллизму, который «отравил, вошел ядовитой примесью в политические идеи XVI столетия. Безнаказанно таких идей и советов нельзя давать народу; как бы ни велика была цель, безнравственные средства вредят цели».

Итак, идеи нового времени оказались с червоточиной; христианство, сыгравшее такую благую роль в эпоху средневековья, повсеместно вытесняется «бездушным» учением Макиавелли... При этом «заветы Христа» забыли не только политики; их главный хранитель — церковь — изменяет им. В своем стремлении к максимальной власти на земле она заражается земными пороками. Ложь, насилие, разврат начинают разъедать католическую церковь в той же мере, как и власть государственную. Но, изживая свою внутреннюю силу, она сохраняет огромные материальные возможности; постепенно она превращается в одно из главных препятствий на пути развития человечества.

С этих позиций Грановский оценивал католичес-

кую реакцию времен Возрождения и Реформации: «Когда вековое какое-либо учреждение подвергается опасности, оно не скоро падает и уступает свое место; если в нем было прежде какое-либо жизненное начало, оно юнеет для борьбы с новыми началами». Инквизиция, иезуиты, спасая церковь, активно препятствовали развитию человечества. При этом учение иезуитов, направленное на укрепление церкви, сливалось с макиавеллизмом, возводившим в абсолют единое, централизованное государство. Оба учения в равной степени вели к «разврату мысли», суть которого Грановский определял очень четко: стремясь к всемерному укреплению внешней, так сказать, материальной системы — будь то церковь или государство,— и последователи Макиавелли, и последователи Лойолы с полным презрением относились к ее внутренней сути. В жертву материальному могуществу они приносили то «нравственное достоинство каждой отдельной личности», которое должно было бы составлять самую суть нового строя.

«Порочным» идеям, восторжествовавшим в католической церкви и государстве, не смогла противостоять и Реформация, истоки которой Грановский видел в «глубокой потребности религиозной» и в потребностях социально-политических, явственно ощущавшихся на пороге нового времени. Но в Реформации очень быстро взял верх грубый корыстный расчет, нравственное чувство было подавлено у ее ведущих деятелей в такой же степени, как и у их противников. Реформация носила отрицательный характер — вот главная мысль Грановского. Вожди Реформации, по его словам, разорвали Европу на две половины, посеяли в ней семя раздора и на этом успокоились. В целом же «те надежды, с которыми западные народы встретили учение Реформации в начале XVI столетия, не оправдались и к концу его. Единство было разорвано, но ничем удовлетворительным не было заменено. Европа пришла в какое-то странное брожение...». В этом весьма неопределенном состоянии Грановский и оставлял ее в своих лекционных курсах.

Казалось бы, ученый «не выдерживал» принятой им схемы исторического процесса, терял ту перспективу, в соответствии с которой выверял внутреннюю логику своего курса. Казалось бы, абсолют, творящий дух оказывался банкротом: его конечная цель — «нравственное государство» — оставалась недостижимой... Где, на каких путях можно было отыскать выход из этого «странного брожения», когда те внутренние силы, за счет которых человечество совершало свое развитие, были либо истощены, либо извращены?

* * *

В своих лекциях Грановский исподволь, осторожно, но очень последовательно проводил мысль о том, что «великие идеи», воодушевившие человечество на заре нового строя, не исчезли бесследно. Хотя их безжалостно коверкали политики, изничтожали церковники и нетерпимые реформаторы, всегда оставалась сфера, где эти идеи не только сохранялись во всей своей силе, но и получали дальнейшее развитие,— сфера научной мысли, которая с каждым веком расширяла свои пределы, приобретая все большее значение в развитии и бытии человечества.

Этот процесс Грановский раскрывал перед своими слушателями с особым чувством: «...Древний мир завещал миру средневековому... идеи, которые пали на почву благодатную и выросли богатым плодом. Это наука. Образование древних перешло в средние века, хотя путями часто темными, незамеченное, часто враждебное жизни, без силы бороться с нею. Есть нечто великое и утешительное для историка, мыслящего в этой способности одного периода истории человечества передавать другому накопленные им блага».

Заслуги средневековой науки Грановский оценивал весьма высоко: «...Это была сильная, отважная рыцарская наука, ничего не убоявшаяся, схватившаяся за вопросы, которые далеко превышали ее силы, но не превышали ее мужества». В «молодой отваге» видел Грановский «заслугу и достоинство схоластики». Она

«дала западному уму смелость и гибкость», воспитала в европейской науке «благородную пытливость и крепкую логику, составляющие ее отличительные приметы и главное условие ее успехов».

Однако, при всех своих достоинствах, схоластика была оторвана от реальной жизни. Она так и не смогла «вступить в дружественные отношения к средневековому обществу», стать силой, определяющей процесс его развития. Действуя в вакууме логических абстракций, средневековая наука постепенно утратила свой боевой дух, «устранила смелые теории», изжила самое себя. С ней произошло то же, что и с политическими теориями, то же, что и с католической религией: на первый план выступили «внешние цели, доведенные до цинической крайности». В XIV столетии схоластика стала уже *официальной наукой*, исполненной лжи: оправдание «надменного папства», логическое обоснование реакционных богословских теорий — вот сфера ее интересов.

«...Но была и другая наука». Эта новая наука зародилась в недрах схоластики, но развивалась в борьбе с ней. В чрезвычайно любопытной статье «об одном из героев и мучеников» этой науки, Петре Рамусе, Грановский четко определил линию расхождения: Рамусу был ненавистен формализм схоластики, «он требовал от науки простоты, положительности и прямого влияния на жизнь». Всем этим требованиям противоречила наука средневековья; ответить на них стремилась наука нового времени.

Зародившись в XV веке на итальянской почве, она постепенно завоевала всю Европу. Медленно, но верно преодолевая многочисленные препятствия — мощное давление извне со стороны церкви и государства, многочисленные «внутренние раздоры»,— гуманистическая наука неудержимо развивалась, потому что была полна жизненных сил, и начиная с XVI века стала единственным, по сути, источником идей, творящих историю. Ее догадки, предположения, теории были прозрением будущего, ибо устами ученых-гуманистов вещал абсолют.

В публичном курсе, читанном Грановским в 1851 году, было четыре лекции. Три из них он посвятил «коронованным властителям», ярчайшим выразителям духа различных цивилизаций прошлого — Тамерлану, Александру Македонскому и Людовику IX. Четвертую, заключительную — Фрэнсису Бэкону, ученому, впервые четко и ясно сформулировавшему основные принципы «новой науки»; его Грановский считал провозвестником будущего. «...Слова его (Ф. Бэкона.— *А. Л.*) возвышаются до поэзии, когда он говорит о будущих победах разума, о его призвании облагородить жизнь устранением тех зол, которых корень заключается в невежестве, торжественная речь его звучала в таких случаях как обращенное к нам веление идти по пути, им указанному». Наука, просвещение сменяют религию в качестве основной движущей силы истории.

Овладение тайнами природы во имя господства человека, переустройство общества и государства в интересах человека, наконец, «просветление» самого человека через победу разума над «дикими стихиями», «низкими страстями и пороками» — вот путь, открытый гуманистической наукой. Слово, сказанное ею, предстояло превратить в дело; осуществление этой задачи и составляет суть исторического процесса в новое время.

* * *

Свои лекции Грановский поневоле ограничивал XVI веком. История, в которой процесс «просветления» человечества являл себя в полной силе, оставалась за рамками его курса — на что сам профессор не раз горько сетовал.

Впрочем, при случае Грановский не останавливался и перед прямым обращением к современности. Один из его слушателей оставил запись «напутственного слова», которым профессор как-то раз завершил свой курс лекций. Грановский призывал своих учеников «извлекать из истории уроки» и не смущаться теми

многочисленными противоречиями, которыми насыщен процесс развития человечества; помнить о том, что, несмотря на свои «внутренние язвы», каждый век все-таки «добывал какую-либо идею, расширял область духа человеческого»; «рано или поздно действительность догонит мысль».

Так будет в Европе, так будет и в России, которая, по словам Грановского, начиная с Петра, «опередившего своей мыслью время», развивается чрезвычайно быстро.

Верный своей философской позиции, профессор предостерегал слушателей от фатальной надежды на неизбежный прогресс: «не должно предаваться надеждам на будущее», его нужно создавать, строить своими руками. «И вы, милостивые государи, вышедши из университета, должны осуществить в жизнь то, что вынесли отсюда. Не для одних разговоров в гостиных, может быть, умных, но бесполезных, посвящаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и деятельными членами человечества. Возбуждение к практической деятельности — вот назначение историка».

Все эти «высокие слова» представляют, казалось бы, общее место. Но нужно помнить, что они венчали курс лекций, который наполнял их вполне конкретным содержанием. Какой «практической деятельности» ждет лектор от своих слушателей, на что она должна быть направлена — разумелось само собой. Действовать в духе времени, стремиться преобразовать государство и общество на разумных началах, так, чтобы они не подавляли личность, а охраняли ее и поддерживали,— этот призыв, раздававшийся с кафедры Московского университета среди «рабской тишины и молчания» николаевской России, конечно же, не мог не впечатлять тех, кто его слышал. Недаром слушатель, записавший «напутственное слово» Грановского, много лет спустя вспоминал о нем как об одном из самых ярких впечатлений своей жизни.

Лекционный курс Грановского был для студентов не только и даже не столько источником специальных знаний: прежде всего он вооружал их передовым миро-

воззрением, подводил к мысли о неизбежности серьезных перемен в России, к желанию принять самое активное участие в этих переменах. «Воспевая» в своих лекциях непрерывный диалектический процесс развития, суть которого заключалась в духовном «просветлении» человечества и в соответственном усовершенствовании общественных и государственных форм, Грановский выступал как идеолог, решительно противостоявший теории «официальной народности».

* * *

Итак, Грановский чрезвычайно талантливо пропагандировал гегельянство и прежде всего самую сильную его сторону: диалектику, которая в этой философской системе буквально пронизывала все сущее — природу, историю, человеческое мышление. Однако он отнюдь не безусловно подчинялся авторитету великого философа — и в этом была его сила.

Гегельянство, принятое как догма, засушило не одну живую душу. Формальная логика с ее суровыми законами, поставленная Гегелем во главу угла рассуждений на любую тему, нередко поглощала его последователей целиком, лишая их самих индивидуальности, а преподаваемые ими предметы — жизненного интереса. Н. П. Огарев, который в 1844 году в Берлине слушал лекции уже знакомого нам Вердера — далеко не худшего из гегельянцев,— писал: Вердер «любил следить на себе, может ли он в какую-либо минуту обойтись без логического момента — и рад, что не может. Экое занятие! Факирство!»

Подобное любование пустыми абстракциями не чуждо было и многим русским поклонникам великого философа. Так, например, профессор-юрист П. Г. Редкин, один из ближайших друзей и соратников Грановского по Московскому университету, частенько ставил слушателей в тупик. «Всецело преданный гегельянской философии, он не всегда умел ясно выразить отвлеченную мысль и нередко впадал в крайний формализм. Построение всякого начала по трем ступеням развития

составляло для него непременную догму, и так как каждая из этих ступеней, в свою очередь, развивалась в трех ступенях, то отсюда выходил сложный схематизм, который совершенно озадачивал молодые умы и нередко лишен был всякого существенного содержания».

То испытание категориями гегелевской философии, которое со скрипом претерпевал такой сравнительно отвлеченный предмет, как «юридическая энциклопедия», могло оказаться гибельным для истории. А между тем сам Гегель безжалостно пропускал через логическую мясорубку ее живую ткань, вгоняя в априорную схему конкретный материал с великим для него ущербом. Поэтому о его последователях не приходилось и говорить. «Величайшие мыслители Германии,— писал Герцен,— не миновали соблазна насильственного построения истории, основанного на недостаточных документах и односторонних теориях,— это понятно: сторона спекулятивного мышления была ближе их душе, нежели живое историческое воззрение».

Грановский счастливо избежал этой опасности: схема в его лекциях никогда не подавляла исторический материал. По великолепной оценке того же Герцена, «принимая историю за правильно развивающийся организм, он нигде не подчинил событий формальному закону необходимости и искусственным граням. Необходимость являлась в его рассказе какою-то сокровенной мыслию, она ощущалась издали, как некий deus umplisitus*, предоставляющий полную волю и полный разгул жизни».

И на университетской кафедре, и во всех остальных сферах своей деятельности Грановский всегда исходил из твердого убеждения в том, что человечеству изначально даровано было право свободного волеизъявления — великое право, с которым сопряжены и столь же великие обязанности. Каждый человек волен с а м определять свою жизненную позицию — и с а м должен нести всю полноту ответственности и за деятельность свою, и за бездействие... Историк же обязан

* Связанный бог (*лат.*).

твердо помнить о том, что он исследует не только стадии саморазвития абсолютного духа, но и историческое бытие многих и многих людей — полноправных участников этого грандиозного процесса. В «Аббате Сугерии» Грановский, пожалуй, наиболее ярко и последовательно выразил свою точку зрения на эту сторону «ремесла историка»: «Благо тому, кто явным делом, или неведомым участием содействовал осуществлению исторического закона. В наслаждении подвигом он обрел себе высшую награду, какую дает жизнь. Но совершенное им не всегда по достоинству оценено современниками, и имя его может не дойти до потомства. В славе более случайного, нежели обыкновенно думают. В исправлении таких несправедливостей заключается одна из самых благородных задач историка. Он должен поставить на вид забытые заслуги, уличить беззаконные притязания. Это нравственная, в высшем значении слова юридическая часть его труда. Приговор должен быть основан на верном, честном изучении дела. Он произносится не с целью тревожить могильный сон подсудимого, а для того, чтобы укрепить подверженное бесчисленным искушениям нравственное чувство живых, усилить их шаткую веру в добро и истину».

Этой хорошо продуманной, принципиальной позиции Грановский оставался верен всю жизнь. Он очень последовательно противодействовал тому бездушному логическому фатализму, который отчасти был присущ и самому Гегелю, но с особенной силой сказался в воззрениях его эпигонов. Грановский же не только раскрывал перед своими слушателями «тайны абсолюта» — он *судил* тех, кто был его орудием. «Двигателям человечества» не прощались ложь, насилия, измены. Характеристики борцов за безнадежное дело возрождения старины, за «идеалы прошедшего» нередко были выдержаны в самых поэтических тонах. Всегда оставаясь верным научному пониманию истории, Грановский органично сочетал с ними *нравственную оценку* прошлого. И в результате сухая и абстрактная гегельянская «историософия», круто замешенная на чистом разуме, обретала в лекциях живую душу,

становилась человечной. Своими лекциями Грановский не только учил, наставлял, развивал способность к отвлеченному мышлению — он еще и воспитывал тех, кто слушал его, в духе терпимости, в духе сознательного, объективного отношения к жизни. «Humanitas, humaniora» — «человечность, больше человечности» — призыв, повторявшийся гуманистами эпохи Возрождения, в полной мере определял всю деятельность Грановского — и в Московском университете, и за его стенами.

Под этим девизом, созвучным пушкинскому: «... и милость к падшим призывал»,— можно было сделать многое, особенно в николаевской России с ее мертвящим деспотизмом, направленным именно на подавление человеческого в человеке. И, может быть, именно благодаря своему нетрадиционному подходу к науке истории, Грановский столь неотразимо воздействовал на своих слушателей. Ведь студенты всех факультетов и отделений, включая медиков, валом валили на его лекции не за специальными знаниями. В аудитории, где читал историк, они обретали нечто большее — жизненную позицию, которая нередко определяла собой все их будущее. Студенческая молодежь ценила Грановского не только за то, что он был превосходным профессором, знатоком своего дела; она относилась к историку как к Учителю, в самом высоком смысле этого слова. И, покидая университет, многие слушатели Грановского стремились строить свою жизнь по наказу своего кумира...

«Ученик Грановского» — для «людей сороковых годов» подобная характеристика означала очень многое; недаром впоследствии она замелькала в повестях и романах, посвященных тому времени. Пожалуй, самый яркий и верный образ такого ученика-последователя создал в «Пошехонской старине» Салтыков-Щедрин. Многим, наверное, памятен его трогательный Валентин Бурмакин — возвышенный идеалист, романтик, совершенно не способный к жизненной борьбе и обреченный на гибель «в пучине безвестности». Но все его нескладное, будничное существование наполнено од-

ним стремлением — продолжать, в меру своих слабых сил, дело Учителя: «Сеять горячее слово добра, человечности, любви». А это, замечает Щедрин, «было по тем временам всего важнее»... Трудно переоценить значение, которое имела деятельность Грановского-профессора для «внутреннего освобождения» русского общества.

ГЛАВА III. В УНИВЕРСИТЕТЕ

Московскому университету суждено было сыграть исключительную роль в становлении «молодой России» — независимой от официальной доктрины, отрицающей существующий порядок вещей и стремящейся к переменам. После 14 декабря, когда, по словам Герцена, «явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом», когда «все пошло назад, кровь обратилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри»,— в эти поистине тяжелые времена Московский университет «устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана». С каждым годом он приобретал все большее значение; сюда со всей России стекалась самая талантливая молодежь, и учеба в Московском университете накладывала отпечаток на всю ее жизнь.

В те годы, когда это главное учебное заведение страны, по замыслу Уварова и его присных, должно было стать надежнейшей опорой «истинно-русского просвещения», оно неудержимо и последовательно превращалось в один из главных источников «превратных идей». Московский университет буквально воплотил в себе дух времени, дух «внутреннего освобождения» — и противостоять этому не мог никакой самый бдительный надзор. И. А. Гончаров, учившийся здесь в 1830-х годах, справедливо писал: «Программы, инструкции бессильны против свободы науки. Сжатая в учебных классах, как река в тесных берегах, она

с университетской кафедры изливается вольным потоком. Между профессором и слушателями устанавливается живой ток передачи жадному вниманию их ее откровений, истин, гипотез... Наука может быть вовсе отменена, кафедра ее закрыта... но если бы она не закрылась, ограничение профессорского слова, духа и смысла его лекций едва ли было возможно. Профессор сумел бы дать понять себя, а слушатели сумели бы угадать недосказанное...»

И тем не менее «умственные плотины», упорно воздвигавшиеся министерством, если и не могли остановить развитие просвещения в России, то весьма затрудняли его. Перед профессурой 1830—1840-х годов стоял нелегкий выбор. Подчинение официальной идеологии делало, по сути, невозможной добросовестную научную или преподавательскую работу по «европейскому образцу», зато обеспечивало спокойное существование и открывало путь к успешной карьере. Неприятие уваровской триады позволяло сохранить личное достоинство, сохранить самого себя вместе со смутными надеждами реализовать свои знания на кафедре и в науке, но ставило в оппозицию самодержавию со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Впрочем, поначалу вопрос о выборе для большинства московской профессуры вообще не стоял: так же, как и в Петербурге, здесь в 1830-е годы было великое множество рутинеров, которым нечего было сохранять и нечего реализовывать. Унылой вереницей сменяли они друг друга на кафедре перед студентами с тем, чтобы кануть в небытие, не оставив по себе никакой памяти. Что можно было вспомнить, например, о профессоре изящной словесности Победоносцеве, кроме того, что как-то раз слушатели во время его лекции пустили летать по аудитории живого воробья? Да и этот единственный «яркий» эпизод в биографии Победоносцева, увы, не вполне достоверен, в других воспоминаниях веселый воробей оживляет своим присутствием столь же нудные занятия преподавателя немецкого языка Геринга...

Некоторые профессора выделялись какими-то рез-

кими чертами характера и в зависимости от них либо вызывали у своих слушателей ненависть, как, например, «зловредный» профессор права Малов и богослов Терновский, либо, как благодушный чудак Ивашковский, преподававший древнегреческий язык, или шутник, «буффон» латинист Снегирев, пользовались их снисходительной симпатией. Но все же суть всех этих «служителей просвещения» была едина: их отличали бездарность и полное равнодушие к своему делу, в котором они видели не более чем источник существования.

Метода преподавания у «хороших» и «плохих» профессоров была одинакова. «Никакой общей идеи, никакого взгляда, синтеза, ничего не мог дать нам этот почтенный греческий книгоед, он давал одну букву, а дух отсутствовал»,— поминал «добрым словом» Ивашковского И. А. Гончаров. О Снегиреве он же писал, что тому «было мало дела до римских древностей, а нам было мало дела до него... Мы были друг к другу равнодушны...». Протоиерей Терновский ужимал свои лекции вдвое в целях экономии времени, а когда однажды второй час его лекции неожиданно посетило университетское начальство, он, ничтоже сумняшеся, начал снова читать тот же текст и заставил студентов «вторично прослушать составленный им вздор». Общее отношение этих чиновников от просвещения к своему делу с предельной ясностью выразил декан медицинского факультета Котельницкий, который на вопрос начальства, по какому руководству он будет читать лекции, «по своему ли собственному или другого какого известного автора», честно и откровенно отвечал, что «будет читать по Пленку, что умнее-то Пленка не сделаешься, хоть и напишешь свое собственное».

При таком подходе к делу были не страшны никакие «умственные плотины»: теория официальной народности нимало не смущала рутинеров. Более того, одно из главных требований уваровской доктрины — избегать во что бы то ни стало «новомодных западных идей»— как нельзя лучше соответствовало жиз-

ненной позиции победоносцевых, ивашковских, котельницких и прочих, всегда стремившихся «читать по Пленку», отгородиться от живой науки пособием — все равно каким, лишь бы оно было проверено, утверждено и одобрено вышестоящими инстанциями. В сущности, теория официальной народности подводила под их пребывание в университете мощную идейную базу. Уваровская триада могла стать — и нередко становилась — в их руках опасным орудием в борьбе за место под солнцем с теми, кто нес сюда «новомодные идеи».

Так, например, когда в 1831 году развернулась борьба за кафедру теории изящных искусств и археологии между одним из талантливейших русских «эстетиков» Н. И. Надеждиным и совершенно бесцветным А. М. Гавриловым, рутинеры — Победоносцев, Ивашковский, Снегирев — в едином строю выступили в поддержку последнего. Вполне признавая за Надеждиным талант и эрудицию, эти «ревнители устоев» упорно обличали порочность его философских взглядов, превращавшую, с их точки зрения, все достоинства претендента в опаснейшие недостатки. И, хотя достоинства конкурентов были просто несоизмеримы, потребовалось все влияние расположенных к Надеждину ректора университета Болдырева и декана историко-филологического факультета Каченовского, чтобы оставить кафедру за ним.

Между тем именно Н. И. Надеждину и — в равной степени с ним — профессору физики и сельского хозяйства М. Г. Павлову суждено было стать провозвестниками новой эпохи в истории Московского университета. Преподавая столь несхожие предметы, эти люди стремились к одной цели: выйти за рамки казенной науки, дать своим слушателям представление об окружавшем их мире и о путях его познания... Физика, равно как и эстетика, предоставляли им лишь материал для самых широких философских обобщений.

В «Былом и думах» Герцен нарисовал выразительный портрет Павлова, встречавшего студентов в дверях университета вопросом: «Ты хочешь знать природу?

Но что такое природа? Что такое знать?..» Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. С тех же позиций делал свое дело и Надеждин, который «принес с собою на кафедру всеобъемлемость Шеллингова воззрения на искусство и своеобразную живую импровизацию бесед, своим светлым умом и вдохновенным даром слова умел самым отвлеченным Гегелевым понятиям сообщать осязаемость».

Следуя в своих рассуждениях за Шеллингом, и Надеждин, и Павлов наиболее полно восприняли, пожалуй, самую сильную сторону его сложной и многозначной философской системы. Оба профессора видели в ней «учение о развитии, всеобщей взаимосвязи явлений». Природу и искусство они в равной степени поверяли диалектикой, которая долгое время составляла одну из определяющих черт этого учения,— до начала 1830-х годов Шеллинг и Гегель во многом сходились в своих взглядах на силы, движущие миром... Идея вечного, постоянного развития всего сущего, которая с блеском пропагандировалась с университетской кафедры профессорами-шеллингианцами, буквально взрывала в сознании слушателей мертвенные, застывшие формулы теории официальной народности. Павлов с Надеждиным ставили перед своими учениками массу вопросов, будили их дремлющее сознание, заставляли с головой погружаться в изучение философских проблем — и тем самым неизбежно выводили из магического круга, очерченного уваровской триадой. Недаром Павлов был любимым профессором студента Герцена, а Надеждин имел сильное влияние на студентов Белинского и Станкевича.

Особое место среди прогрессивной профессуры 1830-х годов занимал историк М. Т. Каченовский. Он ни в коей мере не разделял философских увлечений своих коллег; вопросы о взаимосвязи и развитии явлений лежали вне сферы его интересов. Каченовского мало интересовал синтез фактического материала; зато профессор был великим мастером критического

анализа. Основатель и признанный глава скептической школы, он призывал пересмотреть русскую историю, проанализировать заново ее источники — прежде всего данные летописей,— исходя из всей суммы накопленных знаний о той или иной эпохе. «Для науки,— писал он,— нет ничего приличнее, чем скептицизм — не поверхностный и легкомысленный, но основанный на сравнении текстов, на критике свидетельств. Исследуйте, сомневайтесь, изъясняйте сами, если имеете довольно мужества, ибо нет необходимости верить всему...»

Здесь не место давать оценку той роли, которую сыграли Каченовский и созданная им школа в развитии русской исторической науки. Заметим лишь, что критика, очевидно, вполне оправдана лишь тогда, когда является прологом к созиданию. В трудах же Каченовского и его последователей она нередко становилась самоцелью. В «скептическом азарте» профессор со своими учениками нередко столь последовательно «очищали прошлое от преданий», что оставляли за собой бесплодную пустыню... К тому же, по общему признанию, Каченовский был «утомительным» лектором; при личном общении он производил впечатление строгого, сухого и довольно скучного человека. И тем не менее именно Каченовского в 1830-е годы студенты «любили и ценили и боялись при этом чуть ли не больше всех»; его лекции постоянно собирали полную аудиторию; он всегда был окружен любящими и преданными учениками.

И сам Каченовский, и проповедуемая им методология своей популярностью во многом были обязаны официальной идеологии. Студенческая молодежь воспринимала подобный подход к истории как вызов господствующей доктрине; скептицизм давал ей возможность проявить оппозиционный настрой, выразить свое неприятие канцелярского патриотизма. Недаром Гончаров — наблюдатель тонкий и вдумчивый — объяснял приверженность своих однокашников к скептической школе именно тем, что ее глава «отвергал участие всяких сентиментов в изучении истории, а раз-

нимал ее холодной критикой, как анатомическим ножом трупы. Места священным, патриотическим чувствам — в науке для него не было»,— и это в эпоху господства теории, заквашенной исключительно на «священных и патриотических чувствах»! Скептицизм исторический отчасти «замещал» для молодежи скептицизм политический, отчасти был серьезным шагом к нему; недаром влюбленные в Каченовского слушатели так жаждали видеть в нем скептика не только в научных вопросах, но и «отчасти, кажется, во всем» — и любили его именно за это.

Студенты идеализировали своего профессора. С. М. Соловьев, хорошо знавший Каченовского, писал: «Он мог служить опровержением мнения, что ученый скептицизм ведет необходимо к религиозному и политическому; не было человека более консервативного и в том и в другом отношениях». Кстати, и Павлов с Надеждиным были так же весьма умеренны в своих политических взглядах. Они ни в коей мере не стремились «уйти в оппозицию» и были всегда очень далеки от того, чтобы сознательно вступить в борьбу с существующим строем. Добросовестные ученые и профессора, они хотели всего лишь честно преподавать свою науку. Но это неизбежно означало: преподавать ее «по-европейски», ибо особая «русская» наука могла существовать только в записках, циркулярах и отчетах министра народного просвещения. Сделав свой выбор в пользу науки, они неизбежно приходили в столкновение с официальной идеологией и вели за собой своих слушателей. Более того, если Павлов, Надеждин, Каченовский лишь ставили перед русской молодежью вопросы, то их ученики уже готовы были отвечать на них. А этими учениками были Герцен и Огарев, Белинский, Станкевич и К. Аксаков... К тому же именно эти профессора, развернувшие свою деятельность в 1830-е годы, проторили дорогу в Московский университет своим преемникам — великолепной молодой профессуре 1840-х — Грановскому, Крюкову, Кавелину, Соловьеву...

Пожинать урожай, посеянный в 1830-е годы, са-

модержавию пришлось позже. Но уже тогда Уваров, его умный и дальновидный защитник, вполне отчетливо представлял себе, каковы будут всходы. Один лишь Павлов избежал «благосклонного» внимания министра. Надеждина Уваров сразу оценил как «самого нежелательного» профессора в Московском университете: лично следил за его журнальной деятельностью, неоднократно посещал лекции — и не вина министра, что с Надеждиным расправились защитники устоев из III отделения. Зато Каченовского Уваров допек своими силами: старика лишили дела, которое составляло весь смысл его жизни, удалив с кафедры русской истории. С 1835 года Каченовский читал лекции по истории славянских наречий, читал, по воспоминаниям слушавшего его Соловьева, вяло, скучно... Но, «как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие — старичок оживится и засверкают карие глазки под серыми бровями...».

Однако устранение «вредных» профессоров отнюдь не решало всех стоящих перед Уваровым задач. Ведь, вступая в должность министра просвещения, он взялся не только искоренить всех инакомыслящих — с этим справился бы любой заурядный «помпадур»,— но и взрастить истинно верующих. Провозгласив создание своего, особого «русского» просвещения, Уваров испытывал нужду в последователях, которые развивали бы сформулированные им положения, прилагали бы его триаду к различным наукам,— короче говоря, осуществляли бы его фантастическую теорию на практике. На университетское «болото» в этом отношении возлагать особых надежд не приходилось: рутинеры были абсолютно безопасны, но и столь же беспомощны. Уварову нужны были приверженцы деятельные и на многое способные. В Московском университете он нашел таких людей очень быстро: здесь уже в 1830-е годы сложился круг профессоров, которых современники не без оснований называли «уваровцами».

* * *

Пожалуй, наиболее характерной фигурой среди сотрудников Уварова был декан словесного факультета И. И. Давыдов. К нему министр испытывал особую, непреходящую симпатию, ибо, несомненно, чувствовал в Давыдове родственную душу: последний был таким же беззастенчивым карьеристом от науки, как Уваров — от бюрократии.

На своем жизненном пути Давыдову — человеку умному и отнюдь не бесталанному,— пришлось пережить довольно обычную по тем временам метаморфозу. Начинал он как серьезный ученый, последователь Шеллинга, и, казалось, должен был стать соратником Павлова и Надеждина. Однако его деятельность привлекла внимание мракобесов-карателей, взявших такую огромную силу в середине 1820-х годов. Книга Давыдова «Начальные основания логики» удостоилась доноса самого Магницкого, который увидел в ней порождение «того ада, который падший разум человеческий, не плененный верою, распространить в Европе старается». После первой же лекции по философии, прочитанной Давыдовым в Московском университете, его курс попал под запрет, а сам он и в правящих кругах, и в обществе получил репутацию либерала. Причем репутация эта оказалась настолько устойчивой, что, когда в 1831 году Давыдов после долгих и весьма унизительных хлопот занял в университете кафедру русской словесности, студенты встретили его аплодисментами.

Однако очень скоро выяснилось, что Давыдов ни в коей мере аплодисментов не заслуживал. Из всех своих неприятностей он извлек урок на будущее и больше подобных «промахов» не допускал. В стремлении к блестящей карьере Давыдов безжалостно отбрасывал все, что могло помешать ей, с удивительной легкостью преодолевая свои собственные убеждения. Очень скоро он освободился от них полностью, являя собой уже в начале 1830-х годов вполне законченный тип на все готового карьериста.

«Низкая натура» Давыдова во всей своей красе проявилась и перед коллегами-профессорами, и перед студентами. «...От него,— по словам Гончарова,— веяло холодом, напускной величавостью, которая быстро превращалась в позу покорности и смирения при появлении какой-нибудь важной персоны из начальства». А Соловьев в своих «Записках», не скрывая того омерзения, которое внушала ему эта личность, прямо писал, что Давыдов «продал дьяволу свою душу, ибо для достижения почестей считал все средства позволительными: нипочем было ему очернить человека, загораживавшего ему дорогу, погубить его в общественном мнении; нипочем ему было унизиться до самой гнусной, невообразимой лести перед человеком и перед лакеем человека сильного».

Научные достижения Давыдова с начала 1830-х годов равнялись нулю. Курс свой, получивший в университете прозвание «Ничто ни о чем, или Теория красноречия», Давыдов читал с полным к нему равнодушием. «...Все лекции состояли из набора слов известного или переизвестного уже; студенты слушали сначала со вниманием, ожидая, что же выйдет под конец, но под конец ничего не выходило».

Все это было более чем естественно: Давыдов искал счастья не в науке и не на кафедре, а в приемной графа Уварова. Частый гость в министерстве просвещения и в уваровском подмосковном имении Поречье, он буквально на лету хватал мысли своего патрона и действовал соответственно; в духе официальной народности, как своей личной канцелярией, управлял он факультетом, безжалостно теснил неугодных Уварову профессоров и, обладая бойким пером и ясной головой, писал на заказ статьи по интересовавшим министра вопросам...

Помимо Давыдова, теорию официальной народности в Московском университете взяли на вооружение профессор русской истории, издатель журнала «Москвитянин» М. П. Погодин и С. П. Шевырев, читавший историю русской словесности. Та позиция, которую занимали эти люди в жизни, в науке и в политике, су-

щественно отличала их от бесстыжего соратника. Если Давыдов был совершенно равнодушен ко всему, кроме собственной карьеры, и в теории официальной народности видел лишь мощное орудие для ее усовершенствования, то Погодин и Шевырев обладали твердыми убеждениями. Уваровскую триаду они принимали не за страх, а за совесть, поскольку она вполне соответствовала их собственным взглядам. И Погодин отнюдь не лукавил, когда в 1842 году излагал перед читателями «Москвитянина» программу журнала, в основу которой, с одной стороны, было положено «сознание национального достоинства, уверенность в великом предназначении русского народа не только в политическом смысле, но и в человеческом, уверенность в величайших дарах духовных, коими наделен русский человек», а с другой —«осуждение безусловного поклонения Западу» и «непримиримая, открытая вражда к противоположному направлению». Этой программой Погодин вполне искренне определял и всю свою научную и литературную деятельность. То же с полным основанием можно сказать и о его младшем собрате на поприще защиты «исконных устоев» С. П. Шевыреве —«искренно православном и патриоте».

Таким образом, Уваров как будто получал завидных работников на ниве «русского просвещения»— исполненных веры в правоту своего дела и к тому же даровитых, знающих и весьма работоспособных. Однако тем и характерна судьба Шевырева с Погодиным, что все их яркие достоинства не помогли воплотить в жизнь фантастическую теорию Уварова. Их деятельность в Московском университете и на страницах «Москвитянина» ясно показала, что бюрократический штамп «православия, самодержавия, народности» ни в коей степени не может заменить истинно научного мировоззрения.

М. П. Погодин составил себе имя прежде всего борьбой со скептиками, развернувшейся в полную силу в конце 1820-х — начале 1830-х годов; в многочисленных дискуссиях того времени фактическая правда нередко была на стороне Погодина. Это вынужден был

признать даже не любивший своего старшего коллегу С. М. Соловьев, который писал: Погодин «подметил, что у скептиков золотая голова и глиняные ноги, и начал бить по ногам». Однако, когда споры о достоверности русских летописей отшумели и перед русской исторической наукой встала новая задача — обобщить накопленный в этих дискуссиях материал,—«критик критиков» оказался банкротом. Он, по словам того же Соловьева, «засел на варяжском периоде», «страшно отстал».

Иначе и быть не могло. Наступали времена, когда для историка вне философии не было благодати; Погодин же принципиально отвергал путь философского осознания истории. Он противопоставлял ему свою «математическую методу», в соответствии с которой исследователь все свое внимание сосредоточивал не на анализе, а на изложении того или иного источника. «Сумма выписок», верно передающая дух документа,— вот конечный итог работы историка, который не должен вносить в нее ничего от себя, от своего времени. Источник становился своего рода идолом... Погодин и здесь был вполне добросовестен; он искренне благоговел перед прошлым своей родины; это трепетное отношение проявлялось, в частности, и в том, с каким упорством собирал он долгие годы в своем знаменитом «древлехранилище» на Девичьем Поле старинные книги и рукописи. Однако эту симпатичную сторону деятельности профессора могли оценить по достоинству лишь немногие близкие ему по духу ученики. Большинство же из тех, кто читал его труды и слушал его лекции, искали в них прежде всего осмысления исторического процесса. Погодин же попросту отказывался от создания сколько-нибудь цельной концепции русской истории; все, что требовало объяснений, он объяснял в духе веками испытанного провиденциализма — «перстом Божиим»... В 30—40-е годы XIX века под таким знаменем нелегко было собрать соратников.

Судьба Погодина-историка при всем своем внешнем благополучии во многом трагична. Он горячо любил русскую историю; знал ее с фактической стороны,

должно быть, как никто из современников; много и усердно работал... Когда же в конце 1840-х — в 1850-е годы Погодин, подводя итоги самому плодотворному периоду своей деятельности, собрал воедино лучшее из того, что было им написано, то содержание этих трудов вполне соответствовало их названиям: «Историко-критические отрывки» в двух книгах и «Исследования, замечания и лекции» в семи томах, представлявшие собой массу фактов, массу сюжетов, резкую полемику с противниками по отдельным вопросам — и ничего стройного, цельного, законченного...

Те же черты присущи были и лекциям Погодина: отсутствие стержня, смыслового единства — вот что отмечают в своих воспоминаниях почти все его слушатели. Сначала, по словам Соловьева, Погодин «месяц-другой посвящал славянским древностям, которые читались буквально по Шафарику; потом переходил профессор к подробному рассмотрению вопросов о достоверности русских летописей и происхождении варягов на Руси, т. е. прочитывались обе его диссертации. Остальное читалось по Карамзину...». Эти лекции превращались «в класс риторики. Погодин зачитывал вслух «Историю государства Российского», заставляя слушателей восторгаться искусством Карамзина в переходах от рассказа об одном событии к рассказу о другом».

Цель, к которой стремился Погодин-лектор, была благородна и возвышенна: ему хотелось заразить слушателей своей любовью к России, раскрыв перед ними красоту и глубокий внутренний смысл русской истории. Но и для этого нужны были определенные средства; у Погодина же они были весьма незначительны. Любопытно замечание Гончарова, что у Погодина, как и у Давыдова, «было кое-что напускное и в характере его, и в его взгляде на науку. Мы чуяли, что внутри у него меньше пыла, нежели сколько он заявлял в своих исторических, ученых и патриотических настроениях, что к пафосу он прибегал ради поддержания тех или иных принципов, а не по импульсу искренних увлечений... Словом, мы чувствовали, что он человек себе на уме». А между тем в том, что касалось его научных

взглядов, Погодин был вполне искренен. Его ложный пафос порождался не лукавством, а теоретической немощью: профессор стремился заставить поверить в то, в чем не мог убедить...

У С. П. Шевырева, с которым Погодина связывало не только единство убеждений, но и крепкая дружба, философская жилка, несомненно, была. Один из «архивных юношей», полноправный член общества любомудрия, он уже в 1820-е годы был завзятым шеллингианцем; его научные работы сыграли свою роль в распространении немецкой философии на русской почве. Однако, всегда придерживаясь консервативных взглядов, Шевырев ценил в шеллингианстве совсем не то, что Надеждин с Павловым. Его привлекала мистическая сторона этой философской системы. Когда же в 1830-е годы Шеллинг в своих духовных исканиях окончательно забрел в тупик религиозного миросозерцания, Шевырев с восторгом последовал за своим кумиром. И если Погодин вообще презирал философию, то Шевырев стремился максимально использовать ее для обоснования уваровской теории.

Внешне лекции Шевырева весьма выгодно отличались от погодинских. Для них были характерны не только насыщенность фактическим материалом, «обличавшим добросовестный труд», и «щегольская», отточенная форма, но и несомненная внутренняя цельность; это не могло не привлекать слушателей, отнюдь не избалованных подобными достоинствами. Однако разочарование наступало очень скоро. Это отмечал, в частности, К. Аксаков, который в силу своих личных симпатий к «рыцарям» православия, самодержавия, народности оценивал их значительно мягче других современников. Но и он признавал, что за «педантичностью приемов, множеством трудов и знаний» у Шевырева крылись «отсутствие свободной мысли, манерность и неприятное щекотливое самолюбие». «Нельзя сказать,— вторил ему Соловьев,— чтобы он вначале не обнаружил таланта, но этот талант дан был ему в чрезвычайно малом количестве и как-то очень некрепко в нем держался, и он его сейчас израсходовал, запас ис-

чез, оставил какой-то приторный выцвет». Если Давыдов, по словам Соловьева, «из «ничто» умел сделать содержание лекции, Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством и бесталанным проведением известных воззрений».

В этом, наверно, и крылась суть дела: «свободную мысль», об отсутствии которой у Шевырева сожалел Аксаков, невозможно было сочетать с «проведением известных воззрений», с полным, пусть и искренним, подчинением своего курса «казенной программе». Как только Шевырев появлялся на кафедре, на аудиторию тут же обрушивались «бесконечные рассуждения, т. е. бесконечные фразы о гниении Запада, о превосходстве Востока...». При этом подобные воззрения проводились Шевыревым чрезвычайно навязчиво, заглушая то действительно ценное, что, несомненно, было в его лекциях,— ведь свой предмет, древнерусскую литературу, профессор знал по тем временам превосходно. В то же время «лобовая» пропаганда официальной идеологии не только не давала желаемых результатов, но и компрометировала «борца за идею». Соловьев вспоминал, как после одной из лекций Шевырева слушатели делились соображениями по поводу того, сколько лишнего жалованья получает профессор за свои верноподданнические рацеи.

К этому следует добавить, что у Погодина с Шевыревым были черты, которые, вне зависимости от верноподданнических убеждений профессоров, подрывали их авторитет в глазах молодежи. Оба они обладали тяжелым характером, в котором определяющую роль играло необычайно щекотливое, болезненное самолюбие; отличаясь от Давыдова искренним и серьезным отношением к науке, они тем не менее так же были людьми карьеры и в борьбе за «место под солнцем», которая теснейшим образом переплеталась с борьбой политической, не стеснялись иной раз сильно действующими средствами,— во всяком случае, противники постоянно обвиняли их то в интригах, то в сплетнях, а

то и в более тяжких грехах. Студенчество не мог не отталкивать и откровенный клиентизм этих профессоров: Погодин и Шевырев были в наилучших отношениях с министром, видя в нем своего естественного защитника и покровителя. Вместе с Давыдовым и порознь они часто навещали Уварова в Поречье, в котором тот собирал нечто вроде литературного салона. «Отчеты» об этих визитах, появлявшиеся время от времени в «Москвитянине», были выдержаны в таком духе, что давали современникам серьезные основания называть эту троицу «холопами села Поречье». Все эти «слабости» как нельзя лучше объясняют, почему в борьбе за молодое поколение уваровцы не выдержали конкуренции с той новой силой, которая так ярко проявила себя в Московском университете в конце 1830-х —1840-х годах, продолжив дело, начатое Павловым, Надеждиным, Каченовским.

* * *

Едва вступив на вожделенное «университетское поприще», Грановский обрел верных единомышленников. Он сразу же стал полноправным членом немногочисленного, но очень дружного кружка молодой профессуры. Его составляли люди, разные и по характеру, и по способностям: педантичный чудак П. Г. Редкин, добросовестнейшим образом посвящавший своих слушателей во все тонкости «юридической энциклопедии»; грубоватый Н. И. Крылов — тоже юрист, чья богатая натура преодолевала все, даже свою собственную лень; «elegantissimus»* Д. Л. Крюков, выразительная внешность которого вполне соответствовала ярким, эффектным лекциям по «римским древностям»... Но все эти профессора пришли к своим кафедрам одним путем — через учебу в немецких университетах, через овладение гегельянством; всех их связывало единое, ясное и цельное мировоззрение.

Возникнув в конце 1830-х годов, этот кружок надолго стал центром притяжения для талантливой университетской молодежи. Впоследствии в него вошли

* Элегантнейший (*лат.*).

К. Д. Кавелин, историк и юрист, один из самых ярких представителей западничества, и мидиевист П. Н. Кудрявцев, ставший не только «ближайшим коллегой», но и близким другом Грановского — для его характеристики как профессора достаточно сказать, что он всерьез соперничал с последним по популярности среди московского студенчества. Постоянным членом кружка был давний знакомый Грановского по Петербургу Е. Ф. Корш — поначалу скромный «библиотекарь при университете», он с 1843 года возглавил университетские «Московские ведомости». Свою близость к этому кругу собственноручно засвидетельствовал в «Записках» и один из самых замечательных историков России — С. М. Соловьев.

В 1840-е годы кружок молодой профессуры превратился в серьезную силу; он в значительной степени определял лицо Московского университета; именно с его членами были связаны наиболее яркие воспоминания тех, кто учился здесь в это поистине «замечательное десятилетие».

Иначе и быть не могло. «Люди добросовестной учености,— писал о молодой профессуре Герцен,— ученики Гегеля, Ганса, Риттера и других, они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположною жизни... Диалектическим настроением пробовали тогда решать исторические вопросы в современности; это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию. Наши профессора привезли с собою эти заветные мечты, горящую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми налоями, с которых они были призваны благовестить истину; они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии».

Свою религию молодые профессора проповедовали с исключительным талантом, буквально завораживая своих слушателей, оставляя по себе долгую память. Страницы многочисленных воспоминаний питомцев Московского университета 1840-х годов прек-

расно передают всю силу этих впечатлений. «Глубокая тишина водворялась в зале, и один только голос слышен был повсюду, к нему устремлено было все внимание слушателей. Трудно передать не испытавшему то могущественное и чудное впечатление, которое производят на молодой ум университетские лекции. После сухих, приуготовительных уроков гимназии, после худощавых остовов и формул учебников душа вступала вдруг в область живого, чистого ведения. Внезапно представлялась наука, в ее настоящем объеме и форме...» В те времена, вспоминал Я. П. Полонский, в аудиториях слышен был «только скрип перьев и ни малейшего шума».

Вот на кафедре Редкин... «Лекции Редкина заставили нас видеть во всех явлениях сего мира внутреннее развитие и в этом развитии познавать постепенность; показали нам, что ничто не возникает вдруг и что есть законы, которые нельзя обойти...» Его сменял Крылов, который «мастерски умел выяснить смысл юридических понятий, их характеристические особенности, с необыкновенной наглядностью и выпуклостью... Мы любили слушать его лекции. Они были весьма полезны для развития нашего мышления. Они приучали к исторической критике и строгой логичности». А как привлекал молодежь Крюков, «блестящий талант в изложении, блестящий и твердый, не допускавший фразы... Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромной массой новых идей, с совершенно новою для нас наукою, изложил ее блестящим образом и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и затем посеял хорошими семенами...». О том, как читал Грановский и какое впечатление производили его лекции на слушателей, достаточно подробно рассказано в предыдущей главе. Молодежи, пополнявшей кружок, было у кого учиться...

В сущности, все члены кружка делали — каждый по-своему, в своей сфере — одно общее дело: учили тех, кто их слушал, мыслить, искать внутренний смысл в окружающих явлениях, вооружали мощным оружием

диалектики. И эту, по меткому выражению Герцена, «тихую работу» они выполняли, как правило, не просто добросовестно, а с исключительным талантом.

Работа, начатая в университетских аудиториях, продолжалась и за их стенами. В своем стремлении найти с молодежью общий язык, направить ее на путь истинный профессора не жалели ни времени, ни сил. «У Грановского, у Кавелина, у Редкина,— вспоминал Чичерин,— в назначенные дни собиралось всегда множество студентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, о явлениях литературы... Всякий молодой человек, подававший надежды, делался предметом особенного внимания и попечения». Сам же Грановский в одном из писем очень четко определял свою принципиальную позицию по отношению к такой «незапланированной нагрузке»: «Мне по приезде сюда советовали держать себя подалее от студентов, потому что они «легко забываются». Я не послушал и хорошо сделал. В исполнении моих обязанностей я не сделаю никакой уступки, но вне обязанностей мне нельзя запретить быть приятелем со студентами».

Это «приятельство» как раз и выражалось в «частном» общении с молодежью. С первых же лекций стремление студентов сблизиться со своим профессором было очень сильным — недаром Грановский был вынужден назначить для этих встреч специальные часы: «...Посещения студентов берут много времени,— писал он Станкевичу,— для отвращения этого неудобства они ходят ко мне только по утрам, тотчас после лекции, когда я ровно ничего не могу делать». В живом общении с молодежью обаяние Грановского проявлялось, может быть, еще более ярко, чем на кафедре. Наверное, никто из его соратников не умел подойти к своему собеседнику с такой простотой, сердечной искренностью и в то же время с глубокой серьезностью. Как вспоминал один из учеников, «всегда ласковый и приветливый, умевший с молодежью говорить, как со взрослыми людьми, возбуждая в них мысль, интересуя их всеми разнообразными проявлениями человеческо-

го духа в прошедшем и настоящем», Грановский так же, как и другие члены кружка, каждой «частной беседой» вносил весомый вклад в общее дело.

Научная и педагогическая работа, которую Грановский вел в полную силу своей богатой натуры, быстро вывела его в первые ряды прогрессивной профессуры Московского университета — это лидерство было признано и друзьями, и врагами Грановского. Возглавив круг борцов за «новую науку», он неизбежно должен был принять и самые сильные удары от тех, кто этой науке противостоял.

* * *

Однако, прежде чем перейти к рассказу об идейной борьбе в Московском университете в первой половине 1840-х годов, необходимо дать хотя бы самое общее представление о том человеке, которому по чину было положено играть в этой борьбе самую важную роль. В соответствии с новым уставом 1835 года русские университеты, почти полностью лишенные автономии, подчинялись на бюрократических основаниях попечителям учебных округов. Эти чиновники министерства народного просвещения получали здесь всю полноту административной власти, а вместе с ней и контроль над деятельностью профессуры. От попечителя зависело очень многое; выше его был только министр; но зато попечитель был гораздо ближе, входил во все университетские дела и держал в своих руках все нити управления.

Попечитель Московского учебного округа Сергей Григорьевич Строганов был личностью яркой, незаурядной и весьма сложной. Потомок «именитых людей Строгановых», у которых не гнушались брать в долг последние Рюриковичи и первые Романовы, владелец огромного майората, он к тому же еще и с гордостью носил графский титул. Однако в безликой толпе, окружавшей трон Николая I, Строганов выделялся отнюдь не только знатностью и богатством. У него были еще и

убеждения — весьма неясные, путаные и в целом консервативные,— и все же это были именно убеждения, самостоятельный взгляд на жизнь, а не бюрократический штамп официальной народности.

Строганов был верным сторонником самодержавной власти; опору же ей он видел в русской аристократии, к которой с полным правом причислял и самого себя. Однако для Строганова истинный аристократизм определялся не только знатностью и богатством; аристократия, считал граф, поддерживается «личными достоинствами членов своих, их нравственными средствами»— поэтому «высшее сословие» должно быть прежде всего хорошо образовано. К просвещению Строганов относился чрезвычайно серьезно, с искренней любовью и уважением и за время своего попечительства сделал немало для его развития в Москве и Московском учебном округе. При этом речь шла не об «истинно-народном», а об истинно научном просвещении: не обладая ни острым умом, ни глубокими знаниями, Строганов умел ценить и то и другое в своих подчиненных. Именно ум и знания были критерием, которым он определял свое отношение к окружающим. Поэтому, например, «неслужащий дворянин» А. И. Герцен — дважды побывавший в ссылке, находившийся на самом дурном счету у правительства,— был частым гостем в его кабинете; поэтому и молодые профессора могли в довольно широких пределах рассчитывать на его помощь и защиту.

Помимо этих достоинств — и в тесной связи с ними,— Строганов имел еще одно, весьма важное: он ненавидел и презирал Уварова в такой же степени, в какой удачливый министр ненавидел и боялся независимого и по убеждениям, и по характеру, совершенно лишенного чиновничьей «гибкости» попечителя Московского учебного округа. Действительно, спина у Строганова гнулась туго: он не то что перед Уваровым, которого в грош не ставил, он перед самим Николаем не боялся отстаивать свое мнение. Такие люди в высших сферах были тогда наперечет...

Строганова ни в коем случае нельзя идеализиро-

вать. Искренняя любовь к просвещению сочеталась в нем с не менее искренней преданностью охранительным началам; отсюда — постоянная внутренняя борьба и то своеобразное поведение, которое Герцен называл «приливами и отливами»: «Когда он бывал в либеральном настроении, он говорил о книгах и журналах, восхвалял университет и все сравнивал его с тем жалким положением, в котором он был в мое время. Но когда он был в консервативном направлении, тогда упрекал, что я не служу и что у меня нет религии, бранил мои статьи, говоря, что я развращаю студентов, бранил молодых профессоров, толковал, что они его больше и больше ставят в необходимость изменить присяге или закрыть их кафедры.

— Я знаю, какой крик поднимется от этого, вы первый будете меня называть вандалом.

Я склонил голову в знак подтверждения и прибавил:

— Вы этого никогда не сделаете, и потому я вас могу искренне поблагодарить за хорошее мнение обо мне.

— Непременно сделаю,— ворчал Строганов, потягивая ус и желтея,— вы увидите.

Мы все знали, что он ничего подобного не предпримет, за это можно было позволить ему периодически постращать, особенно взяв в расчет его майорат, его чин и почечуй».

И действительно, Строганов «стращал» нередко; и все же молодая профессура постоянно ощущала его очень важное в условиях николаевского режима покровительство. Не жалуя Уварова, Строганов весьма брезгливо относился и к его приверженцам. Как правило, он не принимал на веру те «политические выводы», которые Погодин с Шевыревым усердно извлекали из научных дискуссий со своими противниками; немало сил тратил Строганов на то, чтобы гасить скандалы, усердно раздувавшиеся адептами официальной народности в Московском университете. Все это, несомненно, облегчало жизнь молодым профессорам-гегельянцам и позволяло им вести свою работу с большей смелостью и последовательностью.

* * *

Между тем уваровцы не сидели сложа руки. Они всеми силами пытались противостоять идейному влиянию молодой профессуры, ее растущему авторитету. Эту борьбу они вели различными средствами и в самом университете, и за его стенами.

В 1841 году на страницах издававшегося Погодиным «Москвитянина» появились кряду две статьи его соратников под весьма характерными названиями: «Взгляд русского на современное образование Европы» Шевырева и «Возможна ли у нас германская философия?» Давыдова. Обе статьи были направлены против того, что представлялось их авторам главной угрозой официальной идеологии —«западного просвещения» и прежде всего гегельянства; с другой стороны, они — особенно Шевырев — пытались в какой-то степени вывести эту идеологию за узкие рамки министерского циркуляра. При этом оба автора отнюдь не нарушали основных постулатов уваровской теории: они стремились лишь к тому, чтобы несколько оживить сухие канцелярские формулы, расцветить их красками профессорского красноречия, обеспечить научной аргументацией, придать им, так сказать, интеллигентный вид — и тем самым усилить воздействие теории официальной народности на русское образованное общество.

Основой статей Шевырева и Давыдова была стержневая мысль уваровской теории об идейном противостоянии «здоровой» России и «гнилого» Запада. Весьма красочную картину гниения западной цивилизации рисовал в своей статье Шевырев. При этом, сам будучи вскормлен ее «тлетворными плодами», неблагодарный профессор,— так же, впрочем, как и его коллега,— широко пользовался категориями «ложной» немецкой философии, пытаясь обратить их себе на пользу.

Рассуждения свои Шевырев строил по хорошо знакомой схеме: развитие народов определяется их духом, идеями, ими усвоенными. Современную Европу Шевырев рассматривал как порождение, с одной стороны,

католичества, с другой — протестантства. И то и другое — ложно, изжило себя и не имеет будущего. «Протестантизм, с одной стороны, рушит все предания и водворяет совершенную и полную свободу, нарушающую всякое единство, всякую возможность целости: это самый дикий феодализм в религии, совершенная разрозненность. С другой стороны, католицизм коснеет в закоренелых предрассудках папизма... держится строго своих заветных преданий, своих материальных выгод, основанных на суеверном невежестве народа».

Схожую оценку этим явлениям давал в своих лекциях Грановский. Однако он, как мы помним, находил в истории Западной Европы и всего человечества новые силы — науку, просвещение, поступательное развитие которых было в его глазах залогом светлого будущего. С точки же зрения Шевырева, просвещение не может быть самостоятельной силой; его характер целиком и полностью определяется тем, что составляет «сердцевину жизни народной»,— прежде всего религией. Если же наука и просвещение рвут свои связи с этой «основой основ народного бытия», они неизбежно обрекают себя на гибель.

С этих позиций Шевырев и оценивал просвещение тех стран, которые оказали и оказывают наибольшее влияние на Россию: Франции и Германии. Он находил в их истории очень много общего: «Франция и Германия были сценами двух величайших событий, к которым подводится вся история нового Запада, или правильнее: двух переломных болезней, соответствующих друг другу. Эти болезни были — реформация в Германии, революция во Франции: болезнь одна и та же, только в двух разных видах. Обе явились неизбежным следствием западного развития, приявшего в себя двойство начал и утвердившего сей раздор нормальным законом жизни».

«Унижение религии», разрыв с ней большинства «культурных людей Запада»— вот суть этой болезни. Потеря же религиозных основ, по мнению Шевырева, не возместима ничем. Отрекаясь от бога, западный

мир попадает в лапы дьявола. «Духовный разврат» пронизывает его культуру, его просвещение, а через них неизбежно сказывается и в самых различных сферах государственной и общественной жизни.

Во Франции, пережившей политическую революцию, он проявляет себя «в разврате личной свободы, который всему государству угрожает совершенной дезорганизацией»; «материальные интересы поглощают там все чувства человеческие». Это «безобразие», считал Шевырев, очевидно: на нем зиждется политический строй и общественная жизнь, его воспевают французские литература и искусство, его пытается обосновать французская наука. Именно поэтому оно сравнительно легко уязвимо, как всякий явный порок.

Иное дело Германия... Шевырев иронически восхвалял «внешнее благоустройство Германии во всем, что касается до ее государственного, гражданского и общественного развития. Какой порядок! Какая стройность!.. Университеты цветут... Искусство развивается... Промышленность и внутренняя торговля делают успехи...» и т. д. Однако «под этою прочною и счастливою, благоустроенною внешностью Германии» Шевырев прозревал «другой, неосязаемый, невидимый мир мысли, совершенно отдельный от мира внешнего». Граница между этими мирами проходит через ум и душу «культурного германца»; один и тот же человек, «смирный, покорный, верный в государстве, обществе и семье, является буйным, неистовым, насилующим все, не признающим над мыслью своей никакой власти... Да, разврат мысли — вот невидимый недуг Германии...»

Воплощением этого разврата Шевырев считал немецкую философию и прежде всего ее последнее слово: «гегелизм». Он призывал русское общество противостоять его «тлетворному влиянию», в равной степени как и «политическому разврату», идущему из Франции. Основой этого противостояния должно было стать «истинно-русское», христианское мировоззрение, которое предстояло выработать, исходя из присущих каждому русскому человеку «трех коренных чувств, в которых

семя и залог нашему будущему развитию»: «чувства религиозного», «чувства государственного единства России» и «сознания нашей народности».

Статья Давыдова представляла собой вариацию на ту же тему. Так же, как и Шевырев, он подчеркивал опасность, таящуюся в немецкой философии: «Окрыленная торжеством реформации, она в ослеплении своем возмечтала руководить религиею, ниспосланной нам свыше, и поставить человека на путь правый и истинный». Эта философия, по словам Давыдова, явилась результатом одряхления западного общества, изжившего свои жизненные начала. В России она «невозможна... по противоречию ее нашей народной жизни религиозной, гражданской и умственной». Давыдов призывал «прильнуть» к этой жизни, имея в виду ее «мудрые законы исторической науки», «святую веру», «прекрасный язык» и т. д. Все это нужно было постичь: «учиться, учиться надобно прежде и потом философствовать». А уж потом, «после трудов праведных», возможно, наступит время, «когда наш будущий Шеллинг или Гегель воссоздаст свою философию, более прочную и надежную, нежели философия германская...».

Как видим, в этих статьях было немного оригинального по сравнению с уваровскими записками и циркулярами. Но зато в них содержались чрезвычайно ясные и конкретные указания на противников официальной идеологии. Поскольку гегельянство объявлялось чуть ли не воплощением «гниющего Запада», то последователи этой философской системы неизбежно должны были выглядеть как разносчики заразы... Всем своим содержанием статьи подводили к такому выводу; а кроме того, в них, особенно в шевыревской, были и намеки предельно откровенные: «Мы целуемся с ним (с Западом.— *А. Л.*), общаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства... и не замечаем скрытого яда в бесконечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, который уже пахнет»,— ведь хорошо было известно, кто призывал к этому «общению», кто прививал русскому просвещению западную

науку... Когда же, ужасаясь «разврату» просвещения во Франции, Шевырев писал: «Профессоры во зло употребляют свободу свою тем, что читают лекции обо всем, что им вздумается, и не подлежат никакой высшей ответственности, никакому отчету перед своим начальством»,— то было очевидно, что этой тирадой он метит отнюдь не во французских профессоров... Грановский и его друзья восприняли эти статьи как донос. Впоследствии, «успокаивая» Шевырева, обвинявшего своих противников в распространении о нем «порочащих слухов», Грановский не без язвительности писал ему: «О Редкине, обо мне ходили еще худшие слухи: нас обвиняли в распространении безбожия и безнравственных учений между студентами. Мы презрели слухи и не стали отыскивать виновников. Время оправдало нас. Смею надеяться, что оно окажет и Вам ту же услугу».

Помимо подобной «идейной» борьбы, уваровцы делали все от них зависящее, чтобы затруднить работу своих противников в университете, скомпрометировать их в глазах начальства — одним словом, стремились доставить им как можно больше неприятностей. По переписке Грановского можно судить о том, как скоро пришлось ему познать эту неприглядную сторону университетской жизни. В первых письмах «соединенным друзьям», определяя свои взаимоотношения со «стариками»— из них ему, кстати, по душе пришелся один Каченовский,— Грановский писал: «С Давыдовым, Погодиным и проч. на тонкой галантерейности». В конце 1839 года от «галантерейности» уже не осталось и следа, в письме Станкевичу Грановский с гневом восклицал: «Какие, брат, подлецы есть на свете! Иван Иванович Д(авыдов) и другой [?]. Меня бесит мысль одна о том, что я слышал от хороших людей...» А вскоре ему на себе пришлось испытать все прелести давыдовской системы управления факультетом. «Студенты меня любят,— писал Грановский в феврале 1840 года,— но с старейшими поладить трудно. Пользуясь отсутствием графа, мне наделали пропасть гадостей: недоплатили за несколько месяцев жалования, не позволяют дер-

жать экзамена на доктора и проч. Между тем я завален университетскою работою». В отношении всех этих «прижимок» Грановский занял самую твердую позицию: «...Срежутся. Меня или выгонят, или я настою на своем, но без уступок, по крайней мере без таких, которых от меня нельзя законно требовать. Университетская деятельность одна составляет цель и прелесть жизни для меня, но я пожертвую всем, когда дело дойдет до крайности».

В это время Грановский, несмотря на молодость и недостаток авторитета, мог позволить себе пойти на конфликт: власть Давыдова имела свои довольно узкие пределы. Недаром Грановский, рассказывая о своих неприятностях, объяснял их отсутствием Строганова, который был в это время за границей. «...Сначала я терпел, теперь перестал: написал прямое, откровенное письмо графу, в котором высказал ему все и довольно горько. От ответа его зависит моя университетская участь: если он оскорбится языком, к которому, может быть, не привык, то все пропало». Результаты «откровенного письма» говорят сами за себя: молодой ученый остался в университете и вскоре получил возможность сдать экзамены и готовиться к защите диссертации. Очевидно, Строганов не оскорбился... Грановский сразу же вызвал у вельможного попечителя уважение, оказавшееся непреходящим. Правда, граф никогда не оказывал ему безусловной поддержки и иной раз во время очередного «прилива» консервативных настроений не прочь был «постращать» молодого профессора, призвать его к порядку, напомнить об ответственности и т. п. И все же нужно отдать должное Строганову: во всех спорных вопросах он искренне стремился играть роль честного судьи. Грановский так же, как и другие профессора-западники, всегда действовал с расчетом на объективность и порядочность графа — и, пожалуй, ни разу в нем не обманулся...

Следующий тур борьбы Грановского с уваровцами состоялся в связи с защитой магистерской диссертации «Волин, Иомсбург и Винета» 21 февраля 1845 года. Эта работа была посвящена вполне конкретному воп-

росу исторической географии. На основании анализа различных источников Грановский доказывал, что Винета —«величественная столица» балтийских славян венедов — представляет собой «фантазию», в которой причудливо сплелись смутные предания о реально существовавшем славянском торговом городе Волине и норманнской крепости Иомсбурге.

Этот частный вопрос Грановский решал с принципиальных позиций: его диссертация была несколько запоздалой, быть может, данью скептическому направлению. Грановский очень последовательно отстаивал в ней свободу научного исследования, которое все исторические источники, предания, легенды должно подвергать самому тщательному критическому анализу. Это «новое направление» в исторической науке Грановский противопоставлял старому, средневековому, представителей которого отличал «пламенный патриотизм и совершенное отсутствие всяких начал критики», что лишало их творения «простого смысла истины и правдоподобия». Впрочем, отмечал Грановский, хотя подобный подход к истории несказанно устарел, он отнюдь не ушел в прошлое вместе со средними веками. У него осталось немало поклонников и в современности; от них ученый одобрения, естественно, не ждал — и не желал. В заключение своей работы Грановский писал: «Найдутся... люди, которые еще не отступятся от Винеты, которым перед лицом сухой, критикою добытой истины станет жаль изящного вымысла; но против их возражений науке говорить нечего».

Уваровцы восприняли диссертацию Грановского как яркое проявление той самой «развратной западной науки», для которой не существует святынь. В московском обществе они старались выставить Грановского «интриганом, тайным виновником всех оскорблений, которые наносятся славянству». В университете же после того, как было сделано все возможное, чтобы не допустить диссертацию к защите, уваровцы в конце концов дали Грановскому настоящий бой, который завершился их «публичным и торжественным поражением».

На диспуте выступали Погодин, Шевырев и Бодянский — профессор кафедры истории и литературы славянских наречий, который, враждуя с уваровцами, тем не менее всегда присоединялся к ним, когда речь шла о борьбе с молодой профессурой. Выступления оппонентов, насыщенные мелочными придирками, были, по словам очевидца, «деланы с невероятной дерзостью, с цинизмом, грубым до отвратительности». Особенно отличились Шевырев с Бодянским. Выступление последнего шокировало даже Погодина, который сам не отличался особой деликатностью чувств и изяществом выражений. «Длинная речь в неприличной форме»,— гласит запись в его дневнике. А славянофил Хомяков, в целом разделявший отрицательное отношение уваровцев к диссертации, признавал, что «неловкостей была бездна: Бодянский и Шевырев попали впросак».

Грановский отвечал «тихо, спокойно, кротко, вежливо улыбаясь: нравственно оппоненты были уничтожены им». Но дело было не только в «нравственной» и научной победе Грановского: его магистерский диспут дал университетской молодежи возможность проявить свое отношение к той борьбе, которая разворачивалась у нее на глазах. «Грановский был встречен громом рукоплесканий, каждое слово Бодянского награждалось всеобщим шиканьем. Изъявления эти были так сильны и энергичны, что никто и не подумал останавливать их»,— с восторгом писал в своем дневнике Герцен. Аналогичные записи Погодина, естественно, были проникнуты другим чувством: «Почти шиканье после некоторых реплик... Каковы!.. Рукоплесканье в заключение. Novus nassitur ordo*... Теперь студенты будут вступаться и за министров».

Погодин был совершенно прав: магистерский диспут Грановского явился одним из первых ростков «нового порядка». Общество, отданное под надзор III отделения, придавленное жестким цензурным уставом, воспользовалось не предусмотренной правительством возможностью выразить свое мнение — и мнение это

*Рождается новый порядок *(лат.)*.

было не в пользу официальной идеологии. Академический, чисто научный интерес к диссертации отошел на задний план. Диспут превратился в схватку двух сил: сторонников прогресса и защитников существующего строя. Молодая Россия предельно ясно выразила свои симпатии и во время диспута и после него. «Когда кончился диспут и граф Строганов поздравил Грановского, раздались: vivat, vivat! На лестнице потом увидели как-то Грановского, и новые рукоплескания, даже перед университетом собралась толпа студентов, ожидавшая его выхода, но ее уговорили разойтись. Этот день торжества Грановского да вместе с тем торжество всего университета... Хвала студентам»— так заканчивал свою дневниковую запись об этом Герцен.

Таким образом, диспут на, казалось бы, узкую и специальную историческую тему вылился в яркую демонстрацию русской молодежи, активно поддержавшей «своего» профессора. Эта демонстрация могла иметь продолжение: студенты готовились устроить Грановскому овацию на первой же после защиты диссертации лекции. Университетское начальство, всеми силами желавшее избежать «высочайшего внимания» к университету, и без того давно уже слывшему крамольным, просило Грановского «как-нибудь предупредить» это новое выражение симпатий его слушателей. Грановский предупредил их по-своему: взошедши на кафедру, он сказал так: «Милостивые государи! Позвольте мне благодарить вас за 21 февраля; этот день скрепил наши отношения неразрывными узами, я получил от вас самую прекрасную, самую благородную награду, какую только может получить преподаватель в университете,— вполне чувствую ее и еще с большею ревностью посвящу жизнь мою Московскому университету. Позвольте мне обратиться к вам с просьбой: я осмеливаюсь просить вас, милостивые государи, не изъявлять более наружным образом вашего сочувствия, мы слишком близки друг к другу, чтоб нужны были такие доказательства; не потому я прошу вас об этом, что считаю опасным для вас или для себя такие изъявления, я знаю, что это не остановило бы вас,— а

потому, что они излишни после того изъявления вашей симпатии, которое останется на всю жизнь моим лучшим воспоминанием. Зачем наружные знаки, вы и я принадлежим к молодому поколению, мы имеем общее прекрасное дело: посвятим занятия наши серьезно изучению, служению России — России, вышедшей из рук Петра I, равно удаляясь от пристрастных клевет иноземцев и от старческого желания восстановить древнюю Русь во всей ее односторонности».

Достоинство, с каким Грановский защищал свои взгляды и во время диспута и после него, еще больше укрепило и без того чрезвычайно стойкую популярность профессора среди студенческой молодежи. Б. Н. Чичерин, готовившийся в это время к поступлению в университет, рассказывал, какое из ряда вон выходящее впечатление произвели эти события на его репетиторов-студентов. Один из них, математик, явился в день диспута из университета «в каком-то неистовом восторге»; другой, юрист, с таким же восторгом рассказывая о диспуте, говорил своему ученику: «Вы знаете, ведь для нас Тимофей Николаевич — это почти что божество». Речь Грановского, сказанная студентам на следующий день после диспута, в списках расходилась в московском обществе, вызывая всеобщий восторг.

А Шевыреву студенты готовили скандал на лекции... Магистерский диспут Грановского стал одним из самых ярких и характерных эпизодов в той победоносной борьбе, которую молодая профессура вела с уваровцами. Впоследствии Погодин, пытаясь объяснить причины полного, по сути, банкротства своего направления, писал: «Мы составляли старший профессорский кружок, а те (молодая профессура. — *А. Л.*) — младший, студенческий. Мы обращались к прошедшему, а противники наши к будущему». Ссылка на возраст не очень убедительна: в 1830-е годы, например, весьма почтенный возраст не помешал М. Т. Каченовскому стать кумиром московского студенчества. Но в целом рассуждение Погодина выглядит здраво: именно «обращенность в прошлое», выражавшаяся прежде всего в

неустанной пропаганде охранительных начал, неодолимой преградой отделяла уваровцев от русской молодежи, которая всеми силами рвалась в будущее, к переменам, к новой России. В 1840-е годы они по всем статьям проигрывают схватки с молодой профессурой, теряя последних учеников, теряя остатки популярности и авторитета.

* * *

... В материалах следствия по делу петрашевцев отложилось чрезвычайно любопытное письмо, в котором один из самых активных членов общества, А. Н. Плещеев, сообщал в родной Петербург о «расстановке сил» в Московском университете. Свой рассказ он иллюстрировал яркими характеристиками профессоров, почерпнутыми в студенческих кругах. В университете, писал Плещеев, есть умные люди, которые всей душой стоят за «общее дело»: прежде всего это Грановский и Кудрявцев. «...Они оба превосходно читают и имеют большое влияние на студентов. Они обходятся со студентами как с равными себе, зовут их на дом, дают им книги и вообще стараются развить в них хорошие семена». Плещеев отмечал, что Грановский чрезвычайно популярен среди студенческой молодежи, считавшей его не только прекрасным профессором, но и борцом, «деятелем», активно противостоящим ненавистному начальству. «Но,— продолжал автор письма,— так же, как любим всеми Грановский, так презираем профессор Шевырев — педант и низкопоклонник, друг всех генерал-губернаторов... Даже всем обществом московским Шевырев и Погодин презираемы, как у нас Булгарин и Греч, да и не велика между ними разница».

В этих характеристиках — итог десятилетней борьбы прогрессивной профессуры со своими противниками-охранителями, борьбы, в которой Грановский и его друзья одержали решительную победу.

ГЛАВА IV. ДВУЛИКИЙ ЯНУС.

Деятельность молодой профессуры была лишь одним из проявлений той оппозиции николаевскому деспотизму, которая медленно, но верно росла в русском обществе. Ее признанным центром стала «отставная столица» — Москва. «Все, что впоследствии развилось и вышло наружу, — писал спустя много лет А. И. Герцен, — все, около чего теперь группируются мнения и лица, — все зародилось в эту темную московскую ночь, за свечкой бедного студента, за товарищеской беседой на четвертом этаже, за дружеским спором юношей да отроков. Там из неопределенной мглы стремлений, из горести и упования отделились мало-помалу, как два вольных глаза, две световые точки, два фонаря локомотива, растущие на всем лету, бросая длинные лучи света, — один на пройденный путь, другой на путь предстоящий. В Москве была умственная инициатива того времени, в ней подняты все жизненные вопросы, и в ней на разрешение их тратились сердце и ум, весь досуг, все существование». Именно здесь, в томительных раздумьях и яростных спорах, родились два идейных течения, определивших собой «мысленную оппозицию» 1840-х годов: западничество и славянофильство.

...Западничество рождалось в муках. У истоков «замечательного десятилетия» едва ли кто мог предвидеть, что столь разнородные, казалось бы, явления общественной жизни 1830-х годов, как кружки Герцена и Станкевича — члены которых со взаимным недоверием относились друг к другу — и державшаяся особняком молодая профессура, дадут жизнь цельному течению мысли. К тому же кружок Герцена, разгромленный полицией в середине 1830-х годов, оставался «раскассированным» и к началу 1840-х,— члены его находились кто в ссылке, кто в тюрьме... Молодая профессура вплоть до приезда в Москву Грановского в своей деятельности не выходила за стены университета, ограничив борьбу за «внутреннее освобождение» рамками отведенных ей для преподавания предметов.

Что же касается кружка Станкевича, которому предстояло очень многое дать новому направлению мысли, то он переживал тяжелый идейный кризис, преклонившись перед «разумной действительносстью»... В основе этого удивительного эпизода из истории русского общества лежало все то же безоглядное увлечение «гегелизмом», трубадуром которого еще с 1835 года стал Станкевич. Затем под его влиянием это увлечение охватило весь кружок. Автор «Замечательного десятилетия» П. В. Анненков писал: «...Упоение гегелевскою философией с 1836 года было безмерное у молодого поколения, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим решал все тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, не знакомый с Гегелем, считался почти что несуществующим человеком...»

Что могло дать гегельянство русской молодежи, мы видели на примере Грановского. Однако очень многое зависело здесь от подхода к этой философской системе. Что касалось историка, то восприятие им гегельянства определялось теми характернейшими чертами его натуры, которые так тонко подметил Герцен: «Грановский... не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для логики или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его».

Действительно, при всем своем стремлении в заоблачные выси абсолюта Грановский твердо, обеими ногами стоял на реальной почве человеческих дел. Гегельянство для него было средством познать окружающий мир, привести в логический порядок хаос яв-

лений прошлого и настоящего. В еще большей степени подобный подход к этому учению был характерен для самого Герцена, который ясно определял его своей знаменитой формулой: «Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от преданий, переживших себя...»

Кружок Станкевича пошел по другому пути. Его члены, по сути, сдались немецкой философии в плен, погрузившись в ее «антиномии» настолько, что они полностью заслонили от них реальную жизнь. «Отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое понимание простых вещей, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля со студентами. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом, и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к «гемюту» или «трагическому в сердце»...»

Эти строки «Былого и дум» воспринимаются как гротеск, но переписка Белинского, Бакунина, Боткина конца 1830-х годов ясно показывает, насколько они близки к истине. «Молодые философы» гнули и ломали реальную жизнь, подгоняя ее под абстрактные философские категории, а жизнь жестоко мстила людям, не желающим понять ее и принять такой, как она есть. Достоянием истории русского общества стали обреченные на неудачу попытки Мишеля Бакунина создать «гармонию» на абстрактно-философских началах в недрах дворянского семейства Бакуниных в Пре-

мухине; исполненные не столько сердечных, сколько мозговых мук, надуманные романы Белинского, Боткина и Станкевича с сестрами Бакуниными... Все эти и многие другие события личной жизни членов кружка выносились к тому же на суд ближних и безжалостно пропускались через философскую мясорубку «дружеских споров», лишавшую их последних следов естественности и оставлявшую мутный осадок взаимных обид и оскорбленных самолюбий...

Грановский, сразу же по приезде в Москву принятый кружком «за своего» — дружба со Станкевичем была ему лучшей рекомендацией, — очень чутко ощутил эту гнетущую атмосферу. «Я боюсь рефлекции,— писал он в Берлин «соединенным друзьям».— Резонируют до бесконечности». Постоянные «философские эксперименты» над живой жизнью приводили к печальным результатам, коверкая самих экспериментаторов: «... Во всех наших приятелях есть одно, что пугает меня: они легко оскорбляются, затаивают оскорбленное чувство, и потом оно переходит в нечто похожее на вражду. Со мной еще не было ничего подобного, но я видел примеры. Незадолго до моего приезда сюда Мишель, Боткин и Белинский — все трое были в самых неприязненных отношениях. Я не привык к этому и потому боюсь за будущее».

Наиболее чуткие члены кружка и сами все яснее сознавали неестественность, изломанность своих взаимных отношений, своего восприятия жизни... Казалось, не была для них загадкой и первопричина этого ложного положения: как раз в это время Белинский, Бакунин и прочие предприняли грандиозную в своем роде попытку сбросить с себя душившие их путы философских абстракций и пробиться с боем к реальной действительности.

В своем обширном письме-исповеди Станкевичу от 29 сентября (8 октября) 1839 года Белинский буквально громил те «возвышенные идеальности», которые так долго определяли собой всю духовную жизнь кружка, — «возвышенную любовь», «возвышенную дружбу» и пр. Нельзя замыкаться в себе, свой «лич-

ный», субъективный мир необходимо поверять не только философскими категориями, но и объективной реальностью... Все это пылкое, страстное послание было пронизано одним стремлением: пробиться сквозь толщу «отвлеченностей» к живой жизни, понять ее — и принять... То был тернистый путь. Преодолеть ту или иную «отвлеченность» было не так уж сложно; куда сложнее было изжить порождавшую их абстрактность мышления. Ведь именно в ней крылась первопричина всех прошлых бед, именно она сбивала членов кружка с верного пути и на этот раз.

... Властно влекомый безупречной, казалось бы, логикой своих рассуждений, Белинский не ограничивался ниспровержением «возвышенных идеальностей» в жизни частной; он не щадил и высоких идеалов жизни общественной. В борьбе с ними Белинский со всей силой своего неистового темперамента обрушился на «адвоката человечества» Шиллера, который олицетворял в его глазах тот абстрактный идеализм, который так долго коверкал духовную жизнь кружка. И Белинский не щадил великого немецкого поэта. «За что эта ненависть? За субъективно-нравственную точку зрения, за страшную идею долга, за абстрактный героизм, за прекраснодушную войну с действительностью — за все за это, от чего я страдал во имя его». Белинский винил Шиллера в том, что его трагедии вызывали в нем дикую вражду к общественным порядкам «во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе».

«...Чаша переполнилась — дух рвался на свободу из душной тесноты» — так резюмировал Белинский свое настроение в конце 1830-х годов. Спасение принес все тот же Гегель, на этот раз «верно» понятый и объясненный Белинскому Бакуниным. «Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила — нет, не могу описать тебе с каким чувством услышал я эти слова — это было освобождение... Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир!.. Слово «действительность

сделалось для меня равнозначительно слову «Бог».

Белинскому и Бакунину, ставшим в отсутствие Станкевича безусловными лидерами кружка, не стоило больших усилий увлечь за собой остальных его членов. Однако, стремясь перебраться с абстрактно-философских небес на твердую почву реальности, они прямиком угодили в топкое болото «разумной действительности»... «Освобождение», о котором толковал Белинский, оказалось ложным, ибо эта действительность была столь же абстрактной, столь же далекой от реальности, как и самые «возвышенные идеальности». По своим же конечным результатам поклонение новому идолу было куда опаснее, чем все прежнее «прекраснодушие».

Герцен справедливо писал, что основа всех этих рассуждений — знаменитая гегелевская формула: «Все действительное разумно, все разумное действительно» — сама по себе есть не более чем «иначе высказанное начало достаточной причины и соответственности логики и фактов». Однако, будучи «дурно понятой», она «сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: «Нет власти, как от Бога».

Действительно, в России эта формула, принятая буквально, вынуждала преклонить колени перед николаевским деспотизмом со всеми его прелестями. Философия Гегеля из «алгебры революции» чудесным образом превращалась в аллилуйю самодержавной России, что, впрочем, поначалу ничуть не смущало ее толкователей — во всяком случае, самого неистового из них.

Когда Герцен, постоянно споривший с Белинским во время своей короткой побывки в столице между первой и второй ссылками, поставил своего оппонента перед тем фактом, что с точки зрения «разумной действительности» не только может, но и должно быть оправдано то «чудовищное самодержавие, под которым мы живем», последний не дрогнул перед этим «революционным ультиматумом»: «Без всякого сомнения»,— отвечал Белинский и прочел «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Именно это стихотворение дало название статье Белинского, в которой он публично исповедался в своем новом мировоззрении. Критик писал здесь о том, сколь ничтожна человеческая личность со своими жалкими повседневными делами и помыслами перед «непосредственным откровением»— деяниями абсолюта. Величайшее же из этих деяний — государство, орган божественной воли, неподвластный земным страстям и стремлениям. «Нет власти, которая была бы не от Бога...» — цитирует Белинский Священное Писание, и, хотя библейский Саваоф уступает здесь место гегелевскому абсолюту, смысл формулы не меняется. «Человечество не помнит, когда преклонило оно колени перед царскою властию, потому что эта власть была не его установлением, но установлением Божиим, не в известное и определенное время совершившимся, но от века в божественной мысли пребывшим. Поэтому царь есть наместник Божий, а царская власть, замыкающая в себе все частные воли, есть прообразование единодержавия вечного и довременного разума».

С этих позиций Белинский решал вопрос о «взаимоотношениях» всемогущего абсолюта, выражающего себя в государстве и отдельной личности, в этом государстве пребывающей. Этот вопрос, как мы видели, чрезвычайно волновал и Грановского. И тот и другой считали необходимым для всякого мыслящего человека «строить свою жизнь в соответствии с волей абсолютного духа». Но вот волю эту они понимали различно, более того — диаметрально противоположно. Грановский видел ее в непрестанном движении, развитии человечества; с его точки зрения, необходимо было осмыслить это развитие, осознать его ход и направление и действовать соответственно. Для Белинского же воля абсолюта предельно ясно выражалась в самом факте существования того или иного государственного и общественного строя; «благонамеренной» же личности во исполнение этой воли оставалось только преклонить колени и замереть в неподвижности, обрекая себя на полное без-

действие. Иначе... «Горе тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним; общество есть высшая действительность, а действительность или требует полного мира с собою, полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под свинцовою тяжестию своей исполинской длани. Кто отторгается от нее без примирения, делается призраком, кажущимся ничто и погибает».

Своим соотечественникам Белинский давал четкие и ясные рекомендации: покориться царской власти, причем не через силу, а осознанно, «с легким сердцем и радостию», ибо «безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни, наша народность». «Бешеное уважение действительности достигло здесь своего апогея: дальше идти было некуда.

«Гадкой, подлой» назвал эту статью Грановский; впрочем, свое отношение к философии «примирения» он ясно и недвусмысленно определил еще раньше, сразу же после первых столкновений со старожилами кружка. Резкое неприятие Грановским «разумной действительности» обусловлено было всем его мировоззрением. Отлично усвоив то лучшее, что было в гегелевской философии,— ее диалектику, он видел в настоящем лишь необходимое звено между прошедшим и будущим. Раскрыть перед своими учениками, перед своими современниками постоянный и вечный процесс развития, объяснить им его механизм, показать те силы, которые, взрывая неподвижность бытия, придают истории поступательное движение,— вот в чем Грановский видел задачу всей своей жизни. С этих позиций призывы поклонников «разумной действительности» признать существующее за вечно сущее, преклониться перед ним, «посмирить свой бедный заносчивый умишко» представлялись не чем иным, как «кощунственным отречением от прав собственного разума», «непонятным и чудовищным самоубийством».

Столкновение Грановского с членами кружка было совершенно неизбежным. Впрочем, взаимоотношения с ними складывались у историка по-разному, и дале-

ко не всегда определяющую роль в этом играли идейные разногласия. Так, например, Бакунин и Катков были Грановскому просто несимпатичны. Эти два человека, внешне столь различные, имели в своих натурах общую черту, которую П. В. Анненков метко и не без остроумия определил как «философское сладострастие». Он писал, что теория «разумной действительности» была для этих двух членов кружка не более чем «потворством и оправданием для самых утонченных прихотей мысли, наслаждающейся собой». Абстрактность мышления, сопряженная с безоговорочным подчинением души разуму, сердца — мозгу, развивала в них способность жертвовать многим и многими ради целей отвлеченных и нередко совершенно нереальных. В повседневном же общении эта черта проявлялась в удивительной бесцеремонности по отношению к окружающим, в том числе и к самым близким друзьям. Все это было неприемлемо для Грановского, который всегда ценил в людях не только ясный ум, но и добрую душу, а основу дружеских отношений полагал в терпимости и взаимном уважении.

С Катковым историк с первого знакомства и до конца дней своих сохранял прохладные, малоприязненные отношения. Бакунин же, производивший на Грановского поначалу самое сильное впечатление теми чертами своей натуры, которые пленяли многих,— интеллектуальной мощью, несравненной способностью к отвлеченному мышлению,— вскоре оттолкнул властолюбием, нетерпимостью, отсутствием твердых нравственных убеждений. Впрочем, ко времени своего отъезда за границу Бакунин рассорился со всем кружком: в октябре 1840 года на пристани в Кронштадте его провожал один Герцен...

Близкие, без всяких оговорок отношения сложились у Грановского лишь с Боткиным. «Теплый, чистый и умный без умничанья,— писал он Станкевичу.— Мы сошлись с первого раза и видимся часто». Боткин, очевидно, был ближе Грановскому, чем другие члены кружка, и в идейном отношении. Во всяком

случае, уже в ноябре 1839 года историк ругал своего нового друга не столько за сочувствие идеям «разумной действительности», сколько за «телячью терпимость» к ним. Анненков же, познакомившийся с Боткиным в начале июня 1840 года, уже не нашел в нем и этой терпимости: Боткин довольно резко критиковал суждения Белинского за абстрактность и аполитизм.

Непросто развивались отношения Грановского и с самим Белинским — главным трубадуром пресловутого «примирения». Глубокая душевная приязнь, возникшая между ними после первой же встречи, сохранялась и в дальнейшем, несмотря на полное расхождение во взглядах. Их письма конца 1839-го — начала 1840 года к Станкевичу — главному арбитру всех споров — прекрасно передают противоречивые чувства, обуревавшие друзей: искренняя симпатия удивительным образом сочеталась здесь с не менее искренним негодованием по поводу гибельных заблуждений своего оппонента. «Что за суждения об искусстве,— возмущался Белинский,— Уланд выше Гейне, Шиллер... Но погоди, за Шиллера я задам ему вытаску вместе с тобою, а пока разделаюсь с ним одним». «Меня,— негодовал, в свою очередь, Грановский,— он презирает за недостаток художественности, за уважение к Шиллеру и Уланду и проч. Ты не поверишь, какие вещи они говорят и пишут». У Белинского были все основания восклицать в отчаянии: «Но боже мой! Можно ли быть противоположнее в своих убеждениях, как мы и он!» Причем для обоих была совершенно ясна исходная точка разногласий; в первом же своем письме из Москвы Грановский писал: «Дело все — в поклонении действительности».

Но вот что характерно: если с Герценом, которому вскоре суждено было стать для него самым близким по духу человеком, Белинский прервал в это время все отношения, то с Грановским они, несмотря на все раздоры, оставались друзьями. И здесь, несомненно, определяющую роль сыграла натура Грановского: его терпимость, деликатность, мягкость, стремление — и умение — вести спор, избегая ущемлять самолюбие

собеседника. Когда же это становилось невозможным, он умолкал...

Товарищеским отношениям Белинского и Грановского так и не суждено было перерасти в интимную дружбу, подобную той, которая сложилась у того же Белинского с Боткиным или, позже, у Грановского с Герценом. Но в Петербург, куда он уехал в 1840 году, Белинский увез самые теплые воспоминания о своем новом знакомом. И, несомненно, как бы ни сдержан и терпим был Грановский, споры с ним все же крушили исподволь «разумную действительность». Недаром первые сомнения в справедливости этой теории, которые проскальзывают в письмах Белинского, связаны с его именем. «Скажи Грановскому,— писал он Боткину в ноябре 1839 года,— что чем я больше живу, тем больше, кровнее люблю Русь, но начинаю сознавать, что это с ее субстанциональной стороны, но ее определение, ее действительность настоящая начинают приводить в отчаяние — грязно, мерзко, возмутительно, нечеловечески...»

Отрезвление было неотвратимо. В феврале 1840 года с пера Белинского срываются покаянные строки: «Что же сказать о моем нелепейшем и натянутом выступлении в разбор брошюры о Бородинской битве?.. Дорого дал бы я, чтобы истребить его. Китаизм хуже прекраснодушия...» Постепенно эти мысли становятся все более ясными, определенными... Натура «неистового Виссариона» брала свое; утопить себя в «китаизме», в обожествлении николаевского деспотизма оказалось выше его сил. После кризиса, ознаменованного «гадкими статьями», медленно, но верно наступало выздоровление.

Прошло еще несколько месяцев мучительных сомнений, и Белинский совершил решительный шаг к своему «освобождению»: он поверг во прах теорию «разумной действительности», возрождая в себе утерянное было ощущение действительности реальной. «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью!..— писал он в письме к Боткину от 4 октября 1840 года.— Да здравствует разум,

да скроется тьма!— как восклицал великий Пушкин. Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и душа века! Боже мой, страшно подумать, что со мною было — горячка или помешательство ума — я словно выздоравливающий».

Подобные взгляды превращали Белинского в соратника Герцена и Грановского. Неудивительно, что в это время высочайшего духовного подъема, вызванного «освобождением», он с благодарностью вспоминал того, кто помог ему порвать путы ложной теории: «...Я, право, так люблю его (Грановского.— *А. Л.*), так часто думаю о нем, особенно в последнее время, когда я в некоторых пунктах наших московских с ним споров так изменился, что при свидании ему нужно будет не подстрекать, а останавливать меня». Пророческие слова!

После прозрения Белинского выяснилось, сколь многим была обязана противоестественная теория «разумной действительности» таланту и темпераменту «неистового Виссариона». «Белинский... опрокинулся со всей язвительностью, со всей неистощимой энергией на свое недавнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное; plus royalistes que leroi *— они с мужеством несчастия старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия. Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского...»

Кружок Станкевича, по сути, распался... Осенью 1840 года уехали за границу Бакунин и Катков. Неверов был отправлен министерством народного просвещения на службу в остзейские провинции и вскоре целиком посвятил себя карьере. Смерть Станкевича, который, и будучи за границей, оставался душой кружка, придала этому процессу распада необходимую законченность. Хотя, как совершенно справедливо писал Герцен, если бы Станкевич не умер, ему все равно пришлось бы заново определить свое место в общественной жизни России. Кружок, возглавляемый им, из-

* Более роялисты, чем сам король (*фр.*).

жил себя безвозвратно. Время отвлеченных умозрений и философских абстракций миновало. Медленно, в жестоких духовных терзаниях, но последовательно и неуклонно друзья Станкевича осознавали, что в их владении оказалась не чудотворная, требующая поклонения икона, а мощное оружие, созданное для борьбы...

В Москве были люди, близкие по духу «выздоровевшим» Белинскому и Боткину, которые в совершенстве владели тем же оружием и с успехом пускали его в ход: это уже хорошо знакомые нам молодые профессора-гегельянцы. В то же время Герцену и Огареву наскучили бесплодные прения со своими оппонентами из «туманно-философского кружка», в которых «почва, оружие, язык, все было розное»,— они, сохранив в полной мере свое неприятие николаевской России и светлые идеалы будущего, с бою взяли «Гегеля и немецкую философию». «Когда мы,— писал Герцен,— довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спору нет».

Члены распавшихся кружков Герцена и Станкевича и молодая профессура Московского университета — вот первоначально основные слагаемые того течения русской мысли, которое впоследствии получило название «западничества». Однако для того, чтобы превратить эти слагаемые в сумму, чтобы сплотить воедино людей, все более сближавшихся в своей духовной эволюции, но с трудом находивших точки соприкосновения в повседневной жизни, нужны были немалые усилия. Необходимо иметь в виду, что кружки 30-х — 40-х годов объединяли людей, духовно близких, но полностью сохранявших свою личную независимость «во всех сферах жизни и духа». Подобному собранию нелегко было угодить; оно требовало от своего лидера исключительных человеческих качеств. Ими в полной степени обладал Грановский — на этом сходились, пожалуй, все без исключения современники, а лучше всех оценил эту сторону личности Грановского Герцен. Он проникновенно писал об «удивительном т а к т е сердца» историка: «У него все было так

далеко от неуверенной в себе раздражительности, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного «все равно». Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех «волосяных», нежных, бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говорится с самыми близкими людьми... В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись».

Воспоминания и переписка современников подтверждают, сколь велика была роль Грановского как «звена соединения». Еще в январе 1840 года он писал Фроловым о наиболее близких ему по духу «профессорском кружке» и «бывшем обществе Станкевича», собиравшемся у Боткина, как о явлениях разного порядка. В феврале он сообщал Станкевичу, что «втянул в наш кружок» Редкина, который намеревался вместе с Грановским, Бакуниным и Боткиным «разработать» логику Гегеля. В том же письме Грановский живописал весьма веселый маскарад в зале Благородного собрания, на котором вместе с Крюковым, Редкиным и Крыловым поднимают бокалы за... основные категории гегелевской философии Боткин и Кетчер — один из самых ярких членов герценовского кружка середины 30-х годов. Сразу же после приезда Грановский завел дружбу и с Огаревым. «Он тихий, скромный, sitlicher человек... Есть интересы...» — писал он Станкевичу в ноябре 1839 года. В то же время имена молодых профессоров Московского университета начинают все чаще мелькать в письмах Боткина и Белинского, Огарева и Герцена...

Через Грановского, «общего друга», своего человека и в салоне Огаревых, и у Боткина на Маросейке, и

уж, конечно, в Московском университете, устанавливались связи и росло взаимопонимание, происходила «сортировка по родству». Именно Грановского увидел Герцен во главе своих «новых друзей», когда в 1842 году окончательно осел в Москве, именно ему он благородно — и не без оснований — отвел в своих воспоминаниях роль духовного лидера западников.

С приездом в Москву Герцена кружок обрел необходимую цельность и завершенность; было создано его основное, прочное, надежное ядро. Через Белинского, с которым постоянно поддерживалась связь, из Москвы тянулась нить в Петербург — к Анненкову, Тургеневу, Панаеву, Некрасову... «Такого круга людей, талантливых, развитых, многосторонних и чистых,— писал Герцен,— я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил, революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое».

* * *

Кружок западников объединил людей очень разных и очень сложных; каждый из них знал себе цену и не склонен был жертвовать своей духовной независимостью во имя внешнего, организационного единства. Ни о каких политических платформах, программах, уставах и т. п. здесь не могло быть и речи — отношения между членами кружка всегда оставались дружескими, и только дружескими. Сила кружка была в его внутренней цельности, в той общности мыслей и чувств, которая в первой половине 1840-х годов крепко связывала всех его членов. Основной же опорой этого духовного единства было решительное неприятие западниками существующего порядка вещей.

Подобный, принципиально новый подход к действительности ясно определен в работах Белинского начала 1840-х годов — после «выздоровления». Как и ранее, критик утверждал: «Действительность — вот лозунг и последнее слово современ-

ного мира! Действительность в фактах и знании, убеждениях чувства, в заключениях ума — во всем и везде действительность есть первое и последнее слово нашего века». Но теперь речь шла уже не о «разумной действительности», безжалостно подминающей под себя личность, а о действительности, оцениваемой этой личностью с позиции разума. «...Теперь разум во всем ищет самого себя и только то признает действительным, в чем находит самого себя. Этим наше время резко отличилось от всех прежних исторических эпох. Разум все покорил себе, над всем воспреобладал; для него уже ничто не есть более само по себе цель, но все должно от него получить утверждение своей самостоятельности и действительности». Итак, не то разумно, что действительно, а лишь то воистину действительно, что разумно; неразумное же обречено на гибель...

Средство же, которым разум поверяет действительность,— одно: «разъединение идеи от формы, разложение элементов, образующих собою данную истину или данное явление... Этот процесс и называется «критикою». А далее Белинский писал: «Критиковать — значит искать и открывать в частном явлении общие законы разума, по которым и через которые оно могло быть и определять степень живого, органического соотношения частного явления с его идеалом». Идеал же действительности для русских гегельянцев начала 1840-х годов хотя и в самых общих чертах, но достаточно ясно был, как мы помним, сформулирован Грановским: «нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное с требованиями такой личности общество».

Естественно, что, оценивая с подобных позиций николаевскую Россию, Грановский, Белинский и их друзья удовлетвориться ею ни в коем случае не могли. «Родная действительность ужасна...» — эта строка из письма Белинского как нельзя лучше определяет позицию кружка в этом вопросе. Источником же всех «ужасов» для его членов был деспотический самодержавный строй.

Об этой стороне их воззрений, которая, естественно, не могла в полной мере проявиться в подцензурной печати и была приглушена в переписке, самое яркое представление дают дневниковые записи Герцена. Многие из них буквально пронизаны тем «страшным сознанием гнусной действительности», которое так ясно и четко выражено в записи от 26 октября 1843 года. Воспроизводя свои впечатления от книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», Герцен писал: «Горько улыбаешься, читая, как на француза действовали беспредельная власть и ничтожность личности перед нею... Он, проезжий, чужой, чуть не умер от удушья — у нас грудь крепче организована. Мы привыкли жить, как поселяне возле огнедышащего кратера».

«Беспредельность власти», «ничтожность личности перед нею»— эти мотивы постоянно звучат в дневнике Герцена, определяя трагическую суть повседневного бытия русского человека. Так, крепостное право, во многом определяющее «родную действительность», представлялось Герцену доведенным до апогея деспотизмом, с одной стороны, и полным отсутствием личных прав — с другой. Крепостной крестьянин, писал он, это «res»*, орудие для обрабатывания полей. Барин не может убить его,— так же, как не мог при Петре в известных местах срубить дуб,— дайте ему права суда, тогда только он будет человеком. Двенадцать миллионов людей hors le loi. Carmen horrendum» **.

При этом для Герцена, Грановского, прочих членов кружка крепостное право было лишь одним из проявлений того беспощадного произвола, который пронизывал в с ю русскую жизнь. Ведь крепостной гнет довлел не только над русскими крестьянами; он подмял под себя всю Россию; он во многом определял и всю жизнь «образованного меньшинства», которое тоже, на свой лад, страдало от беспредельного деспо-

* Вещь (*лат.*).

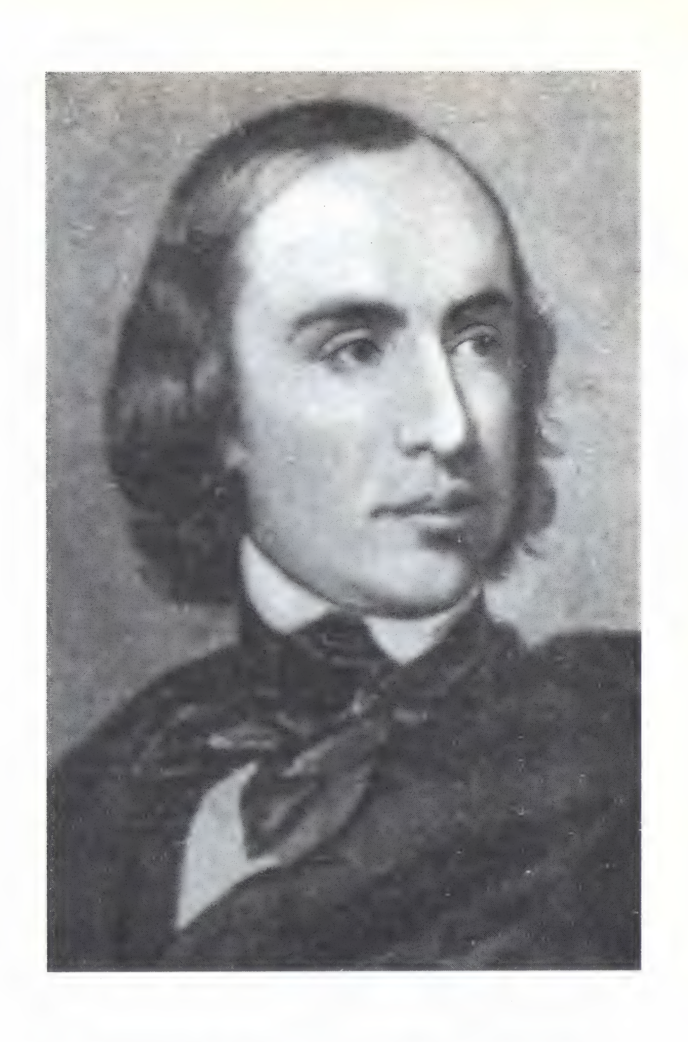
** Вне закона (*фр.*); странный закон (*лат.*).

тизма, которое тоже было «в крепости»— у власти, у самодержавно-бюрократического строя. Именно это обостренное ощущение страшной и унизительной зависимости и заставляло молодую русскую интеллигенцию воспринимать русскую действительность как «гнусную», «ужасную».

В дневник Герцена занесено множество эпизодов этой действительности, которые, несомненно, горячо обсуждались в кружке. Вот «анекдот» о попытке пастора Зедергольма прочесть своим знакомым несколько частных лекций по философии. Злая шутка одного из слушателей, передавшего пастору совет некоего вымышленного высокопоставленного лица прекратить эти чтения «под опасением великих неприятностей», приводит к своего рода драме: «Ужас овладевает гостями и пастором. Жена его в отчаянии, гости бегут в смятении, и пастор... доселе не может прийти в себя. Шутка была глупа, негуманна,—резюмирует Герцен.—А положение, в котором такая шутка может так удаться, еще в тысячу раз глупее и негуманнее».

А вот настоящая драма: «Недавно секли инженерных юнкеров и потом — на 6 лет в солдаты за какую-то детскую шалость. Боже мой!»

«В Петербурге,— записывает Герцен в январе 1843 года,— Клейнмихель, министр инженерный, велел посадить двух цензоров на гауптвахту, и они были посажены, а потом кто-то велел их выпустить, и их выпустили. После этого по улицам ходить опасно, первый генерал вздумает посадить, велит дать 50 палок, потом извинится!» В этой истории негодование Герцена вызывает не столько сам факт наказания, сколько не знающее предела беззаконие действий представителя власти и столь же полная беззащитность личности от подобного произвола. «Вряд поймут ли, сообразят ли европейцы этот случай,— пишет он чуть позже.— Министр инженерный, который только начальник публичных работ, военный, приказал арестовать чиновников по иному ведомству и для которых, как для всех, есть же законный суд, вследствие которого можно наказать. Вроде осадного положения. Мы все глубже и



Т. Н. Грановский. Конец 1830-х — начало 1840-х годов.



Император Николай I со свитой.

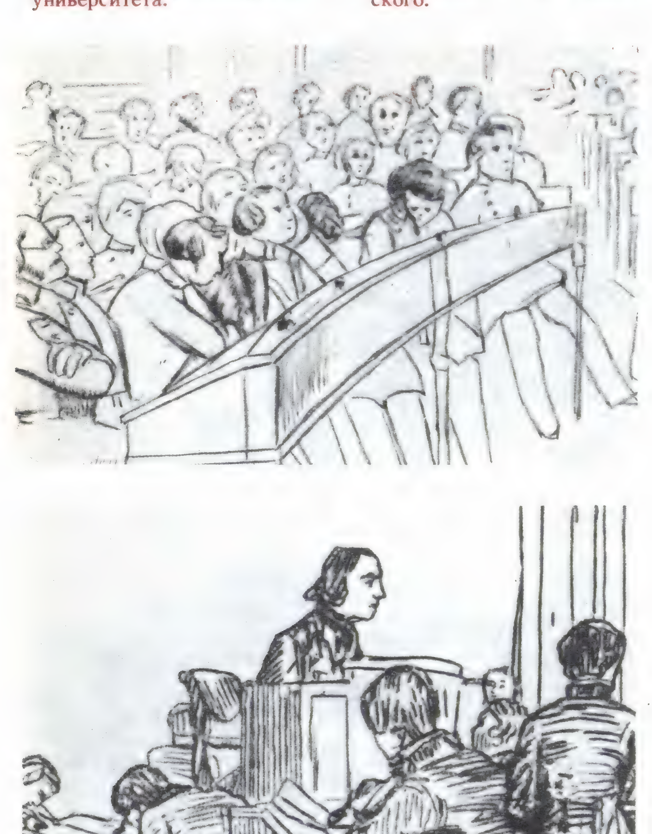
Н. В. Станкевич.



Московский университет. 1840-е годы.

В аудитории Московского университета.

На лекции Т. Н. Грановского.





Г. В. Ф. Гегель.

М. Г. Павлов.

Н. И. Надеждин.





С. П. Шевырев.



М. П. Погодин.



В. Г. Белинский.

В. П. Боткин





И. В. Киреевский.

А. С. Хомяков.





А. И. Герцен.

Салон Елагиной.





К. С. Аксаков.



Т. Н. Грановский. Скульптурный портрет Э. Ритчела, 1860 год. Мрамор.



глубже погрязаем в какое-то дикое состояние военного положения и бесправия».

О том же и запись, посвященная «указу о путешествиях 1844 года», донельзя затруднявшему выезд из России: «...В нем есть какое-то величие безобразия и цинизма, это язык плантатора с неграми; тени уважения к подлым рабам, которым написан фирман, нет; власть не унизилась, чтобы сыскать какой-нибудь резон, хотя ложный, но благовидный, она попирает святейшие права, потому что презирает; она сильна нашей низостью».

«Родная действительность ужасна...» Однако то, что николаевская Россия неизмеримо далека от идеала, осознать было нетрудно. Труднее было отыскать в ней пути, ведущие к идеалу. Для поколения же, которое в своем духовном развитии прошло через немецкую идеалистическую философию, естественно было в этих поисках не ограничиваться настоящим, а обратиться к прошлому.

* * *

«Век наш — по преимуществу исторический век,— писал Белинский,— историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло собою все сферы современного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания». Подобная точка зрения основывалась на ясном понимании того, «что современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития и что от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему...»— таким образом, именно прошлое поясняет настоящее и позволяет заглянуть в будущее.

Напомним, что с точки зрения последовательного гегельянца, настоящая история для любого народа начинается лишь тогда, когда он «приобщается к абсолюту», когда мировая идея проникает в его жизнь

и начинает изменять ее в соответствии со своими предначертаниями. Поэтому, с точки зрения западников, Россия долгое время пребывала вне истории, так же, как и большинство других славянских народов. Эстафету исторического развития древний мир передал германцам. «Славяне,— по словам Грановского,— пришли позже и не нашли на почве, занятой ими, тех поучительных развалин, которые достались германским племенам. Что же досталось в удел им? Цивилизацию свою они должны были выждать и выстрадать...»

Герцен в своем дневнике рисовал четкую схему этой «внеисторической» жизни России: «Славянский мир, которого мощный и полнейший представитель Русь, из чисто непосредственной жизни в Киевский период переходит в сознательно государственный период с перенесением столицы в Москву; но сил его хватило только на рост; выросши, Русь начинает впадать, несмотря на юность, в маразм, и ее ждало или разложение, или искупление извне. Это искупление принес с собою с Запада Петр I и сунул его жестокой рукой бунтовщика, который был вместе с тем и царем».

Петр, в представлении членов кружка, был ярчайшим представителем тех, по определению Гегеля, «великих людей в истории, личные частные цели которых содержат в себе тот субстанциальный элемент, который составляет волю мирового духа». Петр «вдунул живую душу» в колоссальное, но «поверженное в смертельную дремоту тело России». Его деяния положили начало русской истории.

Нельзя сказать, что друзья преклонялись перед Петром, безоговорочно восторгаясь всеми его деяниями: кровавые издержки эпохи преобразований были очевидны для многих западников. Ощущение трагической двойственности, которую нес в себе образ великого царя, с большой художественной силой выразил Грановский в одном из своих писем: «...Я был у Погодина и съездил недаром. Я видел у него недавно купленный портрет Петра Великого... Я не знаток и да-

же не любитель живописи: но мне кажется, что я был бы в состоянии стоять по целым часам перед этой картиной. Я охотно отдал бы за нее любимые книги, часть моей библиотеки. Представь себе голову покойника на красной, усиливающей бледность лица подушке. Верхняя часть божественного прекрасного лица носит печать величавого спокойствия — такого спокойствия, которое может быть результатом святой, чистой, бесконечно благородной мысли. Мысли нет более, но выражение ее осталось. Такой красоты я не видел никогда. Но жизнь еще как будто не застыла в нижней части лица. Уста сжаты гневом и скорбью. Они как будто дрожат. Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю...»

Мучительными размышлениями о делах Петра насыщены и многие страницы герценовского дневника. Истоки большинства самых отвратительных черт современного ему деспотизма Герцен видел именно в том кровавом насилии, которым сопровождались Петровские реформы. И все же он писал о Петре: «...Лицо его велико, и мысль велика, она еще не совсем исполнилась, но, вероятно, будет и ей исполнение». В конечном итоге деспотизм, «материальный гнет», доставшийся России в наследство от Петра, воспринимался Герценом и его друзьями как печальный, но все же побочный результат претворения в жизнь главной мысли Петра, «двинувшего нас во всемирную историю». Его реформы для западников — лишь начало исторического развития России; николаевское правление — досадная, временная задержка на этом пути, а отнюдь не конец его. Петр дал России первотолчок, сохранивший свою силу и в XIX веке; от него идут «те начатки движения, которые мы видим собственными глазами».

Цель этого движения ясна: в России так же, как и во всей Европе, предстоит освобождение личности «от роковых определений истории» и создание государства и общества, обеспечивающих эту свободу. Цель ясна, но каковы движущие силы? Ведь самодер-

жавие, в лице Петра двинувшее Россию на западный — или «всемирно-исторический», что одно и то же,— путь развития, превратилось в XIX веке в тот страшный «неподвижный деспотизм», который оказался главным препятствием на этом пути. Его прямой наследник был для западников воплощением застоя...

Члены кружка не возлагали надежд и на народные массы. С их точки зрения, в основе Петровских реформ лежало «открытое расторжение народа на две части»: «высшее сословие», которое правительство пыталось приобщить к европейским формам бытия, и народ, на который оно «смотрело как на стадо». В результате народ остался «вне абсолюта»... Он и в XIX веке продолжал существовать в косной своей «непосредственности» и потому не способен был принять активного, осознанного участия в историческом процессе.

Пассивным бездействием российского крестьянства, его «растительной жизнью» вызван скорбно-негодующий тон многих записей в дневнике Герцена: «Чего недостает ему, чтоб выйти из жестокой апатии? Ум блестит в глазах, вообще на десять мужиков, наверное, восемь неглупы и пять положительно умны, сметливы и знающие люди... Они не трусы — каждый пойдет на волка, готов на драке положить жизнь, согласен на всякую ненужную удаль...» И в то же время «эта община, понимающая всю беззаконность нелепого преобразования, не признающая в душе неограниченной власти помещика, трепещет и валяется в ногах его при первом слове». Немало горьких слов сказано здесь об отсутствии у крестьян «всякого уважения к себе», об их «глупой выносливости» и не менее глупой «бессознательной вере».

Весьма характерна запись Герцена, сделанная в в июле 1844 года, в которой он воспроизводит свои впечатления от молебна против засухи, который служили для крестьян подмосковного села Соколово: «Печально и с какой-то торжественностью шли они (крестьяне.— *А. Л.*) в церковь. Мне стало их вдвое жаль... Дети, они верят, что сила молитвы, сила воли и

доверие на помощь божию поправят погубленное свирепой случайностью,— и обманутся!»

«Бедный, бедный мужик...»— этот скорбный возглас, в котором искреннее сочувствие к народу сливалось с неверием в его созидательные силы, мог стать девизом всего кружка. Подобное отношение к народу было в первой половине 1840-х годов характерно, пожалуй, для всех духовных руководителей нового течения общественной мысли.

Анненков в «Замечательном десятилетии» описывал любопытный в этом отношении спор между членами кружка: кто-то из них презрительно отозвался о крестьянских женщинах и тут же получил самый резкий отпор со стороны Грановского: «Мы должны вести себя прилично по отношению к низшим сословиям. Всякая выходка против них, вольная и невольная, похожа на оскорбление ребенка». «Народ — дитя,— писал Белинский в 1846 году,— но это дитя растет и обещается сделаться мужем, полным силы и разума»,— сказано весьма оптимистично, но... эти слова относятся к французскому народу, к народу, совершившему великую конца XVIII века и «малую» 1830 года революции... Да и возмужание этого народа Белинский ставит в прямую зависимость от образования и деятельности его «истинных друзей», связавших с его судьбою «свои обеты и надежды».

Общее для западников отношение к народу ярко сформулировал в одной из своих статей Грановский: «Массы, как природа или как скандинавский бог Тор, бессмысленно жестоки и бессмысленно равнодушны. Они коснеют под тяжестию исторических и непосредственных определений, от которых освобождается мыслию отдельная личность. В этом разложении масс мыслию заключается процесс истории».

Итак, народ — это «дитя», которое нуждается в опеке и, самое главное, в развитии. Речь шла о том, чтобы «втянуть» этот народ во всемирно-исторический процесс, освободить его из-под власти «исторических и естественных определений» и, в конечном итоге, «разложить его мыслию» на отдельные личности.

Все это должно было стать делом отдаленного будущего. Николаевский режим выдвигал на пути его осуществления слишком много препятствий, главным из которых было крепостное право. Западники внимательно следили за политикой правительства в крестьянском вопросе, несколько оживившейся в начале 1840-х годов, но энтузиазма у них она не вызывала. Вот любопытный эпизод из воспоминаний В. Н. Житовой, воспитанницы Варвары Петровны Тургеневой, матери писателя. В начале 1840-х годов Иван Сергеевич зимой обычно жил в Москве на Остоженке, и Грановский бывал его частым гостем и собеседником. Житова повествует об одной из таких бесед, поразившей ее детское воображение: «Прибежала я раз наверх; оба, хозяин и гость, что-то очень громко говорили. Иван Сергеевич быстро ходил по комнате и, по-видимому, очень горячился. Я остановилась в дверях. Грановский знаком подозвал меня и посадил к себе на колени. Долго сидела я, почти притаив дыхание, и сначала ничего не понимала. Но потом слова: крепостные, вольные, поселение, несчастные, когда конец? и пр., слова, столь мне знакомые и так часто слышанные, сделали их разговор мне почти понятным... В разговоре их так сильно высказывались надежды на что-то лучшее, что и я будто чему-то обрадовалась.

Вдруг Иван Сергеевич точно опомнился и обратился ко мне: ты задремала? ступай вниз, ты ведь тут ничего не понимаешь, тебе спать пора.

— Нет, поняла,— обиделась я,— моя Агашенька будет скоро вольной, да?

— Да, когда-нибудь,— задумчиво произнес Иван Сергеевич и при этом поцеловал меня так, будто за что-то хвалил».

Сколь бы «сильно» ни высказывали собеседники свои надежды на уничтожение ненавистного крепостного права, осуществление их ожидалось лишь «когда-нибудь»... И, конечно же, не николаевскому деспотизму суждено было осуществить вожделенную реформу.

Итак, народные массы, косные, невежественные,

оставались вне сферы движения, прогресса, исторического развития. Самодержавие же, бывшее некогда воплощением этого движения, стало самой страшной преградой на его пути. Каким же образом могло осуществиться оно в России? Кто должен был взять на себя миссию «сознательной силы», действующей во имя будущего, способной продолжить дело, начатое Петром? Ответ на все эти вопросы для членов кружка был совершенно ясен: в России XIX века такой силой должно стать «образованное меньшинство».

Родословную «образованного меньшинства» западники вели все от тех же Петровских реформ. Они ни в коем случае не смешивали его с «европеизированным» дворянством, явившимся непосредственным результатом преобразований. Герцен, несомненно, выражал общее мнение, когда писал о «реформированной толпе», которую «обрили, дали право не быть сеченой» и этим, по сути, ограничили ее «просвещение». Но все же преобразования Петра в этой области создали «форму», способную к восприятию — пусть медленному — истинного просвещения. «При развитии России,— отмечал Белинский,— совершенно противоположном европейскому, т. е. при развитии сверху вниз, а не снизу вверх, в н е ш н о с т ь имеет гораздо высшее значение, большую важность, нежели, как думают». Дело Петра, писал он, было «совершенно безусловным принятием форм и слов: форма не всегда идея, но часто ведет за собою и идею; слово не всегда дело, но часто ведет за собою дело...». Белинский был твердо уверен: в России слово Петра повело за собой дело,—«вопрос не в том, что Петр сделал нас полуевропейцами, а следовательно, и не европейцами и не русскими: вопрос в том, навсегда ли должны мы остаться в этом бесхарактерном состоянии?.. Вопрос заключается в слове «будем ли»— и мы смело и свободно можем отвечать на него не только б у д е м, но уже и становимся европейскими русскими и русскими европейцами и становимся со времен царствования Екатерины II и со дня на день преуспеваем в этом в настоящее время».

Итак, если государство в лице Николая I изменяет делу Петра, то русское общество продолжает его. «Формальное» приобщение России к Западу получает в XIX веке глубокий внутренний смысл, становится истинным — западное просвещение, западная культура распространяются в русском обществе, «просветляют» его, заражают стремлением к «всемирно-историческим идеалам». В нем проявляет себя абсолют, в нем залог лучшего будущего России.

Естественно, что становление «образованного меньшинства», превращение его в серьезную силу — процесс сложный, связанный с преодолением массы препятствий и вовне и, главное, внутри самого русского общества. Недаром в письмах и дневниках членов кружка так много сетований на «нашу низость», ту самую низость, которая дает силу «бездушному деспотизму»; угодничество, низкопоклонство перед власть имущими, полное отсутствие чувства личного достоинства, страсть к доносам — со всем этим им приходилось сталкиваться ничуть не реже, чем с проявлениями административного произвола.

В одном из своих писем Грановский сетовал: «Окружающее меня здесь нерадостно. В университете у нас есть движение вперед, но в этой жизни есть что-то искусственное. Студенты занимаются хорошо, пока не кончили курс; по выходе из университета лучшие из них, те, которые подавали наиболее надежд, пошлеют и теряют участие к науке и ко всему, что выходит из круга так называемых положительных интересов. Их губит материализм и безнравственное равнодушие нашего общества».

Атмосфера равнодушия, «моральной низости», царившая в русском обществе, заставляла честных, думающих людей искать друг друга, сплачиваться воедино в поисках взаимной опоры и сочувствия, забывая на время о весьма серьезных идейных разногласиях. Начинать преобразование России надо было с самих себя, с узкого круга друзей. В одном из писем Огарев вспоминал, через какие надежды и разочарова-

ния прошли они с Герценом, прежде чем сблизиться с Грановским, Боткиным, молодыми профессорами: «Социальный интерес — вот была наша точка отправления; мы увидели, что он существует для немногих, что толпа неподвижна и нам приходится в унынии скрестить руки на груди и повесить голову, ничего не делая». Однако это горькое разочарование было преодолено, и сейчас «задача жизни, кажется, разрешается так: отказаться от всякого огромного социального интереса и удовлетвориться в маленьком круге действия; не сердиться на апатию и низость, окружающую нас, и примириться в том, чтоб, оттолкнув всякого антипатичного человека, заключиться в маленький круг близких людей; отказаться от всякого притязания на личное блаженство и удовлетвориться равнодушной независимостью».

Равнодушие против равнодушия — позиция, которая обрекает на бездействие, и Огарев отлично сознает это: «Горькое чувство, которое этот результат оставляет в душе, долго не изгладится...» Однако он тут же, в следующих строках выражал твердое убеждение, что выход будет найден: «Но это все пройдет descrescendo* и замолкнет, чтоб дать место новому аккорду, громкому и мощному».

Этим «новым аккордом» стала борьба за русское общество, за преодоление его апатии, за его «просветление». Сплотившись вместе, осознав свои идеалы, «новые друзья» неизбежно должны были перейти к действию; в условиях же господства самодержавного строя оно приняло характер все той же «тихой работы», которую с таким успехом вели среди студенческой молодежи профессора-гегельянцы; только теперь эта работа выходила за стены университета в московские и петербургские салоны, на страницы газет и журналов. Полем деятельности кружка становилось все русское общество.

---

* Ослабевая (*итал.*).

ГЛАВА V. ДВУЛИКИЙ ЯНУС (продолжение)

В своей борьбе за «просветление» русского общества западники были не одиноки. «Рядом с нашим кругом,— писал Герцен,— были наши противники, nos amis le ennemis; или вернее, nos ennemis le amis *— московские славянофилы». Одна черта роднила этих странных соратников: и те и другие, твердо веря в великое будущее своей Родины, воспринимали николаевскую Россию как нечто уродливое и противоестественное. Однако славянофилы склонны были искать спасение от «ужасов русской действительности» совсем на иных путях, нежели их друзья-враги. Отвергая современную им Россию, они с еще большим отвращением смотрели на современную Европу: тезис «официальной народности» о «гниении Запада» был им весьма близок; во всяком случае, западный мир, по их мнению, изжил себя и будущего не имеет.

О грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес...

Искать спасения у этой погруженной во мрак Европы было, с точки зрения славянофилов, и бессмысленно, и опасно. В своих надеждах на лучшее будущее России они рассчитывали исключительно на духовные силы народа, не затронутого губительным западным влиянием; и к русскому обществу они обращались с призывом «припасть к этому животворному источнику».

В то же время, призывая отречься от Европы, сами славянофилы, как и все образованные люди того времени, никоим образом не могли избежать влияния западной науки. Ядро основателей этого учения состояло из людей, прошедших через увлечение немецкой идеалистической философией. Это в равной степени относилось как к славянофилам старшего поколения —А. С. Хомякову, братьям И. В. и П. В. Ки-

* Наши друзья-враги; ...наши враги-друзья (*фр.*).

реевским, так и к младшим, среди которых особо выделялись К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин.

Не миновали славянофилы и Гегеля, хотя его система взглядов во многом противоречила их национально-православным устремлениям. Это бросалось в глаза, и недаром Герцен с такой иронией писал в дневнике: «Я говорил с Аксаковым, желая посмотреть, как он примиряет свое православие с своим гегельянизмом, но он и не примиряет, он признает религию и философию разными областями и позволяет им жить как-то вместе...»

Впрочем, К. С. Аксаков прошел философскую выучку в кружке Станкевича и, следовательно, принял присягу на верность Гегелю, изменить которой было не так-то просто. Славянофилы же старшего поколения относились к философской системе Гегеля более чем скептически. Однако этим людям, щедро наделенным и умом, и талантом, и знаниями, было ясно, какой мощью обладает это учение, позволяющее в полной мере овладеть процессом развития мысли, вооружающее исключительной способностью убеждать, доказывать. Этой стороной гегельянства, его диалектикой славянофилы овладели и использовали ее максимально — естественно, в своих интересах.

Так, историко-философские работы И. В. Киреевского — главное, пожалуй, «исповедание веры» славянофильства — отличались удивительной стройностью формально-логических построений при почти полном отсутствии фактического материала. Каждая из них могла служить иллюстрацией «саморазвития мысли», пропущенной через категории гегелевской диалектики. Другого лидера славянофилов — А. С. Хомякова — Герцен с полным основанием называл «бретером диалектики»: «Он мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, как казалось, от души». Современники хорошо знали это умение Хомякова, уцепившись за кончик мысли, распутать целый клубок доказательств и силлогизмов, довести любое положение до логического конца, что нередко означало: до абсурда...

Поскольку же гегелевский метод практически автономен, славянофилы с успехом использовали его в борьбе с вооружившим их гегельянством, ибо учение немецкого мыслителя, в глазах этих защитников самобытности, было апогеем западного просвещения и вместе с тем ярчайшим проявлением его кризиса.

Хомяков очень последовательно проводил эту мысль в своих бесчисленных спорах с Герценом. Подвергая гегельянство безжалостному испытанию его собственным методом, он доказывал, что это учение, в котором система логических построений доведена до совершенства, начисто оторвано от реальной, живой жизни, что, следовательно, западная наука «в последнем результате своем уничтожает себя и доказывает, что живой факт может только в абстракции быть знаем мыслию, построяем ею, но как конкрет он выпадает из нее». Хомякову вторил И. В. Киреевский, утверждавший, что вообще современная наука суть «чистый формализм, самое мышление — способность формальная, оттого огромная сторона истины является в науке только формально и, следовательно, абстрактно, не истинно или бедно истинно». Вывод же из всех этих рассуждений был один: на пути формально-логических построений, по которому пошел в своих научных изысканиях Запад, найти истину вообще невозможно. Истина «воплощается в самой жизни — отсюда религиозный путь».

Таким образом, с точки зрения славянофилов, разум, определявший все развитие западного просвещения, полностью дискредитировал себя в своем конечном результате — гегельянстве. И, следовательно, разум должен капитулировать перед верой, а формальная западная наука — уступить место «истинному религиозному познанию». За плечами яростно опровергавших Гегеля славянофилов стояли тени отцов православной церкви.

Парадокс заключался в том, что славянофилам, европейцам до мозга костей как по образу жизни, так и по образу мышления, для того чтобы твердой ногой ступить на этот рискованный путь «познания

через веру», недостаточно было просто отречься от западного просвещения и обратиться к православной патристике. Под свой отказ от философии они стремились подвести философское обоснование. Порывая с европейской традицией, славянофилы обращались к «философии откровения» Шеллинга.

Фридрих Шеллинг уже с 1820-х годов был весьма популярен в России. Именно шеллингианство открыло путь к тайнам «немецкой премудрости» Павлову, Надеждину, многим их современникам. Философия Шеллинга тех лет, отличаясь весьма существенными чертами от гегельянства, в то же время во многом с ним совпадала. Сходясь в своем стремлении познать окружающий мир посредством разума, оба философа долгое время шли рука об руку. Однако система взглядов позднего Шеллинга, его «философия откровения», была результатом серьезной переоценки ценностей. Ее пафос во многом определялся резкой критикой самих основ учения Гегеля. Шеллинг критиковал гегельянство прежде всего за рационализм, за абсолютизацию логических законов; он утверждал, что его коллега принес «божественное откровение» в жертву разуму. Истинная же философия, по мнению Шеллинга, должна быть религиозна — и по форме своей, и по существу.

Шеллингу представлялось, что гегельянство односторонне в своем рациональном подходе к миру, и, восстанавливая религиозные основы философии, он возвещал о стремлении «к знанию цельному, всеобъемлющему и совершенному». При этом Шеллинг совершенно определенно указывал путь, по которому должны следовать все жаждавшие подобного знания. «Наше время,— утверждал он,— страдает от многих бед, но спасение не в абстракциях, противоречащих всему конкретному, а в оживлении традиции (выделено мною.— *А. Л.*), которая только потому и стала тормозом, что ее никто не понимает». Чрезвычайно характерно определялась Шеллингом и конечная цель «истинного познания». «Идея непрекращающегося прогрессса есть идея бесцельного прогрес-

са, а то, что не имеет цели, не имеет смысла, следовательно, бесконечный прогресс — это самая мрачная и пустая мысль. Последняя цель познания — достичь состояния покоя».

Формы, средства, цели — все это противостояло в «философии откровения» учению Гегеля. Более того, отвергая гегельянство, Шеллинг ставил под сомнение и весь тот путь, по которому шла западная наука. Во всяком случае, именно так была воспринята его философия в России.

В лагере западников «философию откровения» расценили как вызов современности и здравому смыслу. Герцен в «Письмах об изучении природы» писал, что Шеллинг «сделал опыт от глубокого наукообразного воззрения спуститься к мистическому сомнамбулизму». В дневнике же он отзывался о новом учении куда более резко: «мистическое дурачество», «схоластика и вместе с тем ложь». Не щадил «жалкого, заживо умершего романтика Шеллинга» и Белинский. В письмах Каткову, вернувшемуся из Берлина завзятым шеллингианцем,— одно из немногих исключений в западническом лагере, в котором, впрочем, Катков всегда стоял особняком,— Белинский с иронией писал: «И мы все умрем, но в утешение положим с собою лекции Шеллинга об откровении, глубже которых ты ничего не знаешь, хотя знаешь Гегеля...»

Дилемма Гегель—Шеллинг решалась западниками просто и однозначно: первый являлся в их глазах символом истины и прогресса, второй — заблуждения и реакции. О борьбе между ними не было и речи: какой смысл бороться с мертворожденной системой? В 1843 году Боткин в своей статье «Германская литература» красочно излагал это общее для западников убеждение: «Уже в продолжение десяти лет носилась по горам Южной Германии туча, которая все грознее и гуще скоплялась противу северной горы философии... Туча шла, шла и наконец разразилась громом и молнией на кафедре в Берлине. Теперь этот гром умолк, молния не сверкает более. Но попал ли он в цель, разрушается ли здание геге-

левской системы — этот гордый чертог мысли? Спешат ли гегелисты спасать, что спасти еще возможно? Ничего не бывало. Дело, напротив, приняло неожиданный оборот. Гегелева философия продолжает жить себе по-прежнему и на кафедре, и в литературе, и в юношестве, спокойно продолжает свое внутреннее развитие, зная, что все эти угрозы, эти мнимые разрушения нисколько не коснулись ее. Шеллинг не оправдал надежд своих последователей». Единственной положительной стороной «философии откровения» была, по мнению западников, ее откровенная несуразность. Герцен писал, что Шеллинг нанес «удар страшный христианству, его философия обличила, наконец, всю нелепость христианской философии, он своим именем, своей ссорой с Гегелем заставил обернуться на себя всю ученую Германию и подумать о своем бреде».

Отношение славянофилов к шеллингианству было диаметрально противоположным: в нем находили они оправдание своему идейному разрыву с Европой. Увлечение братьев Киреевских новорожденной «философией откровения» в начале 1830-х годов было одним из первых шагов, приведших их к славянофильству. Иван Киреевский уже в 1832 году в своей знаменитой статье «Девятнадцатый век» писал о том, что Шеллинг, противопоставляя «положительное, живое познание» формально-логическому, «прокладывает новую дорогу для философии». Впоследствии, в своих работах, написанных уже с сугубо славянофильских позиций, Киреевский развил эту мысль до логического конца.

По его мнению, в борьбе позднего шеллингианства и «гегелизма» последнее слово должно остаться за «философией откровения». Хотя последователи Гегеля «еще остались и останутся надолго, ибо весь характер современной образованности сочувствует их направлению», сам факт обращения современного ведущего немецкого мыслителя к религии свидетельствует о полной несостоятельности всей этой образованности и о необходимости поисков новых путей. Правда, по

твердому убеждению Киреевского, самому Шеллингу не дано отыскать этот путь: искренне томясь «жаждою божественной истины», философ не мог найти достаточно чистого источника, способного утолить жажду,— ложные западные религии удовлетворить его никоим образом не могли, самому же «сочинить себе веру» невозможно.

Так же, как и Герцен, Киреевский считал, что «положительная философия» имеет чисто отрицательное значение. Однако, если первый видел его в том, что Шеллинг своими «откровениями» окончательно похоронил всякие надежды «сочетать веру с разумом, религию с наукой», то Киреевский, напротив, утверждал: при всей своей внутренней немощи учение Шеллинга помогает скинуть путы чужих «учений» и возвратиться к «существенной разумности»,— то есть к религиозному восприятию мира на православный лад. «...Философия немецкая, в совокупности с тем развитием, которое она получила в последней системе Шеллинга, может служить у нас самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоятельному, соответствующему основным началам древнерусской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разума».

Это замечание, несомненно, носило автобиографический характер: именно Шеллинг проложил славянофилам путь от немецкой философии к русской православной патристике. Но заслуга создателя «философии откровения» перед славянофильским учением не только в этом: Киреевский был несправедлив, когда с высот «самостоятельного любомудрия» отказывал шеллингианству в каком бы то ни было положительном значении. Анализ славянофильской доктрины убеждает в том, что ее создатели использовали «философию откровения» отнюдь не только как точку опоры для прыжка «к началам древнерусской образованности». Шеллингианство дало им значительно больше, послужив основой всего их, оригинального в целом, мировоззрения; во всяком случае, у Герцена

были основания писать о славянофилах, что «они западной наукой дошли до своих национальных теорий».

Именно к Шеллингу восходит основополагающая для этого учения мысль о мире как о цельном художественном творении «высшей идеи», которая каждому народу отвела в этом мире особое место, возложив на него особую миссию, оправдывающую его историческое существование. Причем миссия эта обуславливалась и обеспечивалась особыми качествами, лишь этому народу присущими. «Поняли ли мы, или хоть догадались,— писал Хомяков, обращаясь с упреком к «образованному меньшинству»,— что такое народ — единственный и постоянный деятель истории? Догадались ли мы, что каждый народ представляет такое же живое лицо, как и каждый человек, и что внутренняя жизнь его есть не что иное, как развитие какого-нибудь нравственного или умственного начала, которое определяет судьбу государств, возвышая и укрепляя их присущей в ней истиною или убивая присущей в ней ложью».

С первых шагов своих, с исходной точки своих рассуждений славянофилы-шеллингианцы расходились со своими оппонентами, последователями Гегеля. История, в их представлении, теряла внутреннее единство, распадаясь на целый ряд параллельных процессов. Отсюда и совершенно различные теоретические задачи, которые ставили перед собой западники и славянофилы: если для первых необходимо было, осознав весь ход всемирно-исторического процесса, отыскать в нем место России и всеми силами содействовать тому, чтобы она как можно скорее заняла это место, то вторые, исходя из особых черт «народного духа», стремились определить единственный и неповторимый путь развития своей страны.

Естественно, что столь различные задачи заставляли «друзей-врагов», объединенных общей ненавистью к деспотизму, смотреть в разные стороны. Западники в поисках спасения от «ужасной действительности» обратились к всемирной истории и к со-

временной Европе. Славянофилы, отвращая свой лик от николаевской России, бросились к «России истинной», живущей в соответствии со своими исконными началами,— другими словами, к тем самым допетровским временам, которые западники считали не более чем «предисловием» к настоящей русской истории.

* * *

Основные положения славянофильства были достаточно ясно высказаны его создателями уже в 1839 году, когда Хомяков прочел в дружеском кругу — значительно более узком и цельном, чем западнический,— свою рукопись «О старом и новом», в которой были изложены взгляды, весьма далекие от славянофильства. Впоследствии И. С. Аксаков, редактировавший Собрание сочинений Хомякова, объяснял это тем, что последний стремился вызвать таким образом дискуссию среди своих потенциальных единомышленников и заставить их со всей определенностью высказать свои заветные взгляды (подобные приемы были как раз в духе этого неутомимого спорщика).

Как бы то ни было, дискуссия действительно состоялась: в своей ответной статье И. В. Киреевский изложил те мысли, которые, очевидно, носились в воздухе вокруг людей, положивших начало славянофильству. Соображения Киреевского впоследствии уточнялись и развивались им самим, а также Хомяковым, К. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным и другими, но главное было сказано именно здесь и сказано достаточно ясно.

Теоретические построения славянофильства определялись прежде всего антитезой Россия — Запад. В основе ее лежали «начала», диаметрально противоположные: истинное —«живая вера», воспринятая Русью от Византии; и ложное —«рационализм», «чистый голый разум, на самом себе основанный и вне себя ничего не признающий», унаследованный Западом от «классического мира язычества».

На Западе под мощное воздействие «языческого рационализма» попала римская церковь — созидательница всей духовной жизни западного человека. Через церковь формальный разум, рационализм глубоко въелся в ум и душу европейца, определяя собой все его мысли, стремления, чувства, поступки. В результате сложился особый тип человека, который рассудочно «раздробляет свою жизнь на отдельные стремления», в одном «углу сердца которого живет чувство религии, в другом, отдельно,— силы разума и усилия житейских занятий, в третьем — стремление к чувственным утехам».

Подобная «рассудочность», порождавшая крайний эгоизм в поступках, привела в конце концов к тому, что «весь частный и общественный быт Запада основан на понятии об индивидуальной отдельной независимости, предполагающей индивидуальную изолированность». Голый расчет, стремление поудобнее, «порациональнее» устроиться лежит в основе и всей общественной жизни «западного» человека. В результате на Западе, по мнению Киреевского, развивалась «не внутренняя жизнь, а внешняя, формальная». Он был твердо убежден, что при таком устройстве общества в нем неизбежно угнетение одного лица другим, торжество сильного над слабым. А где тиранство и притеснения, там неизбежна и их оборотная сторона — бунт и анархия. Обществу, построенному на подобной основе, предопределен тот произвол, «который в правительственном классе называют самовластием, а в управляемом — свободой».

Разделавшись с «Западом», Киреевский обращался к его антиподу: к допетровской Руси. Здесь все было самобытно и по существу своему прямо противоположно западным «устоям». Если на Западе рациональная католическая церковь порождала человека «рассудочного и раздвоенного», то на Руси под воздействием «учения святых отцов православной церкви» формировался совершенно иной тип личности. В русском человеке жило «постоянное стремление к совокупности всех нравственных сил», к «внутренней

цельности самосознания», он «каждое важное и неважное дело свое всегда связывал с высшим понятием ума и с глубочайшим средоточием сердца». Подобные качества ума и сердца оберегали личность от подчинения эгоистическим стремлениям, определяли ее взаимоотношения с обществом по «закону постоянного самоотвержения», который был на Руси «не геройским исключением, но делом общей и обыкновенной обязанности». «Резкая особенность русского характера,— писал Киреевский,— заключалась в том, что никакая личность в общежительных отношениях своих никогда не искала выставить свою самородность, как какое-то достоинство, но все самолюбие частных лиц ограничивалось стремлением быть правильным выражением общества».

Итак, если в основе характера «западной личности» лежал эгоизм, то духовная сущность русского человека определялась стремлением к общему благу. Прямым же следствием этого было отсутствие на Руси «западной индивидуальной независимости», обрекавшей общество на вечный раздор из-за личных выгод, прав, привилегий... В основании древнерусского общества Киреевский видел не личность, а «мир или согласие», суть устройства которого он определял одной краткой формулой: «Человек принадлежит миру, мир — ему».

При регулировании взаимоотношений между членами мира не могло быть и речи о «формальном праве», «законе» и других порождениях «голого разума». «Самое слово «право»,— писал Киреевский,— было у нас неизвестно в западном смысле, но означало только справедливость, правду». И здесь рационализму противостояла вера. Единая для всех, она порождала «единство убеждений», вырабатывала «одинаковые понятия об отношениях общеизвестных и частных. Понятия эти переходили в общие убеждения, убеждения в обычай, который заменял закон, устраивая по всему пространству земель, подвластных русской церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни». А в результате «семейные

отношения каждого были определены прежде его появления; в таком же порядке подчинялась семья миру, мир — более обширной сходке, сходка — вече и т. д.». Таким образом, речь шла уже не только о внутренней организации одного отдельного мира. Гармоническое устройство этой первичной ячейки древнерусского общества — общины, в которой интересы всех членов связывались в едином порыве к общему благу, определяло собой и все общественное устройство в целом: «Миры или согласия сливаются в другие большие согласия, которые, в свою очередь, составляют согласия областные и, наконец, племенные, из которых слагается одно общее, огромное согласие всей русской земли...» И тут уж, конечно, и речи быть не могло об анархии, произволе, насилии — в обществе, устроенном на подобных основаниях, для них просто не оставалось места.

Так, в своем противопоставлении допетровской Руси Западу Киреевский рисовал яркую картину ее общественного устройства. Это было общество нравственной, духовной гармонии, в основе которой лежал самобытный национальный характер русского человека, обусловливающий забвение им личных, эгоистических интересов в стремлении к общему благу.

Но как бы ни совершенно было это общественное устройство, как бы ни полна была гармония, царившая на Руси у самых истоков ее истории, все же она не исключала «внутренних смут». Еще большую угрозу представляли «дикие соседи» — их набеги постоянно угрожали русской земле. Гармоническое содержание русской жизни во имя своей безопасности должно быть заключено в определенную государственную форму.

В своем отношении к государству шеллингианцы-славянофилы снова противопоставляли себя «гегелистам»-западникам. Недаром одно из главных возражений, с которым создатель «философии откровения» выступил в начале 1830-х годов против Гегеля, было направлено именно против обожествления пос-

леднним государства. «Государство — организм, воплощающий нравственную и религиозную жизнь. Но как здоровое тело не чувствует свой организм, так и народы опускаются на более низшую ступень, если им приходится бороться во имя потребностей своего организма».

Государство — не более чем форма; оно необходимо, но является вторичным по отношению к своему содержанию — духовной жизни народа. Эта мысль была чрезвычайно близка славянофилам, которые в своих «антигосударственных» размышлениях заходили иной раз весьма далеко. Эта черта особенно бросается в глаза в статьях и заметках К. Аксакова, главного среди славянофилов «специалиста» по вопросу о государстве; его афоризмы на сей счет нередко имеют анархический оттенок: «Государство — начало неволи». «Цель государства — сделать ненужной совесть» и пр. Государство, с его точки зрения, есть воплощение «правды внешней», «принудительного закона». Оно противоречит самому духу русского народа и всего славянства в целом, изначально вследствие «племенных особенностей» готового для восприятия «великой правды православия». К. Аксаков утверждал, что славянские племена сами «составить» государственное устройство «не могли по существу их, не могли и не хотели принести в жертву внешнему закону закон внутренний; не могли и не хотели обратиться сами из общины в государство...».

И все же «правда внутренняя» могла безбоязненно существовать и развиваться только под опекой «правды внешней». В конце концов народ нашел единственно возможный выход из подобного положения: он «сознал и понял необходимость государственной власти на Земле» и добровольно призвал ее извне — в лице варягов.

Для славянофилов норманнская теория явилась как бы зеркальным отражением теории образования классов, разработанной в начале XIX века французскими историками. Одна из них хороша была для России, другая — для Запада; обе вместе они прекрас-

но подтверждали тезис об «исконно различных путях развития». В самом деле, на Западе в основе государства лежит завоевание и возникшее вследствие его разделение народа на классы; отсюда вечный антагонизм между народом и властью, между «низшим» и «высшим» классами. В России же завоевания не было, было «мирное призвание» власти, а следовательно... «При такой основе,— вопрошал Аксаков,— как должен смотреть народ на власть? Так, как на власть, которая не покоряла, но призвана им добровольно, которую поэтому он обязан хранить и чтить, ибо он сам пожелал ее: народ в таком случае есть первый страж власти. Как должна смотреть власть на народ? Как на народ, который не покорен ею, но который сам призвал ее, который, следовательно, не есть ее раб, ...а друг неизменный. С обеих сторон, так как не было принуждения, а было свободное согласие, должна быть полная доверенность». «Мир и согласие»— вот основное начало Русского государства.

Подобные взаимоотношения между народом и государственной властью Аксаков определял как «систему взаимного невмешательства». «Государство», считал он, функционировало по своим законам «правды внешней», ничем не нарушая внутренней жизни «земли», «земля», в свою очередь, несла неизбежные государственные повинности, повинуясь исключительно голосу «правды внутренней» и не вмешиваясь в чуждые ей дела государства. Но понятия эти —«земля» и «государство»— для Аксакова отнюдь не равноценны: «земля»— первична, «государство»— вторично; «земля» выражает самую сущность народа, а «государство» является лишь внешней его оболочкой. Аксаков относился к «государству» с должным пиететом, но лишь постольку, поскольку оно добросовестно выполняет свои функции, действуя строго в отделенных ему границах.

Вмешательство «государства» в дела «земли» при подобном порядке практически исключалось; «земля» же имела возможность оказывать определенное, хотя и пассивное, влияние на «государство». «Само-

стоятельное отношение безвластного народа к полноправному государству,— писал Аксаков,— есть только одно: общественное мнение». Настойчиво проводя мысль, что в народе русском «нет политического элемента», что, призвав «государство», «земля» полностью отказалась от каких бы то ни было политических прав, Аксаков заявлял, что в то же время она оставила себе «неотъемлемое право духовной свободы, другими словами, свободы мысли и слова». Наиболее ярко эта свобода проявлялась в деятельности Земских соборов, которые «государь созывал, когда находил нужным», и на которых «земля»— то есть народ — высказывала свои мнения, «не настаивая на их исполнении». Таким образом, «система взаимного невмешательства» и тут ни в коей степени не терпела ущерба.

Рассматривая взаимоотношения «земли» с «государством», Аксаков неизбежно должен был затронуть вопрос о «высших классах»: ведь «государство» самим фактом своего существования нарушало изначальную однородность «земли», порождая «людей государевых — бояр, дворян и прочих». Однако в отличие от «западных классов», границы между которыми отделяли завоевателей от завоеванных, на Руси «разделения на неподвижные сословия не было»: «Выше всех этих разделений было единство веры, единство жизни и быта, соединявшее Россию в одно целое». На Руси «всякий чиновник был свой человек народу», и всякий желающий мог свободно перейти из земских людей в служилые. А главное — Русь обладала таким сокровищем, как «нравственное убеждение», которое сводило на нет все имущественное и социальное различие в положении «высших и низших классов».

Конечно, разработать подобную теорию и свято уверовать в ее истинность мог лишь человек, искренне убежденный в существовании на Руси «духовной гармонии». В своих изысканиях Аксаков выступил как верный единомышленник И. В. Киреевского. Если последний разработал в славянофильс-

ком духе «картину жизни народной», то есть, по славянофильской терминологии, «земли», то Аксаков дополнил ее изображением «государства», причем определил между этими двумя компонентами такие взаимоотношения, которые не только не противоречили взглядам Киреевского, но и служили им серьезным подспорьем. А в результате славянофильство обрело достаточно цельную концепцию прошлого России.

В центре этой концепции — тезис о самобытной «русской душе», об особом национальном характере русского человека. В формировании этого характера самое деятельное участие принимала православная церковь; в общинном быту получал он дальнейшее свое развитие; государство бдительно охраняло его от дурных влияний, как внутренних, так и внешних. Вследствие таких самобытных черт «русской души», как «постоянное самоотвержение», стремление «правильно выразить дух общества», отношения между людьми на Руси были исполнены гармонии. Славянофилы вполне признавали тот факт, что члены древнерусского общества находились в самом различном материальном, социальном и политическом положении. Аксаков, например, чуть ли не с гордостью писал, что на Руси никогда не было «мечтательного равенства». Но, во-первых, это неравенство, по мнению славянофилов, не закреплялось искусственно, не приводило к «железному разграничению сословий». А главное, неравенство это не имело почти никакого практического значения ввиду все той же самобытной «русской души»: ведь «все виды и классы населения», невзирая на различия в своем положении, одинаково стремились к общему благу. В допетровской Руси могли существовать и существовали богатые и бедные, власть имущие и безвластные, но тем не менее ее общественный и государственный строй идеально соответствовал «народному духу» и не нуждался в дальнейших экономических, социальных или политических преобразованиях. Если бы этот строй удалось сохранить, то русский народ беспрепятственно шест-

вовал бы к своему конечному идеалу — «обществу христианскому», развивая «лучшие черты ума и души», духовно совершенствуясь, «нравственно приближаясь к богу».

Однако этот прекрасный строй был безжалостно разрушен; славянофилы искали и находили в прошлом своей страны тот роковой «перелом», когда «она (Россия.— *А. Л.*) дает страшный крюк, кидает родную дорогу и примыкает к Западу». Свой идеал общественного и государственного устройства славянофилы, таким образом, противопоставляли не только Западу, но и современной России.

В оценке причин «перелома» славянофилы несколько расходились. Точка зрения, которая обычно приписывается всем последователям этого учения,— на «личную волю» Петра I, как на главную, если не единственную, причину измены «родным началам»,— была характерна, пожалуй, для одного К. Аксакова. И Киреевский, и Хомяков находили тому более глубокие, внутренние причины: они — истинные диалектики!— именно в небывало полном развитии исконных начал видели зародыш их гибели; гармонический строй русской жизни был подорван внутренней реакцией, первые проявления которой славянофилы находили еще в XVII веке: в событиях Смутного времени, в церковном расколе... Реформы же Петра явились лишь продолжением и наиболее ярким выражением этой реакции.

Однако сущность «перелома» и его последствия славянофилы оценивали в целом однозначно. Победа чуждого России «европейского направления» привела к крушению духовной гармонии, определявшей ее жизнь в допетровские времена. Попытка Петра привить России ложное «западное просвещение», которое не имело для себя на Руси никакой почвы, была обречена на провал. Народ сохранил верность своим началам. Однако «высшее сословие» восприняло это «лжепросвещение»; его представители «отчуждались от жизни народной», внутренне перерождались, утрачивая многие черты национального характера. В ре-

зультате на место прежней гармонии и стремления к общему благу в их души проникали эгоизм и раздвоенность, столь характерные для «западного» человека. А с другой стороны, хотя «низшее сословие»— народ — осталось верным самому себе, самобытным началам своей жизни, его тоже не миновали последствия рокового перелома. «По мере того,— писал Хомяков,— как высшие слои общества, отрываясь от условий исторического развития, погружались все более и более в образованность, истекающую из иноземного начала, умственная деятельность ослабела и в низших слоях общества». По общему для всех славянофилов убеждению, «для низших слоев нет отвлеченных знаний», то есть именно тех знаний, которые насаждал Петр, внедряя «западное» просвещение. «Для них,— писал Хомяков,— возможно лишь общее просвещение жизни», которое определяется «постоянным круговращением мысли» и становится абсолютно невозможным «при раздвоении в мысленном строении общества». Другими словами, для «общего просвещения» народа необходима именно та «духовная гармония», объединяющая социально разнородное общество в единое целое, которая была утеряна на Руси в эпоху Петра I. Конечный результат его преобразований был, по мнению славянофилов, весьма печален: «В высших слоях проявилось знание, но знание, вполне отрешенное от жизни, в низших — жизнь, никогда не восходящая до сознания».

Это роковое нарушение внутренней гармонии русской жизни неизбежно должно было привести к гибельным переменам и в ее внешнем устройстве. Ведь вся «система взаимного невмешательства» держалась на тесной духовной взаимосвязи «земли» и «государства». «Невмешательство» было возможно лишь постольку, поскольку оно имело опору в «едином духе», едином образе жизни всех слоев русского народа. Когда же это внутреннее единство исчезает, «система» неизбежно должна быть нарушена, что и произошло в результате Петровских реформ. «Госу-

дарство,— писал Аксаков,— совершает переворот, разрывает союз с Землей и п о д ч и н я е т ее себе, начиная новый порядок вещей». «Государство» отвергает основной принцип своего существования в допетровской Руси, оно настойчиво вторгается во внутреннюю жизнь народа. Причем это вмешательство настолько интенсивно, что доводит народ «до животного состояния», ставит его «в положение рабов»...

Определив, таким образом, нормальное «здоровое» состояние России, весьма обстоятельно выяснив причины «болезни» русского общества, поставив точный диагноз, славянофилы должны были попытаться найти какие-то врачующие средства. Вполне естественно, что средства эти соответствовали диагнозу и были направлены прежде всего на восстановление в России «духовной гармонии». Поскольку исходной точкой ее распада явилось искажение внутреннего мира представителей «высшего сословия» под влиянием привитого западного просвещения, то именно к ним и обращались славянофилы с призывом «обновиться нравственно», восстановив духовное единство с народом. Ибо, как писал Хомяков, «жизненное начало утрачено нами, но оно утрачено только нами... Это жизненное начало существует еще цело, крепко и неприкосновенно в нашей великой Руси...». Русский народ пусть бессознательно, но хранит его; и каждый, кто желает приобщиться к этому началу, неизбежно должен «слиться с жизнью русской земли», с ее бытом и религией, «не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать, обрядным единством». И. Киреевский, в свою очередь, настойчиво убеждал «образованное меньшинство» обратиться к «чистым источникам древней православной веры своего народа».

Естественно, для представителей «высшего сословия», по рукам и ногам скованного «гордыми привычками нашей рассыпной единичной жизни», нелегко духовно слиться с народом, нелегко после почти полуторавекового разрыва с ним пробудить в себе «лучшие черты ума и души русского человека». До-

биться этого можно было лишь путем интенсивной и углубленной работы над собой. «Все дело людей нашего времени может быть еще только делом самовоспитания»,— писал Хомяков, и дело это —«великий труд и великий подвиг».

* * *

Итак, славянофилы, как и западники, жаждали перемен. В условиях николаевской России, когда легальную работу во изменение существующего строя вести было почти невозможно, и те и другие призывали общество к «подвигу самовоспитания». Перемены придут, деспотический режим Николая I не может существовать вечно — в этом представители «образованного меньшинства» были свято уверены. Пока же, готовясь к неизбежному «перелому» русской жизни, необходимо было изменить самого себя: преобразование России до́лжно начать с русского общества, с каждого его члена в отдельности.

Но вот относительно с у т и этого преобразования мнения резко расходились. Необходимо перестроиться на западный лад, стать европейцами в лучшем смысле слова, то есть освободить свою личность из-под ярма косной ограниченности, воспитать в себе чувство собственного достоинства, развить свой ум критикой и свободным исследованием,— вот мнение западников. Позиция же славянофилов диаметрально противоположна: нужно, отвергнув ложное, формальное западное «полупросвещение», возродить в себе утраченное —«истинно русский дух»; основное же средство для этого — обращение к простому народу, к его обычаям, к его вере.

Взгляды славянофилов и западников не только резко отличались друг от друга, они были теснейшим образом взаимосвязаны, являясь как бы зеркальным отражением друг друга. Это удивительное сочетание глубокого внутреннего единства с максимальными, казалось бы, идейными разногласиями обусловило

сложность и противоречивость отношений между представителями двух важнейших течений русской общественной мысли 1840-х годов.

После первых же столкновений лидеров западничества со своими оппонентами славянофильская доктрина произвела на них впечатление уродливой нелепости. «Ты не можешь себе вообразить,— писал Грановский Станкевичу в ноябре 1839 года,— какая у этих людей философия. Главные их положения: Запад сгнил, и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром,— мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю». Еще более резко и насмешливо излагал свое «понимание» славянофильства Герцен: «Род человеческий после разделения Римской империи одной долей сошел с ума, именно Европой, а другой в ум вошел, именно Византией, а после Россией. Если б татары не повредили, а потом Москва, а потом Петр, то и не то было бы. А Европу за безумие наказал Бог всякими плевелами — французской болезнью и французской революцией». И конечно же, в глазах Грановского, Герцена и их друзей люди, выражавшие подобные взгляды, были противниками, мешавшими воплощению в жизнь западнических идей, противниками тем более опасными, что они, являясь полноправными членами «образованного меньшинства», так же как и западники, действовали на общество изнутри.

Позже, в своей работе «Развитие революционных идей в России», Герцен сформулировал мысль об опасности, исходившей от славянофильства. Он с горечью писал о том, насколько затрудняют славянофилы святое дело освобождения личности в России: только-только эта личность встает на ноги, преодолевая косность и бессознательный эгоизм,— славянофилы ждут ее с новыми, куда более прочными «путами, позаимствованными у прошлого: религией, преданиями, мифами...».

«Досадно, что они портят студентов,— писал Грановский Станкевичу,— вокруг них собирается много хорошей молодежи и впитывают эти прекрасные речи. Иван Киреевский ищет теперь место профессора философии... Бесспорно, он человек с талантом и может иметь сильное влияние на студентов...» «Вредны они до чрезвычайности»,— резюмировал Герцен уже в 1842 году это общее для западников мнение.

Однако тот же Герцен видел в славянофилах отнюдь не только идейных противников, с которыми нужно вести борьбу не на живот, а на смерть. В «Былом и думах», когда жарким спорам в московских салонах минуло много лет, он, как мы видели, определял свое отношение к славянофилам двойственной формулой: «друзья-враги». Но и в начале 1840-х годов, в самый разгар этих споров, западники, несомненно, ощущали глубинное родство со своими постоянными оппонентами.

Впрочем, некоторые представители славянофильского лагеря изначально вызывали у Герцена, Грановского и прочих чувства, далекие от симпатии. Так, неизбывно чужим и враждебным казался им А. С. Хомяков. «Умен, много знает,— описывал свое первое впечатление от встречи с ним Грановский,— но нет интереса». В натуре Хомякова монолитная прочность убеждений удивительным образом сочеталась с гибкостью, увертливостью, изменчивостью, постоянно проявляемыми им в спорах. Его манера вести дискуссии раздражала даже Герцена, поначалу весьма ценившего своего оппонента за «удивительный дар логической фасцинации, быстроту соображения, память чрезвычайную...». Однако постепенно отрицательные черты Хомякова — его неискренность, «истинно московское лукавство» — стали определяющими и для Герцена, чьи дневниковые записи о стычках с этим «застрельщиком славянской рати» приобретали все более резкий и недвусмысленный характер: «...суетный 40-летний парень Хомяков, просмеявшийся целую жизнь и ловивший нелепый призрак русско-византий-

ской церкви, делающейся всемирной, повторяющий одно и то же, погубивший в себе гигантскую способность...»

Однако в начале 1840-х годов подобная неприязнь в отношениях между западниками и славянофилами была редким исключением. Напротив, их буквально притягивало друг к другу. Не случайно в том же письме, которое содержало столь резкую характеристику славянофильского учения, Грановский сообщал Станкевичу: «Бываю довольно часто у Киреевских». Получив от Бакунина выговор за эти посещения, он с раздражением писал: «Я хорошо знаю слабые стороны Киреевских, их убеждения не сходны с моими; я считаю их даже вредными — и в данном мне кругу деятельности борюсь с ними. Как преподаватель, я всегда буду нападать на подобные мнения; как писатель... также,— но как частный человек, я с удовольствием бываю у них. Что ни говори, они люди образованные, мыслящие (хотя и вкось), с глубокими интересами и высокой честности... Я не помирюсь с нравственным безобразием, в какой бы форме оно ни явилось, но думаю, что человек может быть лучше своего мнения... Я уважаю в нем (в И. Киреевском.— *А. Л.*) благородство и независимость характера... соединенные с теплотою души».

Грановскому вторил Герцен: «Иван Киреевский, конечно, замечательный человек; он фанатик своего убеждения, так же, как и Белинский своего... Человек этот глубоко пережил вопрос о современной Руси, слезами и кровью окупил его разрешение...» Столь же высоко оценивал Герцен и силу убеждений брата Ивана — Петра Киреевского, которого он считал «головою выше всех славянофилов; он принял один во всю ширину нелепую мысль, но именно за его консеквентностью исчезает нелепость и остается трагическая грандиозность».

Глубокая искренность убеждений и благородство братьев Киреевских неотразимо влекли к ним их оппонентов и позволяли вести жаркие споры без «лукавого двоедушия», столь свойственного Хомякову, который

всегда стремился к одной цели — загнать своих оппонентов в угол, разбить их наголову, не стесняясь в средствах. Здесь же взаимное уважение, сдержанность и открытость позволяли внимательно отнестись к доводам противной стороны, и если не принять, то верно оценить их. Более того, в Киреевских западникам виделась огромная, добрая сила, которая по обстоятельствам времени приняла неверное направление. Велик был соблазн обратить братьев в «истинную веру», вывести их из «темного леса мистицизма», приобщить к общечеловеческому. Тем более что именно Иван Киреевский еще в начале 30-х годов в своем недолговечном журнале «Европеец», по словам Герцена, «предупредил современное направление в самой Европе...». Да и в нынешних «диких и нелепых» взглядах братьев западники чуяли некую общую точку со своей «верой». И ведь действительно такая точка была — общее признание «гнусности настоящего» позволяло надеяться на сплочение сил в борьбе за лучшее будущее. «Несмотря на его прочие заблуждения, мистицизм, болезненный патриотизм,— писал Грановский об И. Киреевском в январе 1840 года,— у него видно необыкновенное сознание настоящего момента русской истории». И Грановский на протяжении нескольких лет не просто поддерживал хорошие отношения с братьями, не просто спорил с ними во имя истины, но, несомненно, питал надежды на их «просветление и обращение». «Я даже начинаю думать, что его мистицизм есть только момент,— писал он Станкевичу об Иване в 1840 году,— он теперь крепко занимается Гегелевою логикою и религией философии. Признался, что это доставляет большое наслаждение и что Гегель величайший человек нашего времени». А через несколько лет, в июне 1844 года, Грановский сообщал жене из Белева, что «провел два хороших дня с Иваном Васильевичем (Киреевским.— *А. Л.*). Всякий день мы сидели с ним до двух часов ночи и говорили о многом... С ним сойтись нетрудно. У него такая широкая благородная природа, что ее не могли сузить никакие мнения».

В свою очередь, Киреевские — особенно Иван Васильевич,— испытывая достаточно сложные и противоречивые чувства к своим оппонентам, долгое время отнюдь не склонны были видеть в них непримиримых врагов. Они вполне доброжелательно относились не только к Грановскому, всегда умевшему проявить максимальную сдержанность и терпимость, но и к значительно более резкому в спорах Герцену. «Меня радовали слова Ивана Васильевича о Герцене,— писал Грановский летом 1844 года,— он оценил его совсем и отзывался о нем с таким уважением и любовью, что я хотел было сказать: «да ведь он пьяница». Сам же Герцен с немалым удовольствием занес в дневник ответ Киреевского Хомякову, который стращал его известием, что противники «собирают силы», готовясь издавать журнал: «Иван Васильевич... спрашивает, кто эти противники, не Грановский ли с друзьями, что в таком случае он к ним чувствует более симпатии, чем ко всем славянофилам».

Взаимная симпатия связывала западников с Константином Аксаковым, в котором они справедливо видели «вечно восторженного и беспредельно благородного юношу: он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем». Кроме того, он был «свой брат», ровесник, однокашник многих западников по Московскому университету, недавний член кружка Станкевича, недавний друг Белинского... Правда, об «обращении» этого совершенно несгибаемого доктринера, представителя самых крайних мнений в славянофильском кружке, не могло быть и речи.

Зато большие надежды в этом смысле подавал новобранец славянофильского лагеря — Юрий Самарин. Его исключительная талантливость сразу же привлекла внимание чрезвычайно чутких на это Герцена и Грановского. В ноябре 1843 года Герцен писал уехавшему в Петербург Кетчеру: «Я познакомился с Самариным; он очень умный человек». А Грановский тогда же сообщал тому же адресату, известному своим непримиримым отношением к славянофилам, что Герцен, пользуясь его отсутствием, «завел дружбу с Самари-

ным. Я давно говорил наперекор тебе и Боткину, что Самарин очень умный и даровитый человек, оставляя в стороне его мнения. Фильтирах * же пришел было в восторг от этих самых мнений... Вчера друг наш доказывал, что у Самарина сильная логика, великий талант изложения и что во многом он прав».

Грановский и Герцен чутко уловили в речах Самарина духовный надлом, вызванный сознанием глубочайшего противоречия между своей натурой, образом жизни и образом мышления, с одной стороны, и конечной целью, поставленной славянофильством,— искренним и полным обращением в православие — с другой. «Он согласен, что ясно не может развить логически свою мысль об имманентном сосуществовании религии с наукой... Они согласны, что расторженность человека, который мышлением разрушает то, что принимает фантазией и сердцем, и, с другой стороны, усыпляя мышление, снова дает место представлению, непримирима. Но они требуют это, хотят, etc. Требование это вместе со славянизмом делается религией».

Соединить науку с религией невозможно — таково твердое убеждение Герцена, которое, с его точки зрения, должен разделить каждый искренний и умный человек. Таким он считал Самарина, записывая в дневник, что тот «начинает разглядывать невозможность удержаться на точке зрения ортодоксально-философской. Благородное устройство его головы не дозволяет ему остановиться на формальном, внешнем сосуществовании (религии и науки.— *А. Л.*)». Действительно, Самарин в это время стоял перед серьезным выбором, и его оппоненты надеялись, что этот талантливый молодой человек пополнит их ряды. Самарин, со своей стороны, не скрывал симпатий к «витязям враждебного стана». «Герцену и Грановскому пожми руку, как ты знаешь»,— писал он К. Аксакову в сентябре 1844 года.

* Так называли Герцена в дружеском кругу.

Удивительный парадокс: славянофилы, рассуждавшие, с точки зрения своих идейных противников, столь странно и нелепо и, казалось бы, активно противостоящие великому делу освобождения человека в России, сами несли на себе четкий, прекрасный чекан свободной личности; они были «своими по духу», полноправными членами «образованного меньшинства». Глубокая искренность убеждений, высокое чувство человеческого достоинства, бескорыстие во всех действиях, направленных к одной великой цели — благу России,— как было не уважать людей, в избытке наделенных подобными качествами, как было не льнуть к ним при безлюдье, созданном николаевским режимом вокруг кучки «несогласных». И, вне всякого сомнения, в пылу самых горячих споров многие западники должны были подспудно ощущать то непреоборимое духовное родство со своими оппонентами, которое много лет спустя так блестяще выразил Герцен: «У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

ГЛАВА VI. «ТИХАЯ РАБОТА»

В 1835 году, когда Косте Кавелину было чуть за 16 и он, по своим собственным воспоминаниям, представлял собой дворянского недоросля «колоссальных наивности, неразвитости и детства», заботливые родители пригласили к нему репетитора —«чудака с дурными манерами», студента-недоучку, исключенного из Московского университета за недостаток способностей,— Виссариона Белинского. Учителем, в школьном

смысле этого слова, он оказался никудышным. «Мы,— вспоминал Кавелин,— занимались с ним больше разговорами, в которых не было ничего педагогического, но эти разговоры оставили во мне гораздо больше, чем детальное и аккуратное знание учебника и руководства»,— они определили всю дальнейшую жизнь ученика Белинского. «Чтобы понять и ценить это,— пишет он,— надо вспомнить время и среду, в которых я жил. Страшное бессмыслие, отсутствие всяких социальных, научных и умственных стремлений, тоскливый и рабский биготизм *, самодержавие и крепостничество, status quo как естественная норма жизни, дворянское чванство и пустейшая ежедневная жизнь, наполненная мало искренними родственными отношениями и сплетнями и пошлостями дворянского кружка знакомств, погруженного в микроскопические ежедневные дрязги, придворные слухи, допотопное хозяйство, светские этикеты и туалеты. Для юноши эта среда была заразой, и те, которые в ней не опошлели и из нее вырвались, были обязаны, подобно мне, тем струйкам света, которые контрабандой врывались через Белинского и ему подобных в эту тину и болото».

Этот эпизод из воспоминаний К. Д. Кавелина, ставшего в 1840-е годы полноправным членом кружка, более того, одним из лидеров «образованного меньшинства», на наш взгляд, символичен. Шел 1835 год, и Белинский, так же как и его друзья, был в самом начале своего пути. Но уже тогда он и ему подобные яростно отрицали николаевскую Россию; действуя «не как политические агитаторы, а как мыслящие люди», они тем не менее заражали этим отрицанием окружающих, вызывая в них неопределенные стремления к лучшему будущему.

В начале 1840-х годов ту же работу вели уже сплоченные кружки, которые к тому же и в своем отрицании, и в своих положительных стремлениях действовали куда более определенно, куда более активно, разносторонне и последовательно. «...Все мы,—

* От фр. le bigotism — ханжество.

вспоминал Герцен,— были сильно заняты, все работали и трудились, кто — занимая кафедры в университетах, кто — участвуя в обозрениях и журналах, кто — изучая русскую историю...» Б. Н. Чичерин, ретроспективно оценивая деятельность людей, воспитавших его поколение, писал: «Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения. Работа была серьезная: литературная, ученая, педагогическая. И дело, казалось, шло с вожделенным успехом».

Письма Грановского первой половины 1840-х годов буквально пронизаны жаждой деятельности: в неустанном труде во имя просвещения России он видит свой долг, долг каждого образованного человека. «Я не могу принять незаслуженного отдыха, покоя прежде усталости,— писал он жене, мечтавшей пожить в деревне.— Мне нужен труд, люди, скажу правду, влияние на людей, т. е. возможность делиться с ними учеными и другими мнениями. Все это дает мне университет». Другим такую возможность предоставляли страницы журналов, гостиные и салоны. Нужно было только как можно быстрее найти свое место и трудиться, трудиться не покладая рук, ибо работы в России — непочатый край.

«Пора домой,— писал Грановский находившемуся за границей Фролову,— ты прав, говоря, что настоящая деятельность возможна человеку только на родной почве. Годы прошли над нами недаром: они унесли с собою заманчивые надежды и планы молодости. Но в большей части из нас сохранилось желание труда и пользы в кругу деятельности, данной обстоятельствами. Главным приобретением последних лет моей жизни я полагаю развитие чувства долга. Я работаю много теперь... Приезжай. Будем работать вместе. Дела много».

Дела было много... «Образованное меньшинство» напрягало в это время все свои усилия для просвещения общества, для пропаганды своих взглядов. Мы видели, как умело и плодотворно действовали

его представители на университетской кафедре; еще более широкий резонанс имело их обращение к обществу через периодическую печать.

Западники всеми силами стремились помочь своим читателям сбросить путы косного, «непосредственного» существования и выйти на единственно верный путь всемирно-исторического развития. Чтобы добиться этого, нужно было заставить их осознать неразрывность связей России со всем человечеством и прежде всего с Европой; неудивительно, что мысль об общности, единстве, цельности всего сущего являлась определяющей в «тихой работе» западнического кружка.

Эта мысль упорно проводилась западниками в самых разнообразных формах. Она буквально пронизывает их статьи на самые различные темы. Так, в статье о стихотворениях Лермонтова Белинский посвятил ей обширное «лирическое отступление»: «Неисчислимы и разнообразны предметы мира, но в них есть единство, и все они — частные явления общего. Вот почему философия говорит, что существует одно общее». Это в полной мере относится и к сфере бытия человеческого. «...Каждый человек есть отдельный и особенный мир страстей, чувств, желаний, сознания; но эти страсти, эти чувства, это желание, это сознание — принадлежит не одному какому-нибудь человеку, но составляет достояние человеческой природы общее для всех людей». Человек, заявлял Белинский, вообще живет лишь постольку, поскольку принадлежит к этому общему: «...В ком больше общего, тот больше и живет; в ком нет общего — тот живой мертвец...» Ведь жить — это отнюдь не значит «столько-то лет есть и пить, биться из чинов и денег, а в свободное время бить хлопушкою мух, зевать и играть в карты: такая жизнь хуже всякой смерти, и такой человек ниже всякого животного...». Жить — это значит «чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать»,— а такая настоящая жизнь возможна лишь для того, кто осознал себя частью всеобщего и «для кого выгоды и потребности житейские —

интересы второстепенные, а природа и человечество — главнейшие интересы...»

Ту же тему развивал Герцен в своем знаменитом цикле статей «Дилетантизм в науке»: «Все дело философии и гражданственности — раскрыть во всех головах один ум. На единении умов зиждется все здание человечества; только в низших, мелких и чисто животных желаниях люди распадаются». Эти «низкие желания» порождаются самолюбием, эгоизмом, сознанием своей исключительности: «Эгоизм ненавидит всеобщее, отрывает человека от человечества, ставит его в исключительное положение... Он везде носит свою злокачественную атмосферу».

Преодоление животных сторон своей натуры через постижение истины, через приобщение к «одному уму»— вот путь, достойный человека. Это — путь познания, путь тяжкий, ибо он «требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью все отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания». Для эгоиста этот путь представляется гибельным, ведущим к самоуничтожению. На самом же деле «процесс погубления личности есть процесс становления — в сознательную, свободную разумную личность из непосредственно естественной; она приостановлена для того, чтобы вновь родиться».

Высокой патетикой звучат слова Герцена, посвященные преодолевшим себя: «Личность, имевшая энергию себя поставить на карту, отдается науке безусловно; но наука не может не поглотить такой личности, да и она сама по себе уже не может уничтожиться во всеобщем... Погубивший душу найдет ее. Кто так дострадался до науки, тот усвоил ее не токмо как остов истины, но как живую истину, раскрывшуюся в живом организме своем... но ему становится мало ее примирения; ему мало блаженства спокойного созерцания и видения; ему хочется полноты упоения и страданий жизни; ему хочется действования, ибо одно действование может вполне удовлетворить человека. Действование — сама личность».

Так, в статье на весьма, казалось бы, отвлеченную тему, используя сугубо научную терминологию, Герцен, по сути, предлагал своим читателям ясную и вполне конкретную жизненную программу: преодолеть свою косность, свой эгоизм; приобщиться к западному просвещению, «пробудить в своей голове общий разум» и — действовать! Как? Очевидно, для «освобожденной личности» ответить на этот вопрос будет нетрудно...

Белинский, перенося в своих статьях те же идеи из сферы личной в сферу общественную, выражал их еще смелее и откровеннее. Вычерчивая путь от бессознательного существования к сознательному бытию, он писал не только о преодолении эгоизма, чувства личной исключительности, но и — главное — исключительности национальной. К ясному сознанию бытия можно прийти лишь через отрицание «старины, традиций, авторитетов», и отрицание это — процесс необходимый и благой. «Говорят: отрицание убивает верование. Нет, не убивает, а очищает его». Только через отрицание можно прийти к той «истинной любви к отечеству», которая «должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил споспешествовать этому».

Итак, сначала освобождение от косности, эгоизма, национальных и прочих предрассудков, приобщение к «идеалу человечества»; затем, в будущем,— действие во имя этого идеала — вот путь, по которому должно идти русское общество. Главное — разбудить в человеке личность...

Славянофилы в начале 1840-х годов выступали в печати значительно реже, чем их оппоненты. Объяснения тому могут быть различны. И современники, и потомки, признавая исключительную талантливость людей, составлявших славянофильский круг, нередко пеняли им за барственную лень, за отсутствие привычки к каждодневной упорной работе. Эти обвинения справедливы лишь отчасти; их,

очевидно, можно было предъявлять Константину Аксакову, великое множество ярких мыслей которого воплотилось лишь в афоризмы, заметки, наброски... Значительно меньше, чем мог, сделал на своем веку Иван Киреевский, один из самых замечательных людей «замечательного десятилетия». Но тут уж была не его вина, а его беда — беда, общая для многих, которую так великолепно определил Герцен: «И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени». В 1832 году «Европеец» Киреевского — один из самых многообещающих журналов этого времени — был безжалостно растоптан на втором номере — за талантливость издателя, за смелость мыслей написанной им передовой статьи... После этого для Киреевского долгое время путь в подцензурную печать был закрыт. И, может быть, его, как и других славянофилов — истинных питомцев дворянских гнезд,— отталкивала от занятий журналистикой гордость — противно было унижаться, гнуть шею, работая «под цензуру», хвататься за сердце, увидев свою иссеченную цензором статью. В первой половине 1840-х годов — да и позже — славянофилы многое писали «для себя», для узкого круга самых близких друзей.

В то же время они нашли другой путь для борьбы за русское общество, который, может быть, больше соответствовал их своеобразному учению. В конце 1830-х — начале 1840-х годов славянофилы не только предавались отвлеченным размышлениям о судьбах русского народа, но и пытались овладеть конкретным материалом, связанным с его историей, бытом, верой. Достаточно обратиться к этой стороне деятельности славянофилов, чтобы понять, сколь сомнительны обращенные к ним упреки в лени. Славянофильский кружок выдвинул здесь таких неутомимых тружеников, какими, пожалуй, не могли похвастаться их оппоненты. Достаточно назвать Петра Киреевского, который кропотливой многолетней работой по собранию народных песен заложил основы отечественной фольклористики; или Дмит-

рия Валуева, успевшего за свою короткую жизнь (он умер 25 лет от роду) собрать и обработать множество интереснейших материалов по истории русского и других славянских народов. Эти материалы составили основу двух сборников, издание которых в 1845 году стало заметным явлением не только в научной, но и в общественной жизни. К участию в этих сборниках Валуеву удалось привлечь лучшие силы не только славянофильского, но и западнического лагеря; в одном из них — так называемом «Славянском» — опубликовал свою магистерскую диссертацию Грановский, что лишний раз доказывает, сколь сильным было стремление к взаимопониманию в среде «образованного меньшинства» даже в это время — время неумолимо надвигающихся раздоров.

Этой «черновой» работой, так же как немногими, но яркими оригинальными статьями, славянофилы пытались достичь своей главной цели — пробудить в русском обществе национальное самосознание. Герцен совершенно справедливо определял те своеобразные отношения, которые сложились между двумя лагерями лучших представителей «образованного меньшинства», как «дружбу-вражду», и мы увидим, как постепенно вражда начинала преобладать над дружбой. Но для нас, обратившихся к истории «замечательного десятилетия» по прошествии полутора веков, совершенно ясно, что эти течения общественной мысли изначально связаны между собой неразрывными узами, что их, казалось бы, противостоящие друг другу цели сливаются воедино. Возможно ли воспитать в себе чувство личного достоинства, отрешившись от сознания своей национальной принадлежности? Как можно ощутить свое неразрывное единство с народом, если в тебе подавлена личность? Вопросы, очевидно, риторические. И те, кто пытался дать ответ на один из них, неизбежно способствовали поиску верного ответа на другой. Разными путями «друзья-враги» шли к одной цели, разрушая во имя «внутреннего освобождения» русского общества догмы «теории официальной народности».

* * *

Неуемная жажда деятельности, столь характерная для лучших представителей «образованного меньшинства», постоянно охлаждалась существующим порядком вещей. В своей «тихой работе» они противостояли официальной идеологии, были в оппозиции к николаевскому режиму. А это означало, что и западники, и славянофилы неизбежно попадали под бдительный надзор III отделения и должны были ощутить цензурный гнет во всей его силе. Мы видели, как нелегко работалось в университете Грановскому; вне университета положение было еще хуже, хотя бы потому, что здесь не было Строганова, не было ни малейшей поддержки и сочувствия в официальных кругах. Следовательно, приходилось действовать с оглядкой, постоянно сдерживая себя, открыто высказываясь лишь в узком дружеском кругу. Все это навевало грустные мысли. «Жизнь,— писал в своем дневнике Герцен,— если не пресечется нелепой случайностью, представляет монотонную и однообразную иеремиаду негодования на окружающее, повторений; та же невозможность писать то, что хочешь, и неспособность то, что можно».

Помимо цензурного гнета, публицистическую деятельность западников и славянофилов осложняло отсутствие у них своего, независимого органа печати. Последние публиковались в «Москвитянине», но шли на это не от хорошей жизни. Хомяков, очевидно, выражал общее мнение славянофильского круга, когда характеризовал этот журнал как «юродивое проявление русского толка и смысла» и оправдывал тех, кто отказывается от участия в нем, «не заслуживающем, действительно, поддержки...». «Москвитянин» был ближе славянофилам, чем другие органы печати; с его издателем у них было немало точек соприкосновения — о чем пойдет речь впереди; и все же здесь царил чуждый дух, дух официальной догмы. Участвовать в этом журнале приходилось за неимением лучшего.

Московские западники в начале 1840-х тоже отнюдь не бойкотировали погодинский журнал. Но все же большую часть своих работ Грановский, Герцен и прочие посылали в Петербург, в «Отечественные записки», которые стали в это время весьма популярны, прежде всего благодаря критическим статьям Белинского. Однако, к великому сожалению друзей «неистового Виссариона», «Отечественные записки» были «журналом Белинского» лишь внешне. Их общий курс и деловая часть определялись А. А. Краевским — хладнокровным и расчетливым литературным дельцом. Нужно отдать ему должное — он отлично ориентировался в обстановке, раньше, чем кто бы то ни было из его собратьев, учуял оживление в общественной жизни России и стал весьма последовательно «играть на повышение», превратив в начале 1840-х годов свой журнал в главный орган «русского либерализма». Этот курс он проводил весьма осторожно, во всех своих действиях руководствуясь прежде всего стремлением к прибыли. Тем же стремлением определялись и его взаимоотношения с сотрудниками, как штатными, так и «вольными»,— и Герцен, очевидно, выражал их общее мнение, определяя Краевского как «феномен неделикатности». Именно неприязненным отношением к издателю «Отечественных записок» во многом объясняется тот факт, что некоторые статьи западников публиковались на страницах чуждого им по духу «Москвитянина». По мере того как западнический кружок становился на ноги, в нем все больше крепла мысль о необходимости с в о е г о журнала.

Правда, поначалу, в 1843 году, речь шла лишь о сборнике литературных и научных работ, которые должны были стать «исповеданием веры» западничества. Однако уже в начале мая 1844 года Грановский писал Фролову: «Сборник наш едва ли состоится, потому что мы надеемся заменить его журналом». Западники собирались купить право издания «Галатеи» у Раича; позже велись переговоры с С. Н. Глинкой о «Русском вестнике». Денежные затруднения, связанные с покупкой и изданием журнала, решались созда-

нием «небольшого капитала на акциях». Главным редактором должен был стать Е. Ф. Корш, один из самых близких друзей Грановского, у которого члены кружка находили «к этому делу большую способность».

Оставалось получить официальное разрешение, о котором от своего имени ходатайствовал Грановский. Поначалу в кружке не было сомнений в благополучном исходе дела — в том же майском письме Фролову Грановский, уверенно глядя в будущее, писал: «Можно надеяться, что журнал пойдет хорошо и будет полезен».

Ответа на ходатайство долго не было. В октябре 1844 года Грановский писал об этом как о досадной помехе, которая затруднит подписку на следующий год, то есть по-прежнему не терял надежд на разрешение. Герцен, судя по октябрьским записям в его дневнике, был настроен более пессимистично: «Разрешения на журнал нет; это, кажется, последняя мечта, и та не сбудется». Предвидя официальный отказ, Герцен был склонен винить в нем университетских противников Грановского, и не без оснований. Непрерывная борьба, которую вели уваровцы с Грановским, неизбежно должна была привлечь неблагосклонное внимание правительства к фигуре «опасного профессора».

27 декабря 1844 года Грановский наконец получил ответ на свое прошение. «Государь не соизволил разрешить г-ну Грановскому издавать журнал,— записывает в дневник Герцен.— Вот вам и действительность... Отобрали кучку бессильных и бьют их сколько душе угодно, опираясь на огромную кучу терпеливых и слабоумных». С запрещением издавать журнал рухнули надежды западников на «возможность общей успешной деятельности»— несомненно, это стало одним из самых тяжелых разочарований, испытанных ими на своем пути.

Подобные разочарования были неизбежны, так же, как и порождаемые ими сомнения в верности избранного пути. И все же наперекор всему «образованное

меньшинство» шло вперед, не склоняясь перед «роковыми определениями», упорно продолжая вести свою, на первый взгляд скромную, «тихую» работу. И уверенность в том, что эта работа необходима и полезна, прорывалась сквозь самые печальные размышления. «Конечно, мы приносим хоть малую, но приносим пользу»,— писал Герцен. А Грановский вскоре после неудачи с изданием журнала в письме к Фролову решительно утверждал: «Говорят, что в России не для всякого возможна деятельность. Это оправдание для людей, которые не хотят ничего делать. Герцен, Кетчер, Корш много делают, каждый в своей сфере».

Легальная оппозиция была возможна даже в условиях николаевского деспотизма, более того, ее деятельность вполне могла привести к успеху, поскольку речь шла о просвещении и воспитании общества. Ведь в этом случае борьба переносилась в такие сферы, где карательный механизм самодержавия действовал далеко не безупречно.

После разгрома декабристов русское самодержавие прибегло к весьма эффективным средствам в борьбе с «революционной заразой», то есть политическими заговорами, подпольными обществами, бунтами, анархией. Но все эти средства не могли принести успеха в противодействии «образованному меньшинству», которое в это время было еще весьма далеко от политики. Кавелин, очевидно, справедливо писал о том, что в 1840-е годы «политической программы ни у кого в тогдашних кружках не было». В это время на кафедрах университетов и в гостиных, на страницах книг и журналов проповедуются новые взгляды на природу и историю, процессы развития и познания, на роль и место человека в мире физических явлений и в обществе. Иными словами, речь шла о том, чтобы выработать и распространить в обществе новое мировоззрение — емкое, всеобъемлющее. Оно, несомненно, открывало путь к борьбе с «ужасной действительностью», но разобраться в этом, а самое главное — суметь предохранить общество от влияния людей, которые не призывали к бунту, не оскорбляли царского имени, а «всего

лишь» толковали об имманентном и трансцендентальном, о добре и зле, о терпимости и ответственности за дела свои,— не дано было ни цензуре, ни III отделению. Официальная же идеология так и не смогла преодолеть влияние нового, устремленного в будущее мировоззрения. Уваров и его приспешники явно проигрывали борьбу за русское общество; да и где им было противостоять таким ярчайшим явлениям человеческого духа, как публицистика Белинского, философские статьи Герцена, беллетристика Тургенева, лекции Грановского. А рядом вели свою упорную каждодневную работу Крюков и Редкин, Кудрявцев и Корш, Боткин и Анненков, рядом трудились «друзья-враги» — братья Киреевские, Хомяков, Аксаков, Самарин.

* * *

И все же в печати так же, как и на университетской кафедре, приходилось действовать с оглядкой. Анненков справедливо писал, что «на скромном поприще тогдашней публицистики» поневоле приходилось высказывать свои взгляды «в смягченном виде». Общественную жизнь этого времени определяли прежде всего литературные салоны. В понедельник у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у Елагиной собиралось «образованное меньшинство» московского общества с тем, чтобы в словесных турнирах с достойным противником испытать силу своего оружия. Посетители салонов, затаив дыхание, слушали завораживающие глубиной мысли и ни с чем не сравнимой выразительностью звонкоголосую речь Герцена и исполненные логики — нередко настолько формальной, что сквозь нее явственно сквозило лукавство — монологи его постоянного оппонента Хомякова; здесь «гремел словесами» Аксаков, «неистовый Константин», которого впоследствии недаром прозвали «Белинским славянофильства», и звучали негромкие, сдержанные, всегда оправданные глубоким внутренним чувством реплики Грановского и Ивана Киреевского — людей, удиви-

тельно схожих своей редкой искренностью, терпимостью и благородством. Здесь было чему поучиться; это была прекрасная школа и для тех, кто говорил, и для тех, кто слушал.

Конечно же, салонные споры охватывали очень узкий круг избранных участников и, в сущности, не имели серьезных перспектив; но в николаевские времена они были совершенно необходимой отдушиной для тех, кто стремился избежать духовной гибели. «Спертая атмосфера замкнутого кружка,— писал Чичерин,— без сомнения, имеет свои невыгодные стороны, но что делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль... Самая замкнутость исчезала, когда на общее ристалище сходились люди противоположных направлений, но понимающие и уважающие друг друга».

В салонах заинтересованные стороны выговаривались до конца; здесь, вне сферы мертвенного воздействия цензуры и III отделения, славянофилы и западники совершенствовали свои аргументы, развивали основные положения своих доктрин. Московские салоны, по словам П. В. Анненкова, представляли собой «нечто вроде замиренной почвы, где противоположные мнения могли свободно высказываться, не опасаясь засад, выходок и оскорблений для личности препирающихся». А следовательно, появлялась реальная возможность не только четко и последовательно изложить свои взгляды, но и более основательно разобраться в чужих. Именно благодаря салонным спорам стало возможным сближение двух враждующих кружков, которые в первой половине 1840-х годов не столько боролись друг с другом, сколько сообща своей неустанной пропагандистской деятельностью, своими спорами будоражили русское общество, стремясь пробудить его к новой жизни.

* * *

В работе, развернутой «образованным меньшинством» в первой половине 1840-х годов, Грановскому отводилась особая роль. Именно он должен был дать русскому обществу ясное представление о том всемирно-историческом процессе, который, по мнению западников, медленно, но верно поглощал Россию, увлекая ее вместе со всем человечеством в будущее, к «высоким и светлым идеалам». Именно ему, историку западного мира, предстояло доказать своим слушателям, своим читателям, что «современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития и что от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему состоянию, что свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу — и будет новая земля и новое небо».

Исходя из этой задачи, определял Грановский свою позицию в науке: «Нуждаясь в необходимом, мы не имеем права на научную роскошь... Сухое, не приложенное к пользе общества знание в наше время не высоко ценится». И с этой точки зрения главным, определяющим в оценке любого научного труда для Грановского являлось «не чистое отношение книги к науке, а условное отношение к потребностям читающей или, лучше сказать, учащейся публики». Наука в России должна служить обществу, должна всем своим содержанием способствовать его развитию, «просветлению» — этот усвоенный еще в молодости принцип на всю жизнь стал определяющим для Грановского.

Однако яркая, плодотворная деятельность Грановского, казалось, должна была ограничиться стенами Московского университета. Как ни хороши были его научные статьи, сколь ни последовательно проводил он в них идеи, одушевлявшие членов кружка, все же ни одна из них не стала общественным событием, подобным публицистике Белинского, философским статьям Герцена. В полную силу талантливая натура этого человека раскрывалась лишь на университетской кафед-

ре. И не удивительно, что одним из самых ярких событий в жизни русского общества 1840-х годов стали те дни, когда Грановский предстал перед ним именно как профессор, раскрыв весь свой блестящий талант лектора в публичных чтениях по истории западного средневековья.

Эти чтения, разрешенные благодаря содействию Строганова, начались 23 ноября 1843 года. В кружке их ждали с нетерпением, «в сильной ажитации — как примут? что будет? Всеобщий интерес, все разговоры сосредоточились на лекциях, все отрешились от самих себя». Подобные чувства были вполне понятны — лекции должны были стать проверкой действием: как откликнется общество на «исповедание веры» Грановского и его друзей? Публицистика, книги не могли дать прямого ответа на этот вопрос. Теперь же появлялась редчайшая в безгласной николаевской России возможность изложить свои взгляды не узкому кругу друзей, а обширному собранию, установить непосредственную связь с публикой, проверить, как воспринимает русское общество новые взгляды.

Действительность превзошла все ожидания. Уже первая лекция показала, насколько сильно влечение общества к живому слову и сильным мыслям. «Ну, брат, и Москва отличилась,— писал Герцен Кетчеру под свежим впечатлением от начала чтений,— просто давка, за 1/4 часа места нельзя достать, множество дам du haut parade *, и все как-то кругло идет...»

Конечно, в аудитории среди «дам всех возрастов, профессоров, студентов, статских, военных», было немало случайных людей; но совершенно прав был Герцен, отметивший в дневнике: «Мода ли, скука ли — чтоб ни вело большинство в аудиторию, польза очевидная, эти люди приучаются слушать». Грановский же — в том и была его сила — умел заворожить даже случайных слушателей; заворожить и сделать своими приверженцами. «...После первых трех, четырех чтений аудитория была совершенно симпатично настроена, внимание деятельное, напряженное виделось на всех лицах».

* В полном параде (*фр.*).

Между лектором и слушателями, писал Герцен, установилась «магнетическая связь, с обеих сторон деятельная». К концу чтений, которые длились пять месяцев, аудитория все так же ломилась от народа, а тот «фурор», который поначалу неизбежно должно было произвести такое небывалое в России событие, перерос в устойчивый одушевленный интерес, если можно так определить настроение, которое выражалось в периодических взрывах энтузиазма и в конце концов на последней лекции разрешилось «безумным, буйным восторгом».

Дело было не только «в простоте, увлекательности и пластичности» речи Грановского, не только в его исключительном обаянии и том «внутреннем сосредоточенном жаре», которым дышали его лекции. Все это было лишь средством, направленным к достижению одной цели: увлечь публику определенной системой идей, обратить ее в свою веру. В публичных чтениях Грановский предельно ясно выразил свое, уже знакомое нам, воззрение на историю как на процесс объективный, внутренне логичный и неизбежный для всего человечества, для всех народов, сохранивших способность к развитию. Об этом Грановский говорил спокойно и убежденно, избегая соблазнительных ораторских приемов, чрезмерно ярких обобщений, полемических красот. Его сила была в спокойном, ровном течении мысли, столь же логичном и захватывающем, как и тот процесс, которому он посвящал свои лекции. «Мне,— писал Герцен в статье, посвященной чтениям,— много раз приходилось слышать нелепые вопросы, почему он не высказывает яснее то, что он хочет доказать, какая цель его? Он и любит феодализм, и рад его падению и пр. Все эти вопросы, впрочем, последовательнее, нежели думают: все живое чрезвычайно трудно уловимо, именно потому, что в нем скипелось бесчисленное множество элементов и сторон в один движущийся процесс... а благоразумная рассудочность видит в нем один беспорядок, жизнь ускользает от ее грубых рук». Лекции Грановского пробивали этот заслон «благоразумной рассудочности», убеждая слушате-

лей в том, что движение жизни осмысленно и логично.

Но, как всегда, не только мысль составляла силу Грановского; его глубоко продуманные, составленные с внутренней логикой лекции дышали живым, непосредственным чувством, которое невозможно подделать, невозможно «изобразить». «Главный характер чтений Грановского,— по словам Герцена,— чрезвычайно развитая человечность, сочувствие, раскрытое ко всему живому, сильному, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь к возникающему, которое он радостно приветствует, и любовь к умирающему, которое он хоронит со слезами».

Соединенная сила мысли и чувства, умение заставить не только понять, но и полюбить предмет чтений превращали их в событие захватывающее, завораживающее, представляющее огромный интерес для русского общества. «...В то время,— писал Герцен,— когда трудный вопрос об истинном отношении западной цивилизации к нашему историческому развитию занимает всех мыслящих и разрешается противоположно, является один из молодых преподавателей нашего университета на кафедре, чтоб передать живым словом историю того оконченного отдела судеб мира германо-католического, которого самобытно развивающаяся Россия не имела...» И далее он ясно и смело определял непонятную для «благоразумных» людей цель чтения: «...Мы должны уважить и оценить скорбное и трудное развитие Европы, которая так много дает нам теперь (подчеркнуто мною.— *А. Л.*); мы должны постигнуть то великое единство развития рода человеческого, которое раскрывает в мнимом враге — брата, в расторжении — мир: одно сознание этого единства уже дает нам святое право на плод, выработанный потом и кровью Запада; это сознание с нашей стороны есть вместе мысль и любовь — оттого оно так легко; логика и симпатия всего менее теснят человека, человек создан для того, чтоб мыслить и любить».

Любовью и мыслью Грановский заставлял своих

слушателей, погружаясь во всеобщее, преодолевать косность личную и национальную. Вне всяких сомнений, его публичные чтения нанесли сильный удар по официальной идеологии. Они стали одним из самых ярких проявлений общественной борьбы в России 1840-х годов, и с этой точки зрения хорошо понятна и вполне справедлива оценка их Чаадаевым: «Лекции Грановского имеют историческое значение».

При этом оппозиционный дух чтений, отлично воспринимающийся публикой, беспрестанно будораживший ее умственно и эмоционально, был практически неуловим с точки зрения карательно-пресекающей. Грановский избегал каких бы то ни было демонстративных заявлений. «Он,— вспоминал Анненков,— ...постоянно держался с тактом и достоинством, никогда его не покидавшими, на той узкой полосе, которая отведена была ему для преподавания... Лекции профессора особенно отличались тем, что давали чувствовать умный распорядок в сбережении мест, еще не доступных свободному исследованию, он говорил все, что нужно и можно было сказать от имени науки, и р и с о в а л все, чего еще нельзя было сказать в простой форме мысли». Грановский, по словам Герцена, говорил смело — робость, реверансы перед властью, перед официальной идеологией свели бы на нет все значение его дела, и «смелость эта сходила ему с рук не от уступок, а от кротости выражений, которая ему была так естественна, от отсутствия сентенций a la francaise *, ставящих огромные точки на крошечные i... Излагая события, художественно группируя их, он говорил ими так, что мысль, несказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслью».

Таким образом, с точки зрения официальной лекции Грановского были весьма вредны; пресечь же их на «законном основании» не было повода. Волей-неволей власти приходилось переходить с твердой, надежной почвы административных взысканий и распоряжений, на которой она чувствовала себя так уверенно,

* Во французском духе (*фр.*).

в непроходимую для нее топь философских доводов и научных обобщений. Здесь, в сфере духа, приходилось полагаться уже не на III отделение, действовавшее всегда решительно и победоносно, а на уваровцев, чья способность противостоять новым веяниям была весьма и весьма сомнительной.

Чтения Грановского у них, естественно, добрых чувств не вызывали. Вот как под свежим впечатлением от лекции Грановского изливал в своем дневнике душу М. П. Погодин: «Такая посредственность, что из рук вон. Это не профессор, а немецкий студент, который начитался французских газет. Сколько пропусков, какие противоречия. России как будто в истории не бывало. Ай, ай, ай!.. Он читал, точно псалтырь, по Западу. И я, слушая его, думал об отпоре».

Погодин не только внимательно слушал лекции Грановского, он следил за той реакцией, которую вызвал публичный курс в высшем московском свете, у представителей власти. Реакция же оказалась противоречивой: многое было непонятно, «наверху» ждали разъяснений от сведущих людей. Именно так воспринял Погодин толки о Грановском и его чтениях на балу московского гражданского губернатора Сенявина. «Говорили много о лекциях Грановского, вследствие всего этого разговора у меня в голове составилась статья, которую надобно напечатать в двенадцатом номере. Я думал сначала, что ненадобно ничего говорить, но теперь вижу, что должно. Сам Строганов ждет этой статьи, как я слышал».

Действительно, в двенадцатом номере «Москвитянина» появилась статья, посвященная первым лекциям публичного курса, написанная, правда, не Погодиным, а его верным соратником Шевыревым, более способным разобраться в «историософии» чтений и дать им соответствующую оценку. Любопытно, что эта статья едва не поссорила друзей-уваровцев. Редактор «Москвитянина» со свойственной ему прямолинейной грубостью требовал от Шевырева, «чтобы он бранил Грановского и трактовал его свысока, как молодого человека». Шевырев же, ясно видевший, каким всеобщим сочув-

ствием общества пользуется их противник, не собирался «противу рожна прати»; поставив себе задачу скомпрометировать Грановского в глазах властей, он постарался выполнить ее более или менее тонко и дипломатично.

Прежде всего Шевырев в своей статье воздал должное как самому лектору («живой дар слова... речь его выдержана мыслию и проникнута искренним убеждением»), так и его лекциям (они были отнесены «к числу самых утешительных явлений московской учено-общественной жизни»). Отметил Шевырев и сильный, от лекции к лекции растущий интерес слушателей. Однако, начав за здравие, Шевырев очень скоро впал в «заупокойный» тон. Его, оказывается, совершенно не устраивали «пристрастные и односторонние» философские воззрения Грановского: «почти все школы, все воззрения, все великие труды, все славные имена науки были принесены в жертву одному имени, одной системе... скажем даже, одной книге, от которой отреклись многие ученики творца этого философского учения». Речь, конечно же, шла о Гегеле и его «Философии истории».

Шевыреву было совершенно ясно, какую позицию «истинно-русская наука» должна занять по отношению к западному просвещению: «Широко, многосторонне, беспристрастно должна быть поставлена наука у нас в Отечестве, особенно же история. Четвероликим Святовидом пусть станет она среди нашей России, где пьедестал ей чудный, отверстый на все стороны. Тогда только удостоится она, может быть, полного лицезрения истины, когда с чувством уважения изучит каждую систему, каждое воззрение, ни одну не обойдет вниманием, тем менее оскорбит или уничтожит, во всякой постарается заметить что-нибудь наверное, со всякой соберет дань честной истины...»

Сказано красно, но ведь совершенно очевидно, что воззвание Шевырева к «русской пчеле» собирать «мед в соты от всех учителей» равнозначно было принципиальному отказу от научного подхода к истории: любая методология представляет собой нечто цельное,

и брать с нее «дань честной истины» невозможно — ее нужно принимать целиком либо отвергать. Предписывая «русской науке» скакать от системы к системе, усваивая лишь «истинное», Шевырев обрекал ее на бесплодную фактологию. В который раз уваровцы демонстрировали творческое бессилие, в своих попытках противостоять «западной» науке в который раз справедливыми оказывались слова Герцена: «И как будто есть две науки в самом деле: останавливать современную науку — значит убивать вообще развитие науки и сводить преподавание на сухие исторические естествознательные, математические сведения, не связанные единой мыслью». «Четвероликий Святовид» оставался красным словцом; по сути же, из небытия вызывался дух пансионского учителя Грановского старика Бекетова с его костяной указкой и ворохом разрозненных фактов, которые нужно учить «от сих до сих» — и не более того.

Сам же Грановский, исходивший в своих лекциях из того лучшего, что могла дать современная наука, объявлялся изменником «русского дела»: он «стал в ряды западных мыслителей, там приковал себя к одному чуждому знамени...». Опорочить «немецкого руководителя» Грановского как ученого, уличить его в непоследовательности и односторонности — эта задача, естественно, была не по силам Шевыреву; он ставил перед собой задачу куда более легкую — привычной уже для уваровцев системой фраз живописал гегельянство как «лжеучение», венчающее собой ложный путь развития западной мысли. Обвинения в адрес Грановского, высказанные в статье, носили не столько научный, сколько политический характер. С точки зрения самого историка и его друзей, это был печатный донос; и Герцен 21 января с гневом писал в своем дневнике о «гнусных обвинениях, рассеиваемых Шевыревым и Погодиным и, наконец, напечатанных в «Москвитянине».

Зато статья Шевырева дала Грановскому возможность испытать, насколько прочны симпатии публики к нему и его делу. Он ответил своим противникам на

очередной лекции: «Меня обвиняют в пристрастии к каким-то системам; лучше было бы сказать, что я имею ученые убеждения; я их имею, и только во имя них я и явился на этой кафедре, рассказывать голый ряд событий и анекдотов не было моей целью. Проникнуть их мыслию...» «И тут,— пишет Герцен, воспроизведший речь Грановского в дневнике,— еще несколько слов, которые я не разобрал». Их заглушил «гром рукоплесканий и неистовое bravo, bravo...». В ответ на публичное обращение Грановского общество публично поддержало его в борьбе с противниками, в борьбе с официальной идеологией — событие в России беспрецедентное и, казалось бы, совершенно немыслимое! Вполне понятна реакция Герцена на эту сцену: «Глядя на гам и шум, у меня сердце билось и кровь стучала в голову, есть-таки симпатия. Может, после этого власть наложит свою лапу, закроют курс, но дело сделано, указан новый образ действия университета на публику, указана возможность открыто, благородно защищаться перед публикой в обвинениях щекотливых, и подтверждена возможность единодушной оценки такого подвига, возможность возбудить симпатию. Что за великое дело публичность!»

Опасения Герцена насчет последствий этой публичной схватки Грановского с уваровцами были вполне оправданны. Успех чтения приобретал все более демонстративный характер; его несоответствие официальному курсу было очевидным. «Интриганам из профессоров», получившим, по словам Герцена, «такую плюху» от общества, нетрудно было взять реванш в приемных у высокого начальства. Реакция власти не заставила себя долго ждать.

В январе граф Строганов запретил публикацию в университетских «Московских ведомостях» второй статьи Герцена, посвященной публичным чтениям Грановского. «...Может, он прав,— записывал в дневник Герцен.— Боязнь крика, попов справедлива».

Однако боязнь эта, как выяснилось, зашла весьма далеко. 7 января 1844 года Герцен с душевным смяте-

нием описывал свою беседу со Строгановым. «Я,— говорил он (Строганов.— *А. Л.*),— всеми мерами буду противодействовать гегелизму и немецкой философии. Она противоречит нашему богословию; на что нам раздвоенность, два разные догмата — догмат откровения и догмат науки? Я даже не приму того направления, которое афиширует примирение науки с религией: религия в основе...» В заключение граф сказал, что если он не успеет другим образом, то готов или оставить свое управление, или закрыть несколько кафедр».

Через несколько дней граф имел беседу на ту же тему уже с самим Грановским. «Строганов требует невозможного...— писал историк Кетчеру 14 января.— Он сказал, что при таких убеждениях я не могу оставаться в университете, что им нужно православных и т. п.». Попытка Грановского возразить: «Я не трогаю существующего порядка вещей» — не произвела на Строганова никакого впечатления. «Он отвечал, что отрицательное отношение не достаточно, что им нужна любовь, он требовал от меня апологий и оправданий в виде лекции... Он заключил словами: «Есть блага выше науки, их надобно беречь, даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и все училища».

В столь тяжелом настроении друзья еще никогда не видели Строганова. Поведение обычно сдержанного и гуманного попечителя они объясняли однозначно. «...Его кто-нибудь напугал»,— писал Грановский. «Он боится,— вторил ему Герцен,— а сначала таким горячим защитником был».

Конечно же, друзья были правы. И хотя Грановский в письме к Кетчеру снимал вину с Шевырева, надо думать, что источник всех бед крылся именно в университетских уваровцах: те обвинения в преклонении перед «безбожным» Гегелем, которые Шевырев высказывал в печати более или менее дипломатично, в частных беседах звучали куда более резко. «Шевырев рассказал о третьей лекции Грановского,— читаем в дневнике Погодина.— Христианство в стороне». И подобные разговоры уваровцы, конечно же, не огра-

ничивали узким дружеским кругом, «пугая» ими общество, начальство, правительство...

Как бы то ни было, единственная опора « в высших сферах», на которую могли рассчитывать западники, рушилась, не выдержав серьезного испытания. Привычное для «образованного меньшинства» ощущение полной беззащитности перед произволом властей обострилось в эти дни до предела. «Террор,— записывал Герцен в дневник 25 января.— Какая-то страшная туча собирается над головами немногих, вышедших из толпы. ...Строганов, испуганный, преследует порядочных профессоров требованием иначе читать, они хотят бежать из Москвы».

...Зимой 1844/45 года все обошлось. До террора дело не дошло: страсти, вызванные уваровцами, улеглись, Грановскому дали дочитать публичный курс до конца. И можно было бы сказать: у страха глаза велики, если бы погромы Казанского и Петербургского университетов в конце царствования Александра I, если бы буря, потрясшая просвещение позже, в 1848 году, если бы многие другие репрессии, направленные против тех, кто пытался отстаивать истинную науку, не доказывали, насколько обоснованы были опасения Герцена и его друзей.

Через много лет, в «Былом и думах», Герцен описывал триумф, которым завершились публичные чтения Грановского. «Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику,— все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричавшими сквозь слезы: Браво! браво! Выйти не было возможности; Грановский бледный, как полотно, сложа руки стоял, слегка склоня голову; ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились, студенты построились на лестнице — в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался измученный в совет; через несколько минут его увидели выходящего из совета — и снова бесконечное рукоплескание; он

воротился, прося рукой пощады, и, изнемогая от волнения, взошел в правление. Там бросился я ему на шею, и мы заплакали». Эти свои слезы Герцен сравнивает с другими, которые текли из его глаз в момент высшего подъема революции 1848 года в Италии, «когда герой Чичероваккио... отдавал восставшему и вооружившемуся народу римскому отрока-сына. Да, это были дорогие слезы: одними я верил в Россию, другими в революцию».

Нельзя сказать ярче и точнее: действительно, в триумфе Грановского было скрыто многое, и прежде всего он пророчил неизбежность перемен. Впервые в николаевской России общество так откровенно высказало свои симпатии к «людям движения», к тем, кто противостоял деспотическому режиму. Блестящий успех публичных чтений Грановского устранял множество мучительных сомнений — друзья были на верном пути.

ГЛАВА VII. РАЗЛАД

В конце 1843-го — начале 1844 года сближение западников и славянофилов достигло своего апогея. Постоянные дискуссии, которые велись этими, по выражению Герцена, «странными противниками», не только не разжигали нездоровых страстей, но, напротив, заставляли относиться друг к другу все с большим уважением. «Беспрерывные споры и разговоры со славянофилами,— писал Герцен в своем дневнике в январе 1844 года,— способствовали с прошлого года уяснению вопроса, и добросовестность обеих сторон сделала большие уступки, образовавшие мнение более основательное, нежели чистая мечтательность славян и гордое презрение ультраоксидентальных».

Может быть, с наибольшей силой эта «добросовестность обеих сторон» в своих взаимоотношениях проявилась в той реакции, которую в славянофильском кругу вызвал публичный курс Грановского: его небывалый успех был воспринят здесь с великим торжест-

вом, как успех общего д е л а. Непримиримый казалось бы, к западническим идеям Хомяков писал А. В. Веневитинову: «Лучшим проявлением жизни московской были лекции Грановского. Таких лекций, конечно, у нас не было со времен самого Калиты, основателя первопрестольного града, и бесспорно мало во всей Европе. Впрочем, я хвалю его с тем большим беспристрастием, что он принадлежит к мнению, которое во многом, если не во всем, противоположно моему. Мурмолка (вероятно, ты знаешь, что это такое) не мешала нам, мурмолконосцам, хлопать с величайшим усердием красноречию и простоте речи Грановского. Даже П. В. Киреевский, прославившийся, как он сам говорит, неизданием русских песен и прозвищем великого печальника земли Русской, даже и он хлопал не менее других. Ты видишь, что крайности мысли не мешают какому-то добродушному русскому единству».

В своем отношении к лекциям славянофилы были совершенно единодушны. Характерно, что самое высокое мнение о публичном курсе составили даже те из них, кто не смог воочию убедиться в его достоинствах,— волна восторга и воодушевления, вызванная этим событием, докатилась и до Петербурга, и до Белева, и до далекой Украины. Когда же в «Москвитянине» появились враждебные статьи Шевырева, то в славянофильском кругу они были восприняты весьма негативно. «Радуюсь успеху Грановского и досадую на оплошность Погодина и Шевырева»,— писал Самарин. А сам Грановский сообщал Кетчеру, что К. Аксаков «горячо стоит за меня и поссорился с Шевыркою».

Только это ощущение духовного единства сделало возможным тот «пир на весь мир», который по окончании лекций устроило «образованное меньшинство» — западники и славянофилы на паритетных началах — в честь своего славного представителя. «Пир был удачен,— вспоминал в «Былом и думах» Герцен,— в конце его, после многих тостов не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и облобызались по-русски со славянами... С обеих сторон примирение было откро-

венно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее».

Действительно, обед в честь Грановского стал пределом, дальше которого сближение славянофилов и западников не пошло. Ведь, помимо центростремительных сил, их отношения постоянно подвергались воздействию сил центробежных, и именно с 1844 года эти, последние, медленно, но верно начали брать верх.

В западническом кругу,— правда, вне Москвы — изначально был человек, который буквально воплощал в себе эти силы, раздиравшие весьма условное единство «образованного меньшинства». «С нашей стороны,— вспоминал Герцен,— было невозможно заарканить Белинского; он слал нам грозные грамоты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еще злее в «Отечественных записках».

«Неистовый Виссарион», как всегда, не признавал компромиссов. Недаром уже с начала 1840-х годов имя его стало своего рода жупелом в «славянском стане». «Панаев вспоминал, как в самый разгар «пира» в честь Грановского, под аккомпанемент дружеских тостов, К. Аксаков в беседе с ним недобрым словом поминал недавнего друга: «Ваш Петербург развращает людей... Что сделали вы с Белинским? Можно ли было ждать, что после наших дружеских отношений он позволит против меня такие выходки...»

У Аксакова были все основания для недовольства: в 1842 году Белинский подверг самому язвительному разбору брошюру К. Аксакова, посвященную гоголевским «Мертвым душам». Тогда-то имя петербургского критика и «пронеслось яко зло» в лагере славянофилов: оно стало здесь как бы символом всех пороков западничества.

На известие о том, сколь сильные чувства испытывают к нему противники, Белинский ответил своему корреспонденту Боткину письмом, подобное которому мог написать только «неистовый Виссарион»: «Если не ошибаюсь в себе и в своем чувстве,— ненависть этих господ радует меня — я смакую ее, как амброзию... Я был бы рад их мщению, и чем бы оно было действи-

тельнее, тем для меня отраднее. Я буду постоянно бесить их, выводить из терпения, дразнить».

Свое обещание критик сдержал сполна: он все резче выступал против славянофилов в печати, не стесняясь, например, оценивать их как «слабоумных», одержимых манией, «будто бы европеизм из русского человека должен сделать нерусского человека и будто бы, следовательно, все русское может поддерживаться только дикими и невежественными формами азиатского быта» и т. п. Еще более резок и непримирим был Белинский в своих письмах к московским друзьям, настойчиво проводя в них одну мысль: славянофилы — враги, и обходиться с ними следует как с врагами, избегая каких бы то ни было уступок.

Так, он весьма сурово оценил письмо Герцена, посвященное рассказу о сложных взаимоотношениях московских кружков: «... от него попахивает умеренностью и благоразумием, т. е. началом падения и гниения... Он (Герцен.— *А. Л.*) толкует, что г. Хомяков — удивительный человек, что он, правда, лежит по уши в грязи, но — видишь ты — страдает от этого». По мнению Белинского, Хомяков — «прохвост, играющий словами». «Плюю в лицо всем Хомяковым, и будь проклят, кто осудит меня за это!» — так завершал Белинский свои соображения по этому поводу, да еще и не просил, а прямо требовал от адресата письма Боткина, чтобы тот непременно показал его Герцену. Тут же, кстати, досталось и Грановскому: «Он человек хороший, хотя и шепелявый; но одно в нем худо — модерация», то есть умеренность.

Когда же до Белинского дошли вести о пресловутом «пире», он написал уже самому Герцену: «Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу...» И «шепелявый профессор» опять получил весточку от приятеля: «Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине». Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания».

Получать подобные письма от человека, которого считаешь одним из самых близких себе по духу, и в то

же время вести дискуссии с Хомяковым, печатать свои статьи в «Москвитянине» было, конечно же, затруднительно... Поначалу эти письма раздражали московских друзей Белинского: «Я сам не согласен с ними (славянофилами.— *А. Л.*),— писал в дневнике Герцен под свежим впечатлением от одного из них.— Но Белинский не хочет понять истину в fatras * их нелепостей». По словам Анненкова, Грановский точно так же «смотрел не совсем одобрительно на некоторые полемические выходки Белинского, которыми затрагивались личности...». И все же... Если для Герцена и Грановского славянофилы были в лучшем случае «nos amis les ennemis **, то Белинский и в самых дерзких своих выходках оставался близким другом. Они «не допускали и мысли о потворстве славянско-народной партии в ее жалобах на бесцеремонность критика...».

В доказательство своих слов Анненков приводил эпизод, действительно в высшей степени характерный. Когда в 1842 году в «Отечественных записках» появился памфлет Белинского «Педант», то непосредственный объект этой весьма чувствительной сатиры — Шевырев — публично обратился к Грановскому с негодующим вопросом: «Неужели после такой статьи он, Грановский, еще решится подать публично руку Белинскому при встрече?» — «Как! подать руку,— отвечал Грановский, вспыхнув,— на площади обниму!»

Главным действующим лицом здесь был уваровец Шевырев, который, как мы знаем, и без внушений из Петербурга вызывал у Грановского сильную антипатию. И тем не менее Анненков вполне уместно привел этот эпизод в своем рассказе о разладе западников со славянофилами. В том-то все и дело, что в славянофильском учении западники различали отнюдь не только родственные черты; с их точки зрения, во многом оно слишком близко соприкасалось со зловещей теорией «официальной народности».

Когда речь заходила об оценке родной действительности — «гнусной», безотрадной, взывавшей к ре-

---

* Ворох (*фр.*).

** Друзья-враги (*фр.*).

шительным переменам,— Грановский, Герцен и прочие западники справедливо видели в славянофилах своих друзей-единомышленников. Несмотря на разные, диаметрально, казалось бы, противоположные конечные цели, западники сходились со славянофилами в определении сути грядущих перемен. Анненков был совершенно прав, когда писал, что связь между этими учениями «заключалась в одинаковом сочувствии к порабощенному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже на нем основанного». Отмена крепостного права, изменение политических условий жизни в России — вот на чем сходились славянофилы и западники; вернее, должны были бы сойтись. Ведь столь же прав был Анненков и в своем замечании, что «покамест никто еще не хотел видеть сродства в основном мотиве, двигавшем обе партии...».

В 1840-е годы в России не только нельзя было предпринять никаких серьезных шагов к изменению существующего строя — даже обсуждать этот вопрос на «нейтральной почве» московских салонов не представлялось возможным... Здесь говорили лишь на темы более или менее отвлеченные: философские, исторические,— и подобные дебаты, в конце концов, начинали заглушать глубинное ощущение единства. В религиозно-православных мотивах славянофильства, в восхищении допетровской стариной, в отпевании «гнилого Запада» Грановскому, Герцену и их друзьям слышался уваровский лозунг «православие, самодержавие, народность», звучавший погребальным звоном по их собственным мечтам и надеждам. Здесь они становились решительными врагами славянофилов; никакого компромисса на этой почве достичь было невозможно.

Белинский чуть ли не с самого зарождения двух учений настойчиво выдвигал на первый план враждебную западникам сторону славянофильства, не желая слышать ни о каких смягчающих обстоятельствах. Грановский и Герцен столь же настойчиво пытались отыскать в славянофильской доктрине «зерно истины». Но постепенно и им начал застилать глаза жар полеми-

ки... «Открытая ненависть» славянофилов к Западу все больше пугала сторонников западного пути развития, которые считали, что это сильное чувство неизбежно ведет к отрицанию «свободы мысли, права, всех гарантий и всей цивилизации». Дискуссии о «выборе пути», несмотря на свою отвлеченность,— а может быть, именно вследствие ее,— становились все более ожесточенными.

Некоторые события московской общественной жизни еще больше подлили масла в огонь. Серьезную роль в обострении взаимоотношений западнического и славянофильского кружков сыграл публичный курс Шевырева, который он начал читать осенью 1844 года. По сути, курс явился первой попыткой систематического обозрения древнерусской литературы; Шевырев добросовестно проработал массу источников; читал с большим воодушевлением... Однако несомненные достоинства шевыревского курса оставили западников совершенно равнодушными: предмет лекций был им чужд и не интересен; концепция же Шевырева, выдержанная в религиозно-нравственном духе, представлялась просто вредной... «Трудно было,— писал Герцен,— возбудить сочувствие, говоря о прелестях духовных писателей восточной церкви и подхваливая греко-российскую церковь...» К тому же «Шевырев портил свои чтения тем же, чем портил свои статьи,— выходками против таких идей и книг, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог». Грановский, в свою очередь, лучшей характеристикой шевыревского курса считал тот «исступленный восторг», в который он приводил наиболее одиозных представителей православно-охранительного направления в московском обществе.

В западническом кругу отношение к чтениям Шевырева было однозначно: их восприняли как демарш отъявленного уваровца, который «никак не мог примириться с колоссальным успехом лекций Грановского и вздумал побить его на собственном поприще»... Славянофилы же расценили эти чтения как с в о й демарш. «После Грановского дело трудное и опасное,— писал

Хомяков.— Наш Шевырев вышел из затруднения с торжеством. Он пробуждает сильный интерес, и если не равняется с соперником в ораторских достоинствах, то превосходит его в пробуждении интересов жизненных и духовных». Сходную оценку давал шевыревскому курсу и И. Киреевский, выступивший в печати со статьей, в которой не жалел высоких слов для похвал лектору, «оживляющему забытое, воссоздающему разрушенное». Иначе и быть не могло: основное направление курса Шевырева отвечало самым заветным мыслям духовных лидеров славянофильского кружка — ведь в нем так последовательно проводилось противопоставление России и Запада, так ярко, по словам Киреевского, выражался «тот глубоко значительный смысл древнерусского просвещения, который оно приняло от свободного воздействия христианской веры на народ, не закованный в языческую греко-римскую обрядность, не завоеванный другим племенем, но самобытно, мирно, без насилия и христиански возраставший из глубины духовных убеждений в благоустройство внешней жизни».

Все основные положения славянофильской доктрины постольку, поскольку они обращались к прошлому, были здесь налицо (о настоящем же и будущем России в лекциях Шевырева речи не было). Поэтому неудивительно, что Киреевский, искренне считавший, что Грановский ближе ему по духу, чем многие славянофилы, столь же искренне пел дифирамбы его непримиримому противнику Шевыреву... Подобная демонстрация идейного единства с человеком, которого западники считали одним из самых ярких адептов официальной идеологии, естественно, порождала в их кругу невеселые размышления.

Осень 1844 года явилась рубежом, за которым пути славянофильства и западничества разошлись всерьез и надолго. Недаром Герцен еще в сентябре, как бы в предчувствии неизбежного разрыва, записал в дневник после непривычно резких характеристик Хомякова и К. Аксакова, после сожаления о «странности» И. Кире-

евского: «Белинский прав. Нет мира и совета с людьми до того розными».

Это тяжелое настроение ярко проявилось в событиях, которые, казалось бы, могли сплотить «образованное меньшинство». Дело в том, что М. П. Погодин, у которого давно уже прескверно шли дела с изданием «Москвитянина», решил наконец передать редакцию журнала в другие руки, оговорив для себя, впрочем, определенные права. Переговоры с разными людьми, близкими ему по духу, Погодин вел с весны 1844 года. В конце концов он остановил свой выбор на И. Киреевском.

Первые известия о перемене редакции единственного «толстого» журнала в Москве были восприняты среди западников с радостью и надеждами. «Дай-то бог,— писал Герцен Кетчеру в марте,— чтобы «Москвитянин» перешел в добрые и честные руки... тогда можно было бы в самом деле не посылать к идеалу неделикатности Андр. Ал. (Краевскому.— *А. Л.*) статьи». А Грановский в июне с удовольствием сообщал жене, что Киреевский «почти решился взять «Москвитянин» и рад, что у нас (разрядка моя.— *А. Л.)* может быть свой журнал». Другими словами, это событие расценивалось лидерами западничества как общее достижение «образованного меньшинства». Правда, Грановский оговаривал: «Киреевский очень хорошо понимает, что нам невозможно быть постоянными сотрудниками в журнале, которому он хочет дать один характер», но «с ним сойтись нетрудно».

Однако осенью, когда начались переговоры об участии западников в новом «Москвитянине», тон их был уже совершенно иным. Грановский в письме к новому редактору, не отказываясь от сотрудничества в принципе, решительно возражал против того, чтобы его имя появилось на обложке журнала в списке постоянных сотрудников, рядом с именами Шевырева и Погодина. Герцен же, который в ноябре 1844 года беседовал на эту тему с И. Киреевским, от имени всех западников отказался уже целиком от какого бы то ни было сотрудничества, по крайней мере до тех пор, пока не вый-

дут первые книжки и не прояснят «физиогномию» журнала. «...Ив. Вас. не дошел до последней точки москвизма,— пояснял в дневнике Герцен свою позицию,— но вся его партия щеголяет дикими и исключительными антигуманными мыслями». Характерно, что присутствовавший при этой беседе Хомяков согласился с Герценом и «присовокупил, что он не дал бы статьи Грановскому». Герцен, как всегда, не остался в долгу: «Я заметил ему, что, проводя ту же консеквентность, Грановский не взял бы и не поместил бы ее».

Весь этот откровенно враждебный тон как нельзя лучше отражал перемены во взаимоотношениях кружков. Недаром следующая запись в дневнике Герцена гласит: «Более и более расхожусь с славянами... Из манеры славянофилов видно, что если б материальная власть была их, то нам бы пришлось жариться где-нибудь на лобном месте».

Время показало, что Грановский и Герцен были правы в своем сдержанном отношении к «Москвитянину» — его новый редактор отнюдь не проявил способности к компромиссам, необходимым при любом сотрудничестве. Принимая «Москвитянин», Киреевский откровенно писал Погодину, что одна из главных задач, ради которой он берется «за это дело», — «задавить петербургских». Под «петербургскими» подразумевались сотрудники «Отечественных записок», и прежде всего Белинский,— то есть «давить» Киреевский собирался то западничество, московских представителей которого приглашал к участию в журнале...

Киреевский немало сделал для оживления журнала. Первый номер нового «Москвитянина» (январский за 1845 год) произвел в русском обществе нечто вроде сенсации, причем отнюдь не только среди единомышленников редактора. «Грановский, известный противник нашего мнения, признает, что такого номера он не только из русских, но и из иностранных журналов не знает»,— с торжеством писал Хомяков Веневитинову. Герцен в статье «Москвитянин» и Вселенная» иронически распрощался со старым, погодинским, журна-

лом, и даже Белинский признал, что первая, а затем и вторая статьи Киреевского — это «не то, что было».

В самом деле: новый «Москвитянин» привлек к себе лучшие силы славянофильского лагеря. При этом главное место в журнале, несомненно, занимали статьи самого редактора. Получив после долгого вынужденного молчания возможность выступить в печати, Киреевский сразу же заговорил в полный голос; славянофильская доктрина была изложена на страницах «Москвитянина» с присущим ему талантом и последовательностью. Однако, как вскоре выяснилось, в первых статьях Киреевский лишь разворачивал силы, выводил на линию огня артиллерию и вел, так сказать, разведку боем. Затем он пошел в наступление по всему фронту, начав, как и было задумано, «давить» противников. Полемический прием, избранный им для этой цели, ясно показывал, что время дружеских бесед в московских салонах безвозвратно миновало: Киреевский проводил почти полную аналогию между «Отечественными записками» и анекдотически обскурантским журналом «Маяк» — первый, по его мнению, так же бездумно поклоняется всему западному, как второй — восточному... «Не читая один журнал,— писал Киреевский,— можно знать его мнения из другого, понимая только все слова в обратном значении».

Подобный выпад сводил на нет возможность добросовестной полемики «с открытым забралом»: Киреевский отказывался признать за «Отечественными записками» какую бы то ни было серьезную программу, изображая их как журнал легковесных недоумков, не способных серьезно размышлять и глубоко чувствовать. А ведь «Отечественные записки» были отнюдь не только журналом Белинского; в них постоянно сотрудничали Герцен, Грановский, Боткин, Кудрявцев — это был признанный орган западничества. Удар, нанесенный «Отечественным запискам», неизбежно должен был быть воспринят каждым из авторов журнала как личное оскорбление. После этой «диверсии» едва ли кто из западников испытал чувство неловкости, когда Белинский, сперва ответив оппоненту в «Литературных

и журнальных заметках», затем превратил свою статью о «Тарантасе» Соллогуба в неприкрытый памфлет, направленный против Киреевского...

Вообще в это время почти в каждой своей статье Белинский пытался нанести славянофилам удар почувствительней. Еще резче и отчетливей, нежели прежде, он утрировал их мнения, ставил их в ряды тех, кто «проклинает науку, изрыгает пьяные хулы на просвещение и все это во имя народности, не подозревая, в простоте ума и сердца своего, что это совсем не народность, а площадная простонародность...». В обзорной же статье «Русская литература в 1844 году» он безжалостно обрушился на творчество двух самых видных поэтов славянофильского лагеря — Хомякова и Языкова.

И в данном случае Белинский выступал от лица всего круга западников; более того, на этот раз он не столько сам отражал удар, нанесенный противником, сколько защищал близких ему по духу людей. Его язвительная критика стихов, «навеянных славянофильской музой», была, несомненно, отзвуком той очередной распри, которая, начавшись в конце 1844 года, ухудшила и без того напряженные отношения между двумя лагерями.

Непосредственным поводом к новой «брани» явились стихи Н. М. Языкова «К не нашим», которые в это время стали распространяться в списках в московском обществе.

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь! внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой — жалкий ли старик,
Ее торжественный изменник,
Ее надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;

Иль ты, невинный и любезный
Поклонник темных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
. . . .
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет проклятый ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И русских Бог еще велик!

Адресаты «послания» сомнений не вызывали: Чаадаев, Грановский, Герцен. Не вызывал сомнений и источник этого пасквиля. Тяжело больной Языков, этот «некогда любимый поэт» русской молодежи, после того, как пережил в конце 1830-х годов глубокий душевный кризис, обратился к ортодоксальному православию. Общество он почти не посещал, сохранив тесные дружеские связи лишь со славянофилами, в кругу которых его чрезвычайно ценили и любили. С двумя из трех объектов своей «сатиры» Языков вообще был незнаком: с Герценом он встречался один раз, с Грановским — ни разу. Среди западников не возникло ни малейших сомнений в том, что исполненное ненависти стихотворение написано не случайно. После первых же слухов о ходящих по рукам «ругательных стихах на Чаадаева, Грановского и Герцена» последний записал в дневнике: «Я не читал это произведение славянофильских наущений Хомякова...»

Дальнейшие события доказали правоту Герцена: славянофилы, многие из которых не одобряли тона, в котором были написаны и первое стихотворение и следующие, расцененные западниками как еще «более оскорбительные и подлые», тем не менее отрекаться от этих выступлений Языкова не собирались. Так же, как в свое время Грановский Белинского, они готовы были без всяких колебаний «на площади обнять» поэта. Поскольку славянофилы заняли подобную позицию, Герцен, Грановский и их сторонники посчитали невоз-

можным сохранять со своими оппонентами дружеские отношения...

Такова же была и точка зрения самих славянофилов. После того как объяснения враждующих сторон чуть было не привели к дуэли между Грановским и П. Киреевским, раскол стал неминуем.

Он прошел «по всей линии», разведя лучших представителей «образованного меньшинства» по враждебным лагерям. С этого времени дружеские связи между западниками и славянофилами порываются; полемика же на страницах печати приобретает все более резкий тон. Впрочем, нужно отметить, что эта откровенная вражда, вместо прежней «дружбы-вражды», вызывала и в том и в другом кругу взаимное горькое чувство. Даже непримиримый Хомяков писал Самарину: «Досадно, когда видишь, что Загоскин (хоть он и славный человек) с нами, а Грановский против нас: чувствуешь, что с нами заодно только инстинкт... а ум и мысль с нами мириться не хотят». Позже, когда до славянофилов дошли слухи о разладе между Грановским и Герценом (о чем речь ниже), в их кругу всерьез выражали надежды на «обращение» историка.

Надежды оказались тщетными: после разрыва со славянофилами в 1845 году Грановский так никогда более и не подал им руки. Более того, с годами отношение историка к славянофильству стало еще враждебнее. В октябре 1855 года, за несколько дней до смерти, он писал Кавелину, склонному в преддверии близких перемен отнестись к противникам более или менее снисходительно: «Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиною. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новой истории. Я до смерти рад, что они затеяли журнал... Этому воззрению надо высказаться до конца, выступить наружу во всей красе. Придется поневоле снять с себя либеральные украшения, которыми морочили они детей, таких, как ты. Надобно будет сказать последнее слово системы, а это последнее слово — православная патри-

архальность, не совместимая ни с каким движением вперед». Ни о какой «дружбе-вражде» здесь, как видим, не было уже и речи...

* * *

В ожесточенных спорах с идейными противниками западничество крепло, сплачивало ряды и все больше распространяло свое влияние на русское общество. Свидетельством тому явилось знаменитое «соколовское лето» 1845 года, запечатленное самыми яркими красками в воспоминаниях многих современников.

Этим летом Герцен с семьей жил под Москвой в Соколове. «Прекрасно провели мы там время,— вспоминал он много лет спустя.— Никакое серьезное облачко не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке...» Кетчер тут же снимал маленький домик; Грановский и Корш приезжали с семьями «почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник». Неподалеку снимал дачу актер М. С. Щепкин, свой человек в западническом кружке; он тоже частенько заглядывал к Герценам.

Все это были близкие друзья, полноправные члены «соколовского семейства»; прочих же гостей и посетителей Соколова трудно и перечислить: за лето здесь, казалось, побывала вся Москва. П. В. Анненков вспоминал: «В середине лета подмосковное село это образовало нечто вроде подвижного конгресса из беспрестанно наезжавших и пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, которые, видимо, все имели цель перекинуться идеями и известиями друг с другом». Соколово превратилось в сборный пункт лучших культурных и общественных сил Москвы; да и из Петербурга постоянно наезжали гости. Один из них, И. И. Панаев, вспоминал: «Время, проведенное мною в Соколове, я никогда не забуду... Чудные дни, великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца и в лунные ночи, наши прогулки, наши обеды на ши-

рокой лужайке перед домом, послеобеденное farniente* на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры, никогда не доходившие до неприятного раздражения, увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие заметки Корша, дикий, но добродушный хохот Кетчера, размахивающего длинным чубуком,— все это вместе было так хорошо, так полно жизни, поэзии...»

В это время члены дружеского кружка несомненно ощущали душевный подъем: они были молоды, талантливы, много работали, и работали успешно. Правительство, несмотря на все его стеснительные меры, было не в силах помешать пропаганде «чуждых учений и взглядов», которую всеми возможными средствами вел дружеский кружок. Будущее будет за ними, за «людьми движения» — к 1845 году у западников не оставалось в этом никаких сомнений. Атмосфера удивительной душевной бодрости окружала в это время Грановского, Герцена и их друзей. Чичерин, рассказывая об этой эпохе, очень к месту вспоминал восклицание Грановского, вырвавшееся у него как-то раз, вне всякой связи с предыдущим разговором: «А ведь хороша жизнь!» «Счастливо время, когда подобные слова могут вырываться у людей с такими высокими умственными и нравственными потребностями! — восклицал, в свою очередь, Чичерин, меланхолически добавляя: — Увы! прошло несколько лет, и все это было беспощадно раздавлено...»

Действительно, надвигались тяжелые времена. Но угроза шла не только извне, со стороны правительства; тяжелыми испытаниями чреваты были и внутренние разногласия, которые вспыхнули в кружке вскоре после лета 1845 года. «В этом поэтическом чаду,— писал Панаев,— вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, сле-

---

* Ничегонеделанье (*фр.*).

дующее за этим разъединение, долгие непредвиденные разлуки и близкие преждевременные могилы».

Мы видели, как в ожесточенных спорах со славянофилами «образованное меньшинство» дало первую трещину. Но этот разрыв, хотя и породил в кружке западников тяжелые раздумья, не казался роковым, наносившим удар общему делу; славянофилы изначально воспринимались здесь отнюдь не только как свои — «чужого», неприемлемого для западников в их мировоззрении было вполне достаточно... То, что это «чужое» оказалось сильнее общего, огорчало, но в этом виделось нечто закономерное. В то же время у западников сложилось убеждение, что разрыв со славянофилами был не только неизбежен, но и полезен: борьба с ними сплотила кружок и усилила его влияние в русском обществе. Иное дело, когда ожесточенные споры стали безжалостно рушить живую ткань этого узкого круга, идейные и дружеские связи между самыми близкими людьми.

А между тем расхождения эти были столь же закономерны, как и разрыв со славянофилами; в расколе западнического круга со всей полнотой проявил себя все тот же процесс самоопределения различных групп молодого русского общества, обретавших в напряженных духовных поисках свое классовое сознание. Эту фатальную неизбежность разрыва прекрасно сознавал Герцен, писавший в «Былом и думах»: «После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда — я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся».

Начало разладу между западниками положили споры о боге и бессмертии души. Тема, казалось, была весьма отвлеченная: в отличие от славянофильства западничество и в теории, и на практике отодвинуло религиозные вопросы на задний план. Однако отодвинуть — не значит разрешить. В самой религиоз-

ной индифферентности западников крылось глубокое противоречие: ведь в составляющем основу их мировоззрения гегельянстве движущей силой мироздания объявлялся абсолютный дух, то есть божественное начало. И, апеллируя в своих трудах прежде всего к человеческому разуму, Гегель не только не отрицал веру в разум божественный, но скорее предполагал ее в своих последователях.

Именно в этом славянофилы и находили величайшую непоследовательность гегельянства, а с ним и всего западного просвещения. Они очень четко уловили глубокое противоречие между диалектическим методом Гегеля, основанным на законах логики, и всей его системой, в которой рационализм искусственно примирялся с христианством. Примирение сие невозможно, решительно заявляли славянофилы и предлагали своим противникам выбор: либо христианство и безоговорочная вера, либо опора на разум — и атеизм. Расчет был верен: у подавляющего большинства оппонентов славянофильства опускались руки и немел язык, когда их ставили перед подобной дилеммой — им оставалось только клясть Хомякова и К° за бесчестные полемические приемы.

В большинстве своем западники были людьми религиозными: пусть они верили в бога не по-православному и не по-протестантски, а по-гегельянски, но все же верили. Их вера была разной силы и по-разному проявлялась. Так, главу «Былого и дум», посвященную разрыву с друзьями-западниками, Герцен начинал с рассказа о весьма характерной шутке тяжело больного Крюкова, объяснившего ему, почему Редкин опустил штору на окне, заслышав приближение грозы: «... Редкин верит in die Personlichkeit des absoluten* и потому завешивает окно, чтоб ему не было видно, куда целить, если вздумает в него пустить стрелу».

У Редкина хватало наивности т а к верить; у ждавшего смерти Крюкова хватало силы т а к шутить...

* В личность абсолютного духа (*нем.*).

Грановский до веры в личность абсолюта никогда не доходил. Вообще трудно сказать, насколько искренней и органичной была его вера. Очень любопытно свидетельство Б. Н. Чичерина, который в молодые годы сам, склоняясь к атеизму, немало спорил со своим учителем на эту тему. Грановский, в частности, говорил ему, «что никогда так не чувствовал п о т р е б н о с т и (разрядка моя.— *А. Л.*) загробного существования, как на могиле друга, когда невольно думаешь: «Неужели эти останки для тебя все равно что эта бутылка?» Искренне же и последовательно православный С. М. Соловьев вспоминал, что Грановский любил заводить с ним разговоры о христианстве, «высказывая к нему самую сильную симпатию, проговариваясь о з а в и с т и (разрядка моя.— *А. Л.*), которую чувствовал к людям верующим».

Итак, Грановскому вера была «потребна», более того, необходима — без нее он чувствовал себя неуютно в этом жестоком мире. И, надо думать, вера была дана ему — та вера, которую он заслуживал, та вера, до которой доходят разумом, поскольку ее нет в душе, хотя разуму, как известно, куда более свойственно веру разрушать... Столь же искусственно приобщались к христианству и многие другие западники, будучи не в силах совершить ту «внутреннюю революцию», к которой подводил весь пройденный ими путь духовного развития,— отказаться от веры в высшую силу, личное бессмертие и проч. Так же, как и в отношении Грановского, искренность и органичность их верований остаются под большим сомнением; это чутко уловил Герцен, писавший о себе и своих друзьях: «Идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам — и это не потому, что мы их розно понимали, а потому, что они не всем н р а в и л и с ь».

Недаром с такой охотой и радостью принимали западники гегельянство, примирявшее непримиримое. Но за компромисс приходилось платить и, в частности, полным бессилием перед логикой А. С. Хомякова, буквально пальцем указывавшего на вопиющие противоречия и самого Гегеля, и его учеников, ока-

завшихся не в состоянии примирить разум и веру. А между тем ответить Хомякову должным образом было не так уж трудно, но для этого следовало принять его правила игры и столь же ясно и определенно, как он говорил «да», сказать «нет».

Всю силу подобной последовательности в полной мере продемонстрировал Герцен сразу же по возвращении из новгородской ссылки, в которой он осваивал Гегеля, осваивал критически, не пропуская слабых мест его системы. К тому же в Новгороде Герцен еще до «сшибок» с Хомяковым приобрел достойную противницу — Л. Д. Филиппович, споры с которой помогли ему многое уяснить и в гегельянстве, и в своем собственном мировоззрении. Эта очень умная, образованная женщина, пережившая тяжелую семейную драму, нашла себе убежище в религии, в мистицизме. По избранному пути она пошла до конца; логика ее рассуждений стоила хомяковской: «У Ларисы Дмитриевны все было кончено, тут не было сомнений, шаткости, теоретической слабости; вряд ли иезуиты и кальвинисты так стройно последовательны своему учению, как она. ...Нападки ее на мою философию были оригинальны. Она иронически уверяла, что все диалектические подмостки и тонкости — барабанный бой, шум, которым трусы заглушают страх своей совести.— Вы никогда не дойдете,— говорила она,— ни до личного бога, ни до бессмертия никакой философией, а храбрости быть атеистом и отвергнуть за гробом у вас у всех нет. Вы слишком люди, чтобы не ужаснуться этих последствий, внутреннее отвращение отталкивает их — вот вы и выдумываете ваши логические чудеса, чтобы отвести глаза, чтоб дойти до того, что просто и детски дано религией».

Против этого трудно было что-либо возразить, потому что это было истиной. Герцен тем не менее спорил, мучился от двойственности своей позиции, ночи просиживал над Гегелем, пока не нашел доводов столь же истинных, как и возражения Филиппович против философии,— и доводы эти были достойны революционной натуры Искандера. «Вы совершенно правы,—

сказал я ей,— и мне совестно, что я с вами спорил; разумеется, что нет ни личного духа, ни бессмертия души, оттого-то и было так трудно доказать, что они есть. Посмотрите, как все становится просто, естественно без этих впереди идущих предположений».

После этого спор на аналогичную тему с Хомяковым был для Герцена лишь повторением пройденного. «Тяжеловооруженный» Хомяков действовал, как всегда, наверняка: он весьма убедительно доказывал, что рациональный подход к природе неизбежно приводит к выводу о бесцельности ее развития, об отсутствии в ней разумного начала и, следовательно, не дает никаких гарантий в том, «что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой». Так же, как и в споре с Филиппович, Герцен кротко согласился со всеми доводами своего оппонента. «— Как? — сказал Хомяков, несколько удивленный,— вы можете принимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции и в вашей душе ничего не возмущается?— Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.— Ну, вы по крайней мере последовательны...»— этим замечанием Хомякова, обескураженного тем, что противник отбил атаку его же оружием, и завершился спор — спорить, собственно, было не о чем...

Переход от рассудочной, насквозь противоречивой «полуверы» к ясному, цельному материалистическому мировоззрению естественно и органично сопровождался у Герцена решительной переменой позиций и в сфере непосредственно философской: Гегеля здесь сменил Фейербах. В «Былом и думах» Герцен сам связал воедино эти яркие события своей духовной жизни, вспоминая, как через два-три месяца после того, как в ожесточенных спорах с Филиппович его озарила истина, Огарев привез в Новгород Фейербахову «Сущность христианства»: «Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы».

Под влиянием нового авторитета Герцен сделал решительный шаг от овладения гегельянством к критике его слабых сторон, четко выделив главную из них: вопиющую непоследовательность этого философского учения. В «Письмах об изучении природы»— лучшем из сочинений Герцена, написанных на русской земле,— он сумел выразить главный результат своей напряженной духовной работы: для того чтобы продвигаться дальше по пути познания природы и человека, необходимо преодолеть идеалистическую систему Гегеля, взяв на вооружение его метод. Предельно ясно указывал Герцен своим читателям этот путь, ведущий от идеализма к последовательному материалистическому мировоззрению. Авторитет должен быть повержен, хотя бы это и был сам Гегель, во имя той истины, которая в зародыше содержалась в его собственном учении.

Кто из дружеского кружка способен был пойти по этому пути? Прежде всего, конечно же, самый «близкий по духу»— Н. П. Огарев. В первой половине 1840-х годов Огарев был за границей, но духовная связь между друзьями не прерывалась. «Мы,— писал Герцен,— разными путями прошли те же пространства...» Письма Огарева в не меньшей степени, нежели дневниковые записи его задушевного друга, были насыщены критикой Гегеля и его излишне правоверных последователей; когда в начале 1846 года Огарев вернулся из-за границы, Герцен с удовлетворением убедился в том, что его друг «был в том направлении», что и он сам.

В середине 1840-х годов Белинский, по свидетельству Панаева, так же переживал «внутренний переворот»: «К гегельянизму вообще он охладевал немного, о гегельянцах правой стороны он отзывался с негодованием и желчью, но обнаруживал большое сочувствие к гегельянцам левой стороны». Таким образом, и здесь решительный шаг был сделан.

Какое-то время Герцен, очевидно, надеялся, что это лишь начало общего движения в западническом кругу. Однако ему пришлось пережить глубокое разочарование в тех, кого он считал своими единомышленниками.

«Шаг этот был нелегок, но я верил и в силы и в волю наших друзей, им же не вновь приходилось искать фарватер, как Белинскому и мне... У них был наш пример перед глазами и Фейербах в руках. Долго не верил я, но наконец убедился, что если друзья наши и не делят образа доказательств Редкина, то в сущности все же они с ним согласнее, чем со мной, и что при всей независимости их мысли есть еще истины, которые их пугают». В Москве Герцен с Огаревым оказались в разладе со всем кружком. И самое печальное было в том, что в этих идейных разногласиях им прежде всего противостоял человек, которого Герцен привык считать, так же как и Огарева, своим ближайшим другом, своим «духовным близнецом».

Ожесточенные споры, разрушившие духовное единство московского кружка, разгорелись все в том же Соколове ровно через год после столь удавшегося «дачного сезона» 1845-го. Новое лето друзья встречали в приподнятом настроении — Соколово было окончательно колонизовано кружком: кроме Герцена и Кетчера, здесь поселились Огарев и Грановские. Предстояло несколько месяцев совместной жизни, дружеского общения с близкими по духу людьми. Ничто, казалось, не предвещало надвигающуюся ссору, но... «Кому не случалось приготовлять пир, заранее радуясь будущему веселью друзей, и вот они являются; все хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается...»

Ощущение внутреннего разлада с Грановским, Коршем, Кетчером, другими членами кружка становилось все острее, и Герцен, не выносивший «фигур молчания» между близкими людьми, все чаще разжигал споры, яркий образчик которых он приводит в «Былом и думах».

Началось все с искренней похвалы Грановского одному из герценовских «Писем об изучении природы»; с точки зрения историка, «мнения Герцена», несмотря на их односторонность, «будят человека и толкают вперед». Герцен тут же отреагировал на «односторонность»: он счел похвалу друга весьма нелогичной, по-

скольку Грановский был не согласен с мнениями, выраженными в статье; так стоит ли, спрашивал Герцен, будить людей «только для того, чтобы им сказать пустяки?».

В ходе разгоревшегося спора Герцен поставил Грановского перед той же дилеммой, к которой так любил подводить (правда, с другой стороны) своих противников Хомяков: или вера, или научное, рациональное мировоззрение. «...Я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее обязывают нас к принятию кое-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что однажды указанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причин и действия, духа и материи».

Позиция Грановского была чрезвычайно уязвимой. Отвергнуть во имя веры «западную школу» он, естественно, не мог и не хотел; отказаться во имя разума от веры не хватало внутренних сил. Он предпочел вообще уйти от выбора, оставив при себе все свои сомнения и противоречия. «...Все это так мало обязательно,— возразил Грановский, слегка изменившись в лице,— что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступаться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо».

В конце концов, все эти безысходные споры привели к ссоре... Духовная близость друзей, которая казалась безграничной, рухнула. «Точно кто-нибудь близкий умер,— вспоминал Герцен,— так было тяжело». Подавляющее большинство московских западников поддержали Грановского; Герцен с Огаревым остались в одиночестве.

Впрочем, полного разрыва вплоть до отъезда Герцена за границу не было; да и потом переписка между ним и московскими западниками продолжалась. Но «все подернулось чем-то темным и матовым; непринужденность, полный abandon * исчезли в нашем

* Откровенность (*фр.*).

круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, т. е. действительно отступили на «границу химического сродства»,— и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренне и много любили друг друга».

* * *

Так отвлеченные споры породили вполне реальный раскол. Можно ли было его избежать? Задавая себе этот вопрос, Герцен много лет спустя писал: «Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал... Может быть... но, в сущности, я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество религии необходимо... Еще бы у нас было неминуемое дело (разрядка моя.— *А. Л.*), которое бы нас совершенно поглотило, а то ведь, собственно, вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... Какие же могли быть уступки на этом поле?..»

Вывод Герцена о неизбежности идейных разногласий в кружке безусловно верен. А вот с последней мыслью автора «Былого и дум» согласиться трудно: в «неминуемом деле» разногласия должны были сказаться с еще большей силой, нежели в «сфере мышления». Характерно, что такой чуткий наблюдатель, как Анненков, вообще считал «метафизические споры» вторичными для кружка. Описывая «раскол в московском отделе западничества», он отмечал, что «оба главнейшие его представители, Герцен и Грановский, разошлись по вопросам, возникшим, в конце концов, на почве той самой западной цивилизации, явлениями которой они так занимались. Толчок к новому подразделению партии дали уже идеи социализма (разрядка моя.— *А. Л.*) и связанный с ними переворот в способе относиться к метафизическим представлениям». Анненков был совершенно прав: в конечном итоге именно воззрения членов кружка на будущее человечества были определяющими, а друзья расходи-

лись в этом вопросе ничуть не меньше, чем в своем отношении к потустороннему бытию.

В феврале 1843 года Герцен с горьким чувством писал в своем дневнике о тех, кого буржуазный строй Западной Европы доводит до нищеты, толкает на преступления и самоубийства. Его, в частности, возмущали французские газеты, сообщавшие о различных «инцидентах» этого рода с «чрезвычайным хладнокровием», как о чем-то само собой разумеющемся. Между тем «подобные случаи выставляют разом во всей гнусности современное общественное состояние». По твердому убеждению Герцена, «не может человечество идти далее в этих путях незакония. Но как выйти?». Человек, с юности усвоивший идеалы социализма, не мог затрудниться в ответе на этот вопрос. Во всяком случае, «общий смысл предстоящей реформации» был для Герцена ясен: «Общественное управление собственностями и капиталами, артельное житье, организация работ и возмездий и право собственности, поставленное на иных началах...» И как бы поясняя, из какого источника почерпнуты все эти соображения, Герцен писал: «Фурьеризм... всех глубже раскрыл вопрос о социализме...»

Разногласия в этом вопросе были, конечно, столь же неизбежны, как и в «вопросах метафизических». Пока речь шла об «европеизации России» — об освобождении личности, переустройстве государственного и общественного строя «на западный лад» и пр. — друзья легко понимали друг друга, ибо это было общее дело. Но для большинства западников на нем замкнулись все мечты и надежды. Герцен же в освобождении России от оков прошлого видел лишь начало пути, того пути, вступив на который она вместе с Европой, вместе со всем человечеством должна прийти к справедливому социальному строю.

И здесь так же, как и в решении «основных вопросов бытия», рядом с Герценом были лишь Огарев и Белинский. На московских друзей во главе с Грановским надежды было мало...

Впрочем, поскольку речь идет о Грановском, необ-

ходимо отметить, что его отношение к «идеям социализма» было далеко не столь однозначно отрицательным, как у большинства членов дружеского кружка. С одной стороны, ему казались неприемлемыми те средства, с помощью которых социалисты надеялись «переделать мир», те средства, о которых писал Герцен: «Общественное управление собственностями и капиталами, артельное житье, организация работ» и проч. Грановский отрицательно относился ко всем попыткам использовать эти средства на практике — как в прошлом, так и в настоящем.

«Социализм,— говаривал он,— чрезвычайно вреден тем, что приучает отыскивать разрешение задач общественной жизни не на политической арене, которую презирает, а в стороне от нее, чем и себя и ее подрывает». Политические реформы, направленные к освобождению личности, к устранению ограничений, стесняющих ее развитие,— вот в чем видел Грановский главный рычаг переустройства общества и государства; преобразования же социально-экономические, определявшие все стремления социалистов того времени, отступали для него на задний план.

Но в то же время было бы неверно утверждать, что Грановский вообще отрицал необходимость подобных преобразований. Очевидно, можно верить Чичерину, писавшему, что историк сочувственно относился к основной цели социализма —«к уменьшению страданий человечества, к установлению братских отношений между людьми». Впрочем, само по себе это сочувствие к конечной цели ни к чему не обязывало Грановского, пока он не выяснит своего отношения к средствам. Что, собственно, он мог предложить для достижения равенства и братства, отвергая «наглое нарушение прав собственности»?

Историк, несомненно, признавал всю важность этого вопроса, всю насущность его для Европы в настоящее время и для России в будущем. «Настоящее положение и будущность бедных классов,— писал он в одной из своих статей,— обращают на себя преи-

мущественное внимание государственных людей и мыслителей Западной Европы, где пролетариат действительно получил огромное значение. Но защитники старины, которые в этом явлении видят нечто доселе небывалое, исключительно нашему времени принадлежащее и его обвиняющее, находятся в странном, быть может, добровольном заблуждении. На тех путях развития, которыми шли все исторические общества, за исключением патриархальных государств Востока, нельзя было избежать пролетариата».

Но, признавая, что проблема обнищания, пролетаризации масс уже встала во весь рост перед Западом и неизбежно возникнет в России, Грановский популяризировал такие средства к ее разрешению, которые сейчас выглядят утопичнее самых смелых проектов отвергаемых им Фурье и Оуэна. Так, он обращался за рецептом к программе популярного в 1830—1840-е годы в США «Аграрного союза», предлагавшего превратить неимущие массы в мелких земельных собственников; в этой программе историку слышались отголоски идей римских трибунов Гракхов. Грановский излагал ее с нескрываемым сочувствием: «Существующая собственность останется неприкосновенной. Продажа государственных земель должна быть прекращена и земли разделены на участки в 160 акров. Эти участки составляют неотчуждаемую собственность государства, которое раздает их во владение с известными повинностями. Каждый отец семейства имеет право на получение 160 акров, но с условием обрабатывать их самому или через детей своих. Никто не может владеть двумя участками». Именно по поводу этой программы Маркс и Энгельс писали, что она «столь же неосуществима и столь же коммунистична, как мечта превратить всех людей в императоров, королей и пап...»

Вопрос о будущем человечества был теснейшим образом связан и с отношением к революции, к ее роли в процессе движения в это будущее. Для Герцена, Огарева, Белинского с каждым годом становилось все яснее, что на пути к их идеалам не избежать без-

жалостной борьбы. Поэтому такой огромный интерес вызывал у них исторический опыт, накопленный человечеством в революционных бурях прошлого. И на первом плане здесь были эпохальные события конца XVIII века, как нельзя лучше доказывавшие, с их точки зрения, всю мощь и действенность революционных средств. «Велика французская революция, — писал в дневнике Герцен.— Она первая возвестила миру, удивленным народам и царям, что мир новый родился — и старому нет места».

Белинский именно в середине 1840-х годов «открыл» для себя французскую революцию и увлекся ею со всей свойственной его натуре страстностью. Панаев составлял для него историю революции «по Минье, с прибавлением самых знаменательных речей жирондистов и монтаньяров». Каждую субботу у Панаева собирался узкий круг друзей, которые увлеченно слушали его чтение. А Белинский не просто слушал, он буквально жил в атмосфере 1790-х годов: «Он следил за чтением с лихорадочным любопытством; потрясенный до глубины, он прерывал чтение восторженными восклицаниями, беспрестанно вскакивал со стула...»

Когда началось обсуждение услышанного, то «роялистов» среди друзей не нашлось; раскол в отношении к революции прошел по другой линии: большинство слушателей, вспоминал Панаев, «сделались отчаянными жирондистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров. Чтение оканчивалось обыкновенно жаркими спорами. Надобно было видеть в эти минуты Белинского! Вся его благородная, пламенная натура проявлялась тут во всем блеске, во всей красоте, со всею своею бесконечною искренностью, со всей своей страшной энергией, приводившей иногда в трепет сладеньких поклонников Жиронды». Воспоминания Панаева текстуально перекликаются с письмом Белинского к Боткину, написанным, несомненно, под впечатлением этих чтений: «Тут нечего объяснять: тут дело ясно, что Робеспьер был не ограниченный человек, не интриган, не злодей, не ритор и что тыся-

челетнее царство Божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострыми мечами слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов».

Это письмо Боткин показал Грановскому, и тот написал Белинскому пространный ответ, ясно показавший, что и среди московских западников «жирондисты» имеют весьма крепкие позиции. Сочувствуя эмоциональному порыву Белинского — «письмо очень хорошо, потому что вылилось из души в теплую минуту»,— историк решительно предупреждал приятеля: он на ложном пути. Резкими штрихами рисовал Грановский Робеспьера как мелкого, «практического» деятеля, разменявшего «высшие вопросы» на пошлость повседневной действительности. Жиронда же возвышалась над вождем якобинцев именно благодаря недостатку у нее практического смысла; жирондисты смогли подняться над буднями, взглянуть на жизнь с высоты своих «светлых идеалов» и, уступая своим противникам в решении задач сегодняшнего дня, умели заглянуть в будущее.

Все это было значительно дальше от исторической истины, чем самые смелые и эмоциональные оценки Белинского. В своем письме Грановский упрекал друга в предвзятости: «Тебе нравится личность Робеспьера, потому что он удовлетворяет делами своими твоей ненависти к аристократии и т. д.». Этот упрек в полной мере можно адресовать самому автору письма. Жирондисты, несомненно, привлекали его своей относительной идейной терпимостью, склонностью к компромиссу, нежеланием употреблять крайние меры в борьбе с противником, и он из «личной симпатии» приписывал им небывалое. Точно так же нескрываемая неприязнь к Робеспьеру как к личности заставляла Грановского искажать и без того сложный и противоречивый образ вождя якобинцев.

Но, отвлекаясь от конкретных и очевидных исторических ошибок Грановского, следует особое внима-

ние обратить на суть его похвал и упреков. Ведь «идеализм» жирондистов он усмотрел в том, что они «определили и указали на все вопросы, о которых теперь размышляет весь мир...». Робеспьер же, в своей «пошлой практичности», эти вопросы перечеркнул и в результате «доставил среднему сословию то положение, из которого его может выбить только новая революция (разрядка моя.— *А. Л.*)». Другими словами, историк порицал Робеспьера за то, что тот своей политикой заложил фундамент буржуазного строя; заслугу жирондистов он видел в стремлении от этой сугубой буржуазности оторваться, а средство для решения вопросов, «воплощающих все человечество», искал в «новой революции».

Отношение Грановского к революции, таким образом, было столь же двойственным, как и к социализму. Историк не отрицал необходимости переустройства буржуазного общества на иных, более справедливых началах, но его пугало насильственное вмешательство в устоявшиеся социальные отношения, «грубое нарушение прав собственности» и т. д. Грановскому куда ближе был реформизм, трактующий о постепенном перерастании капитализма в иной, совершенно нереальный строй, при котором все будут собственниками и «всем будет хорошо». Точно так же Грановский не отвергал революцию как средство преобразования мира. Однако и она представлялась ему неким абстрактным стремлением к «возвышенным идеалам»; реальные дела революции, неизбежно связанные с насилием, с кровью, Грановского пугали и отталкивали.

По сути дела, Грановский оставался верен себе, идя по тому же пути, который заводил его в тупик в «вопросах метафизических»: то, к чему властно призывал разум, отточенный в школе диалектики, отвергалось чувством, и Грановский останавливался на полпути, обуреваемый мечтами и терзаемый сомнениями...

* * *

Разрыв с самыми близкими, горячо любимыми людьми был настоящей трагедией и для Грановского, и для Герцена с Огаревым. Все они много размышляли о причинах этой ссоры, которая так безжалостно разрушила духовное единство их круга. В одном из своих писем Грановскому Огарев объяснял все расхождения друзей их изначально различным отношением к самому процессу познания действительности. Огарев буквально воспевал «скептицизм», в котором видел «высшего представителя неумолимости разума». В скептицизме, писал Огарев, «ужасно много скорби и трагического... Скептицизм есть действительное движение и безбоязненность скорби. Он ищет ясности и определенности и не терпит никаких теорий и фантазий, неадекватных истине...». Вот этого-то скептицизма, позволяющего отрешиться от личного и довести до логического конца любую мысль, даже если она противоречит твоему уже устоявшемуся воззрению на мир,— этого чувства, по твердому убеждению автора письма, не хватало Грановскому. И в своей переписке с Герценом за 1847 год Огарев оценивал их общего друга как «роскошно-задушевную натуру», как романтика, который своими мечтами затемняет суровый смысл жизненных конфликтов.

Письмо Огарева задело адресата за живое. В своем ответе Грановский прежде всего оспаривал огаревское понятие скептицизма: «Ты говоришь, что скептицизм по натуре своей насмешлив, бьет направо и налево. Это определение слишком узко. В нем может быть по крайней мере столько скорби, сколько иронии, не всегда бьет он направо и налево, а чаще смотрит недоверчиво на обе стороны». На *такой* скептицизм Грановский «крепко отстаивал свои права». «Я могу припомнить его рождение и рост во мне. Он был естественным следствием почти исключительного занятия историей». Именно это «скорбное» чувство Грановский считал источником «истинной, гуманной терпимости», которой определял все свои взгляды, все свои действия. «Ты не прав,—

писал он Огареву,— приписывая мне пошлость вроде: не троньте меня, а я вас не трону. Но во мне действительно глубокая ненависть ко всякой нетерпимости, не способной уважать особенности взгляда...»

В этих письмах друзья очень точно определили самую суть своих жизненных позиций. И Огарев, и Грановский основывали их на «скептицизме», но как розно толковали они это понятие! Огарев видел в нем стимул безостановочной работы мысли, постоянный источник безжалостной критики, очищающей понятия о мире от заблуждений и фантазий. С точки же зрения Грановского, «скептицизм» скорее тормоз для этого критического анализа, поскольку в нем — постоянное напоминание об условностях всякой истины и залог «гуманной терпимости» к чужому мнению. Огарев, исповедуя скептицизм, обрекал себя на вечную борьбу; Грановский — на поиски компромисса...

Это действительно определяющее качество натуры Грановского сослужило добрую службу в его «тихой работе»: терпимость Грановского, обращенная в прошлое, позволяла ему воздать должное каждому историческому явлению и придавала такое неповторимое обаяние его лекциям. Но когда речь заходила о будущем, «гуманная терпимость» Грановского вязала его по рукам и ногам. Ясно видя недостатки существующего строя жизни, сочувствуя униженным и оскорбленным, Грановский отвергал те средства, которые могли реально изменить положение вещей, поскольку они были связаны с «грубым нарушением прав собственности», насилием над личностью и т. д.

В непоследовательности Грановского не было ничего от тех «тактических» недомолвок, которые позднее нередко помогали российским либералам ловить рыбку в мутной воде. Демагогия была совершенно не свойственна человеку, которого история, как бы в назидание его наследникам, поставила у самых истоков этого течения общественной мысли. Грановский был искренен и в своем сочувствии народным массам, и в стремлении найти бескровные пути к их полному освобождению, и в сознании своего бессилия, своей

непоследовательности. Только приняв его таким: честным, гуманным, любящим и — слабым человеком, мы сможем понять то глубокое чувство, которое, несмотря на все размолвки, испытывали к нему Герцен и Огарев, и ощутить весь трагизм прощальной сцены, ярко описанной в «Былом и думах»: «Боже мой!— сказал он,— неужели и наша кучка людей, единственное место, где я отдыхал, надеялся, любил, куда спасался от гнетущей среды,— неужели и она разойдется в ненависти и злобе?

Он покрыл глаза рукой.

Я взял другую... мне было очень тяжело.

— Грановский,— сказал я,— Корш прав: мы все слишком близко подошли друг к другу, слишком стиснулись и заступили друг к другу в постромки... Gemach! друг ой, Gemach!* Нам надобно проветриться, освежиться. Огарев осенью едет в деревню, я скоро уеду в чужие края — мы разойдемся без ненависти и злобы... что было истинно в нашей дружбе, то поправится, очистится разлукой.— Грановский плакал».

И после этого прощания у Герцена с Огаревым, очевидно, оставались надежды, что их любимый друг все-таки выйдет на верную дорогу. «Читал ли ты в «Современнике» статьи Грановского?— писал Огарев другу в декабре 1847 года.— Вот тебе для сравнительной анатомии живо написанные статьи. Вообще он с того времени, как вы расстались, развился и стоит совершенно по сю сторону».

Огарев ошибался. «По сю сторону» Грановский так никогда и не встал — его место было в другом лагере. И все же он остался единственным западником, к которому друзья-эмигранты до конца своей жизни сохранили не просто дружеское чувство, а горячую искреннюю любовь. «Страшно мне и больно было думать,— писал Герцен,— что впоследствии мы надолго расходились с Грановским в теоретических убеждениях. А они для нас не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь вперед заявить, что если время доказало, что мы могли розно пони-

* Спокойствие (*нем.*).

мать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сделаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна». Это был тот редкий случай, когда человеческие отношения оказывались выше логики идейной борьбы, чему, конечно же, немало способствовали и исключительное личное обаяние Грановского, и все особенности его мировоззрения, которое никак не укладывалось в узкие рамки либеральной доктрины.

И все же идейный раскол произошел, причем его никак нельзя было свести к частному конфликту внутри дружеского кружка. К этому времени «тихая работа» западников дала свои плоды: за ними пошло общество и прежде всего университетская молодежь. Эта молодежь следила за всем, что происходило в кругу их кумиров, готовая предъявить свои требования к тем, от кого так много ждала. В «Былом и думах» Герцен писал о той части молодежи, которая, страстно любя Грановского, начинала «восставать против его «романтизма». «Они,— вспоминал Герцен,— хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений». Уезжая за границу, Герцен и Огарев оставляли в России своих подающих большие надежды учеников.

Но и Грановский заботливо растил *своих* наследников. Правда, выученики, подобные салтыковскому Бурмакину, воспринявшие от своего наставника весь его возвышенный идеализм, довольно быстро сошли со сцены; уже в 1850-е годы их сменили иные наследники — расчетливые, практические деятели, подобные Б. Н. Чичерину, разменявшие этот идеализм на сухую практичность политических программ, со всеми неизбежными при этом потерями. «Соколовская ссора» была началом того грандиозного раскола, который затем, в 50—60-е годы, прошел через все русское общество, увлекая одних его представителей в различные правительственные комиссии и комитеты, других — в подполье, в ссылку, на каторгу.

* * *

Эпоха 1840—1850-х годов полна парадоксов. В самом деле: убежденный социалист и революционер Герцен в первой половине 1840-х годов идет рука об руку с «нашими»— московскими западниками, лучший из которых, Грановский, при всей широте своих убеждений всегда оставался либералом, склонным к умеренности и компромиссам. Пройдет еще немного времени, и тот же Герцен из-за рубежа протянет руку своим недавним врагам — славянофилам, пожать которую они, по его мнению, могут «на мосту социализма». Либерал Грановский, окончательно разошедшийся со славянофилами, резко критикует друга за самую мысль о союзе с этими «гробами повапленными», а через несколько лет почитатели Грановского уже не на словах, а на деле «на мосту реформ» пожимают руки наследникам тех, с кем так долго враждовал их кумир. В начале же 1860-х годов последователи западников и славянофилов объявят решительный бой Герцену, Огареву, их единомышленникам в России. Все становится на свои места...

По своим местам русских общественных деятелей развела р е а л ь н а я борьба за преобразование России, сменившая жаркие споры н отвлеченные темы. У эпохи, определявшейся этими спорами, были свои особенности, которые нельзя не учитывать. Мы же нередко подходим к ней с теми мерками, что и друзья-эмигранты Герцена, жаждавшие услышать от него при встрече новости о России и разочарованные тем, что новости эти «больше относились к литературному и университетскому миру», чем к политическим сферам. «Они,— писал Герцен,— ждали рассказов о партиях, обществах, министерских кризисах (при Николае I), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроениях студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной революции» и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление

«Мертвых душ» было важнее назначения двух паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами».

В этих словах дана, на наш взгляд, самая верная оценка эпохи «наружного рабства и внутреннего освобождения», эпохи, когда напряженная духовная работа не находила выхода вовне, когда не было ни малейшей возможности проверить свои взгляды на деле. И вот люди, которым не так уж трудно было найти общий язык в решении насущных вопросов русской жизни, истощали свои силы в бесконечных спорах, а те, кого эта жизнь неизбежно должна была развести в разные стороны, подавали друг другу руки... Не удивительно, что дружеские отношения «людей сороковых годов» так часто искажались неразрешимыми противоречиями, а в ожесточенных «сшибках» с идейным противником нередко прорывалось ощущение подспудной, необъяснимой тогда близости; не удивительно, что «дружба-вражда» стала характернейшим признаком «замечательного десятилетия».

ГЛАВА VIII. СЕМЬ ЛЕТ НЕСЧАСТЬЯ

В 20-х числах февраля 1848 года борьба за избирательную реформу во Франции, которую долго и безуспешно вела парламентская оппозиция, переросла в открытое столкновение с властью. 22 и 23 февраля на улицах Парижа начались стычки населения с войсками; в ночь на 24-е город покрылся баррикадами; не прошло и суток, как монархия пала — Луи-Филипп отрекся от престола и бежал из страны. Власть в свои руки взяло временное правительство, заявившее в своем обращении к народу о том, что «желает установления республики». Так началась революция, которой вскоре суждено было охватить почти всю Европу.

С. М. Соловьев вспоминал в своих записках, как вскоре после свадьбы тесть его «принес журнал с известиями о февральской революции; прочитавши из-

вестия, я сказал: «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию!» Сердце мое сжалось черным предчувствием».

Предчувствие не обмануло историка. Первые же вести из революционной Франции вызвали чувство страха у представителей высших сфер Российской империи. Под их впечатлением сын царя, великий князь Константин, записал в дневнике: «Нас всех как бы громом поразило, у Нессельроде выпала бумага из рук. Что же будет теперь, это один Бог знает, но для нас на горизонте видна кровь». Запись весьма характерная: испуг и кровь в ней упомянуты рядом. Для самого царя начавшаяся революция была воистину грозной бедой. Все те неуловимые идеи преобразования государства и общества, с которыми он так упорно и последовательно боролся и в России, и в Европе, теперь облекались в плоть и кровь, обретали зримый и от того еще более страшный облик. Старому строю угрожали уже не отвлеченные «превратные суждения», а вполне реальные бунт, восстание, «анархия». В 1848 году революция безжалостно крушила ту систему реакции, которую с такой заботой пестовал Николай в Европе; и не было никаких гарантий, что революционная гроза обойдет стороною Россию. Ощущение неизбывной опасности приводило царя в трепет и в то же время заставляло его мобилизовать все силы во имя спасения «исконных устоев».

Обуревавшие царя чувства со всей полнотой были выражены в высочайшем манифесте от 14 марта 1848 года. Определив свое отношение к революции как к «мятежу и безначалию», как к «смутам, грозящим ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства», царь пугал российского обывателя своими страхами: «Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей Богом вверенной России. Но да не будет так!» Николай выражал полную готовность встретить врагов наших, где бы они ни предстали... Совершенно очевидно, что здесь имелись в виду враги не только «внешние, но и «внутренние». И заключительные

слова манифеста: «С нами Бог! разумейте языци и покоряйтесь, яко с нами Бог!» — должны были принять к сведению прежде всего те, кто связывал свою жизнь с защитой и пропагандой «безумных западных идей» в самодержавной России.

Таким образом, бросив в 1848—1849 годах огромные силы на борьбу с европейской революцией, русское правительство отнюдь не склонно было забывать о своих домашних делах: внутри России оно также действовало с максимальным напряжением. Введя режим чрезвычайной охраны в западных губерниях, усилив до предела полицейский надзор по всей стране, сделав все возможное для того, чтобы свести к минимуму въезд и выезд из России гражданских лиц, правительство особое внимание обратило на те области русской жизни, где оно чувствовало себя наиболее уязвимым: литературу, науку, просвещение.

Николай и его приближенные боялись, что европейские события вызовут резонанс в русском обществе, «развратят» его, выведут из-под контроля. Сомнения в том, как бороться с этой бедой, не возникало, ибо речь шла все о той же «западной заразе», лекарство против которой было найдено еще в начале 1830-х годов. Оставалось лишь резко увеличить дозы. «Образованное меньшинство» по-прежнему обречено было страдать от цензуры, политического сыска, мелочной бюрократической опеки и проч., вдохновляемых все той же уваровской триадой. Однако в конце 1840-х — начале 1850-х годов все эти предупредительные и карательные меры проводились с таким размахом, что количество нередко переходило здесь в новое качество. Борьба с инакомыслием в России вступала в новую фазу; она становилась все более жесткой и последовательной, все более безжалостной. Свидетельством этих перемен явился, в частности, крах самого творца официальной идеологии.

Пятнадцать лет занимал Уваров пост министра народного просвещения. У этого ловкого, беззастенчивого карьериста было немало врагов в высших сферах,

с которыми ему не раз приходилось вступать в тяжелую борьбу. Время от времени проносились слухи о близкой отставке министра. Но Уваров прочно сидел в своем кресле, умело играя на тех струнах души своего августейшего повелителя, настрой которых он, казалось, изучил до тонкости. На протяжении всех этих лет Уваров постоянно ощущал поддержку Николая, служившую ему самой надежной защитой.

С началом революции положение резко изменилось. После первых же известий о ней в доносах Булгарина, докладах Орлова, записках Строганова и Корфа зазвучали обвинения по адресу Уварова в слабости, уклончивости, лицемерии и даже в прямом и сознательном попустительстве крамоле. Враги министра почуяли, что революционная буря как дым развеет царскую благосклонность к этому изощренному защитнику «устоев». Ведь теперь Уваров неизбежно должен был покинуть так хорошо им обжитый воздушный замок «истинно русского» просвещения, спуститься с небес на землю и дать отчет о положении дел в сфере просвещения реального. А здесь сладкоречивому министру похвастаться было нечем.

Первые же меры, принятые правительством для борьбы с проникновением «западной заразы» в русское общество, ясно показали, что Николай утратил всякое доверие к своему министру. Прежде всего он поставил под сомнение действенность осуществляемой министерством просвещения цензуры. Для усиления цензурного кордона правительством было создано два, последовательно сменивших друг друга комитета (27 февраля и 2 апреля). Последний из них, называемый обычно по имени его председателя Д. П. Бутурлина «бутурлинским», стал своеобразным символом «мрачного семилетья». Суть деятельности этого комитета определил сам Николай в своей устной инструкции Бутурлину: «...Цензурные установления остаются все, как были, но вы будете — я, то есть как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доно-

сить мне о ваших замечаниях, а потом уж мое дело расправиться с виновными». При этом Бутурлину и его сотрудникам вменялось в обязанность «выявлять вины» не только крамольных сочинителей, но и уваровских чиновников — растяп-цензоров; Николай приказывал членам комитета самым тщательным образом следить «за упущениями министерства народного просвещения». Таким образом, вся деятельность Уварова в сфере цензуры попадала под строжайший контроль весьма не расположенных к министру бюрократов.

Еще более характерны были меры, принятые в это время правительством непосредственно в области просвещения. Уже в 1848 году надзор за профессорами и студентами был заметно усилен. В 1849 году на российские университеты обрушился целый град охранительных мероприятий: были запрещены заграничные командировки, ограничено право выписывать книги из-за границы, сведена на нет даже та убогая «автономия», которой эти высшие учебные заведения пользовались по уставу 1835 года, и т. п. Все это было в порядке вещей и едва ли могло вызывать возражения у Уварова. Но весной 1849 года в обществе поползли упорные слухи, что университеты в России вообще будут упразднены.

Эти слухи были не лишены оснований: ведь бывшие у власти мракобесы, подобные оголтелому Бутурлину, искренне считали университетское образование источником всех зол. А главное, похоже было, что верховный «покровитель просвещения», всегда относившийся к «штатским» учебным заведениям с нескрываемой неприязнью, в эти тяжелые времена окончательно потерял к ним доверие. Если царь и не рискнул пойти на крайнюю меру, то он сделал все возможное, чтобы затруднить русской молодежи доступ к университетскому образованию. В мае 1849 года контингент студентов в каждом университете на всех факультетах (кроме медицинского и богословского) был ограничен до трехсот человек. Это привело к тому, что в том же 1849 году в Петербургский университет, напри-

мер, было принято всего 12 человек — по одному от каждой гимназии данного учебного округа плюс несколько человек по протекции или по родственным связям. Аналогичным было положение и в других университетских центрах.

На протяжении пятнадцати лет «пестовал» Уваров российское просвещение, пытаясь подвести под него «истинно русское» основание. На шестнадцатый год самодержец своей «реформой» ясно показал, что считает это просвещение злом, и тем самым официально признал ответственного за него министра банкротом.

Попытка Уварова оправдаться, вернуть утерянные позиции лишь ускорила развязку. В самый разгар слухов об упразднении университетов в мартовском номере «Современника» появилась инспирированная министром статья И. И. Давыдова: в ней уваровский клеврет публично высказывал все те же «истины», которые его патрон с 1833-го не уставал повторять в своих официальных записках, отчетах, циркулярах. Существование, а тем более необходимость университетов оправдывались в статье тем, что «отсюда образованные, благородные юноши исходят на верное служение обожаемому монарху». Назначение же университетов, в полном соответствии с уваровской теорией, определялось следующим образом: «разливать благотворный свет современной науки, не меркнущий в веках и народах, хранить во всей чистоте и богатить русский язык, орган нашего православия и самодержавия, содействовать развитию народной самобытной словесности, этого самопознания нашего и цвета жизни, передавать юному поколению сокровища мудрости, освященной любовью к вере и престолу».

Давыдовская статья, написанная и опубликованная с благословения министра, ясно показала, что Уваров не до конца прочувствовал, сколь резко изменила европейская революция и общую ситуацию в России, и его собственное положение. Разгневанный монарх имел все основания вопросить: где обещанное? Где

все эти «благородные юноши»? Где «самобытная словесность»? Где, наконец, «мудрость, освященная любовью к престолу и отечеству»? И какой ответ мог дать Уваров, если он не хуже своего повелителя знал, что «благородные юноши» жаждут перемен; что самые популярные журналы в их среде — это «Современник» и «Отечественные записки», что своими учителями русская молодежь считает Герцена, Белинского, профессоров-гегельянцев.

Слова, слова, слова — так должны были оценить давыдовскую статью в окружении царя. Да и слова-то, несмотря на их внешнюю благонамеренность, вредные. Бутурлинский комитет в своем представлении царю выражал негодование, что «частное лицо принимает на себя разбирать и определять тоном законодателя сравнительную пользу учреждений государственных, каковы университеты и другие учебные заведения». Реакция же Николая на статью была такой, что Уварову пришлось писать царю, уже от своего имени, доклад, в котором он пытался не только отстоять университеты, но и сбросить с себя тяжкое иго бутурлинского надзора. Уваров, в частности, писал, что не может нормально работать при существовании «вне министерства и без сношения с оным» особого цензурного комитета.

Уваров пошел ва-банк — и проигрался вчистую. Его доклад удостоился резкой резолюции Николая: «Не вижу никакой уважительной причины изменять существующий ныне порядок; нахожу статью, пропущенную в «Современнике», неприличною, ибо ни хвалить, ни бранить наши правительственные учреждения для ответа на пустые толки не согласно ни с достоинством правительства, ни с порядком, у нас, к счастью, существующим. Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе...»

Этой резолюцией вся уваровская программа действий перечеркивалась и отвергалась. И, надо сказать, у Николая были на то основания. Ведь охранительные меры в сфере просвещения и впрямь не срабатывали; развитие же системы учебных заведений, укрепление

ее квалифицированными преподавателями, расширение учебных программ и прочие позитивные действия, которые Уваров предпринимал якобы во имя торжества «истинно русских» начал, давали прямо противоположный эффект. Недаром еще в 1844 году, занося в свой дневник слухи о возможной отставке Уварова, Герцен писал: «Может, слетит, лучше ли это, хуже ли? Как сказать? Он человек дрянной, мелкий и ячный, а пользы наделал бездну». Подобный, поистине убийственный, комплимент со стороны самого решительного противника того строя, за охрану которого взялся Уваров, стоил окрика разгневанного самодержца.

До поры до времени Уваров своими сладкими речами отводил Николаю глаза. Теперь же от защитника «устоев» требовали не слов, а дел, причем дела эти должны были выражаться в безжалостных репрессиях и погромах. Перестроиться на новый лад Уваров оказался не в силах и, потянув еще немного, в октябре 1849 года подал в отставку.

Некоторое время министерское кресло пустовало — Николай затруднялся с выбором. Дело решила записка, поданная царю в январе 1850 года товарищем министра П. А. Ширинским-Шихматовым; в ней предлагалось преобразовать университетское преподавание таким образом, «чтобы впредь все положения и науки были основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах в связи с богословием». «Чего же нам искать министра просвещения,— сказал Николай по прочтении этой записки,— вот он найден».

Министр из Ширинского-Шихматова и впрямь получился на диво. «Много терпела древняя Россия, Московское государство,— писал Соловьев,— от нашествия татар, предводимых его предками — князьями Ширинскими, самыми свирепыми из степных наездников; но память об этих губительных опустошениях исчезла; а вот во второй половине XIX века новый Тамерлан — Николай — наслал степного витязя, достойного потомка Ширинских князей, на русское просвещение. Человек ограниченный, без образо-

вания, писатель, т. е. фразер, бездарный Ширинский славился своим благочестием, набожностью. Действительно, он был исполнен страха пред богом и пред помазанником его, исполнен страха пред архиереями, особенно же исполнен страха пред диаволом и «аггелы» его, исполнен страхом до того, что по ночам обкладывал себя дровами, дабы не стать добычею домовых».

Новый министр показал себя во всей красе при первом же посещении Московского университета. Он, в частности, прослушал лекцию, которой Соловьев начинал свой курс, и устроил профессору разнос. «Я,— вспоминал Соловьев,— говорил об источниках русской истории, о летописи, утверждал ее достоверность, опровергал скептиков, но закончил тем, что она дошла до нас в форме сборника, причем первоначальный текст, приписываемый Нестору, восстановить трудно. Что же? На другой день Ширинский призывает меня и делает самый начальственный выговор за мое скептическое направление, что я следую Каченовскому: «Правительство этого не хочет! Правительство этого не хочет!»— кричал разъяренный татарин, не слушая никаких объяснений с моей стороны».

Инструкции Ширинского, которыми он «облагодетельствовал» московскую профессуру, представляли собой целый ряд запретов: запрещено было подвергать критике летописное известие об убийстве царевича Дмитрия Годуновым; запрещено оспаривать летописную дату основания Русского государства; запрещено «произносить греческие слова по Эразму, ибо новогреческое произношение утверждено православной церковью», и проч. Во всем этом нелепом на первый взгляд произволе был свой внутренний смысл: Ширинский-Шихматов стремился изгнать из университетских лекций, равно как и из научных трудов профессуры, всякий намек на критику, исследование, самостоятельность суждений; при этом в отличие от Уварова новый министр употреблял самые грубые, сугубо административные методы. Такой подход к делу «защиты» русского просвещения от западного влияния

грозил, как острили современники, обернуться шахом и матом самому этому просвещению. Борьба правительства с «образованным меньшинством» приобретала откровенно изуверский характер, грозя лучшим представителям русского общества не только постоянными унижениями, оскорблением личного достоинства, но и арестами, ссылкой, каторгой.

* * *

Маховое колесо реакции, приведенное в движение французской революцией, набирало обороты постепенно. В феврале 1848 года, подводя в своем докладе на царское имя итог многочисленным доносам, которые посыпались в то время в III отделение, шеф жандармов А. Ф. Орлов отнюдь не склонен был безоговорочно следовать вдохновенным призывам «энтузиастов», вроде Фаддея Булгарина: «давить крамолу в зародыше». Хорошо зная цену своим корреспондентам, Орлов, вкупе с водившим его пером Дубельтом, сдержанно реагировал на обвинение в адрес «Отечественных записок», «Современника» и пр. В начале 1848 года они готовы были снисходительно отнестись не только к людям типа Краевского, бродившим по самой обочине западничества, но даже к самому Белинскому. В это время основным методом борьбы с «превратными суждениями» Орлов с Дубельтом считали цензуру, ибо «если слаб присмотр, то всегда найдутся люди с попытками печатать худое; при строгости же цензуры или Белинский и его последователи изменили бы свои мысли, или мнения их не имели бы ни гласности, ни значения».

Так сдержанно и «гуманно» рассуждали жандармы в 1848 году, в самом начале «мрачного семилетья». Прошло совсем немного времени, грянуло дело петрашевцев. Выяснилось, что в Петербурге, в самом сердце Российской империи, в виду Зимнего дворца и того мрачного здания у Цепного моста, в котором располагалось III отделение, несколько лет существовал целый кружок, изучавший и распространявший в русском

обществе идеи социалистов-утопистов. После этого открытия власть с новой силой обрушилась на крамолу, стремясь выявить и уничтожить ее всю вплоть до самого корня. Вот тогда-то, по образному выражению Кавелина, «ключ к литературе сороковых годов был подобран в III отделении», и тот же Дубельт «яростно сожалел, что Белинский умер, прибавляя: «Мы бы его сгноили в крепости».

После дела петрашевцев на русское общество воистину «дохнуло террором». Но и вне связи с этим «заговором идей» правительство в 1849 году действовало значительно более активно и жестко, нежели раньше. Досталось в это время славянофилам. В марте 1849 года был арестован Ю. Ф. Самарин. Поводом к аресту послужили рукописные «Рижские письма», в которых Самарин весьма резко критиковал антинациональные, с его точки зрения, действия русской администрации в Остзейском крае. Вскоре после этого был арестован И. С. Аксаков, «посмевший» в своей частной переписке выразить возмущение произволом властей по отношению к его другу и соратнику. Той же весной у его брата Константина и отца Сергея Тимофеевича произошло неприятное столкновение с московской полицией, вынудившей их «в соответствии с высочайшим указом» сбрить бороды и отказаться от ношения русской одежды.

Все эти гонения были взаимосвязаны: правительство, до 1849 года не обращавшее на славянофильство особого внимания, теперь преисполнилось подозрений. Причем главной и, пожалуй, единственной их причиной являлась идейная самостоятельность славянофилов: они жили независимой от правительственных указов духовной жизнью, они дерзали «рассуждать» вместо того, чтобы безгласно повиноваться,— следовательно, были опасны. С. Т. Аксаков был совершенно прав, когда писал о стремлении правительства «задавить наше направление». Следует лишь добавить, что в данном случае правительство «давило» не столько славянофилов, сколько именно «н а п р а в л е н и е». В это время Николай как никогда последовательно

проводил в жизнь свое твердое убеждение, что в России вообще не должно быть никаких направлений...

Естественно, что те представители русской общественности, которые взяли на вооружение идею «западного» пути развития России, в эпоху реакции могли ожидать еще больших неприятностей: именно в них охранители всех мастей должны были видеть «плевелы, посеянные западным ветром», идейных соучастников Петрашевского и его товарищей. Недаром имена Грановского и Кудрявцева мелькали в следственном деле петрашевцев, причем очевидно было, что «заговорщики» считали профессоров Московского университета своими по духу людьми, у которых можно и нужно было учиться. Неудивительно, что летом 1849 года московский генерал-губернатор Закревский предписал обер-полицмейстеру учредить за Грановским и Кудрявцевым «самый строжайший секретный надзор».

Надзор этот отнюдь не был формальным. Однако проникнуть в тайный смысл «тихой работы» профессоров-гегельянцев не под силу было никакому полицмейстеру. «Грановский,— писал Анненков,— как узнали после из признаний губернаторских чиновников, окружен был усиленным соглядатайством. Ждали первого легкомысленного шага и не дождались: все было серьезно, важно и строго в нем, хоть тресни...» Весь скудный улов властей составило казусное дело, возникшее в декабре 1849 года: «О профессоре Грановском и шуме, происходившем при защите диссертации»,— кто-то из почитателей профессора взорвал хлопушку во время выступления одного из оппонентов.

Однако у официальных охранителей хватало добровольных помощников с высшим гуманитарным образованием, жаждавших внести посильную лепту в разоблачение «крамольного» профессора. Потерпев в очередной раз поражение в научном диспуте, они взорвали свою, куда более опасную «хлопушку». В конце 1849 года Грановский, только что опубликовавший «Аббата Сугерия», с тревогой писал Фролову: «Здесь носятся престранные слухи о невинной книжке. В нее вчитывают то, чего я не думал писать. Все преж-

ние враги поднялись на ноги». А. В. Станкевич (брат Николая Владимировича, ставший в последние годы жизни историка одним из близких его друзей) в пояснение этому письму вспоминал: Грановского «обвиняли в том, что в чтениях истории он будто бы никогда не упоминал о воле и руке Божией, управляющей событиями и судьбами народов». По сути дела, это были все те же, хорошо нам знакомые обвинения, которые еще в 1841 году предъявлял молодой профессуре со страниц «Москвитянина» Шевырев; но теперь они формулировались на «церковно-полицейском» уровне. Подобное изуверство было вполне в духе времени: николаевское самовластье брезгливо отбросило даже те ветхие покровы цивилизованности, которыми оно до поры до времени маскировало свою средневековую сущность. В духе времени была и «мера пресечения», примененная к опасному профессору: его обязали «принести свои объяснения» московскому митрополиту Филарету.

Речь шла об «испытании в законе нашем» — в догматах православной церкви, испытании не только унизительном, но и грозившем серьезными неприятностями: что могло ждать в николаевской России человека, официально признанного безбожником? Недоверие, выраженное профессору «властью духовной», устраняло всякие препятствия для произвола со стороны светских властей и могло привести к изгнанию из университета, аресту, ссылке... В 1786 году именно так начались гонения на духовного пращура «образованного меньшинства» Н. И. Новикова; в 1820-е годы «во имя торжества религиозного мировоззрения над гибельными заблуждениями человеческого разума» ханжи и мракобесы — Магницкий, Рунич и другие — нанесли страшный удар молодому русскому просвещению... И вот сейчас история готова была повториться; казалось, время не властно над Россией...

Однако «испытание» Грановского ясно показало, насколько обманчиво такое впечатление. Незыблемость устоев русской жизни была чисто внешней — внутри-то все давным-давно созрело для перемен, все

ждало новых форм. И сам «испытуемый», и его «пастырь», и вся обстановка, в которой им пришлось вести свою своеобразную беседу,— все свидетельствовало об этом.

...Филарет, митрополит Московский, резко выделялся среди русских иерархов и своими талантами, и своим непомерным честолюбием. По мнению Соловьева, нарисовавшего в своих «Записках» яркий портрет митрополита, он вообще ошибся с выбором поприща: «Рожденный быть министром, он попал в архиереи». Пережив стремительный взлет своей карьеры в царствование Александра I, в годы торжества мистицизма и активной деятельности Библейского общества, Филарет утратил царскую милость при Николае, не терпевшем «самодеятельности» нигде, тем более в делах религиозных.

Москва стала для Филарета местом почетной ссылки; всякое влияние его на государственные дела прекратилось; честолюбие же осталось прежним. Теперь оно выражалось прежде всего в непомерном деспотизме, с каким Филарет преследовал любую самостоятельность суждений в подвластном ему духовенстве всех рангов; от своих подчиненных митрополит требовал лишь одного: «чтобы все клали поклоны ему...». Но в то же время вне сферы епархиальных дел, в своих обращениях «к миру» московский митрополит удовлетворял свое честолюбие иными средствами. «Филарет,— писал Герцен,— представлял какого-то оппозиционного иерарха; во имя чего он делал оппозицию, я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности».

Так оно, очевидно, и было. Обиженный Николаем честолюбец время от времени в меру своих скромных возможностей мстил своему обидчику. В Москве долго вспоминали его проповедь по случаю холеры 1831 года: «Он взял текстом, как ангел предложил в наказание Давиду избрать войну, голод или чуму». После того как взбешенный «русский Давид» пригрозил Филарету ссылкой, тот «смиренно покорился и разослал новое слово по всем церквам, в котором пояснял, что напрасно стали б искать какое-нибудь приложение в

тексте первой проповеди к благочестивому императору, что Давид — это мы сами, погрязшие в грехах». «Разумеется,— добавлял Герцен,— тогда и те поняли первую проповедь, которые не добрались до ее смысла сразу». Подобные эскапады привлекали к Филарету внимание московского общества, и он этим вниманием, несомненно, дорожил.

Такому не совсем обычному пастырю предстояло Грановскому дать отчет в своих мыслях и побуждениях. В письме Неверову он вкратце описал эту «беседу»: «Вчера меня вызвал глава здешней церкви — лукавый пастырь Филарет. Сияя своими бриллиантами, он потребовал от меня объяснений, почему я в чтениях истории не упоминаю о «воле и руке Божией»...

«О Вас говорят, что Вы вредный профессор, что Вы затемняете умы верных сынов государя нашего». «В Вашей деятельности есть что-то скрытое. Мне надо знать Ваши верования».

Все это он говорил взвизгивая, грозя пальцем и строго смотря на меня. Я ему ответил, что до моих верований ему нет никакого дела, и, возмущенный его наставлениями,— повернулся, чтобы уйти.

«Вы меня не так поняли»,— сказал он, ловя мою руку, приняв ласковое выражение».

Поскольку дальнейшая беседа продолжалась уже в совершенно ином тоне, Грановский «соблаговолил» объясниться, сославшись на личный опыт Филарета: «Вы ранее меня начали свое поприще и уже могли испытать, как трудно бывает уложить свою мысль в слово так, чтобы она не допускала никакого толкования». Этот весьма прозрачный намек на «оппозиционность» проповедей Филарета не мог не польстить честолюбцу. Впрочем, и сам митрополит в своих претензиях к Грановскому не преминул воздать должное его талантам. Разговор приобретал все более «светский» характер и кончился тем, что митрополит с благословением отпустил нераскаянного профессора.

Вся эта беседа, на наш взгляд, характерна, особенно в сравнении с инквизиторскими испытаниями прошлых лет: она ясно показывает, какие серьезные пере-

мены произошли в русском обществе в 1830—1840-е годы. Перед церковником на этот раз стоял человек, твердо уверенный в своем праве на личное убеждение, на внутренний мир, не подвластный ни богу, ни царю.

И Новикову, и «опальным профессорам» 1820-х годов — всем им была просто недоступна твердая решимость Грановского прервать «беседу», как только она приобрела оскорбительный характер. С другой стороны, не менее характерен и испуганный жест митрополита, ловящего за руку уходящего профессора и чуть ли не извиняющегося за резкость своего тона. А ведь Филарет мог быть грубым, мог быть совершенно безжалостным, недаром про него ходила поговорка, что он «одного пескаря в день ест и попом закусывает». Но на этот раз перед ним стоял не трепещущий священник или дьякон, а человек, в котором, невзирая на мягкость и сдержанность его манер, чувствовалась огромная сила. И силу эту Грановский черпал отнюдь не только в своих убеждениях: за Грановским, «кумиром Москвы», стояло общественное мнение — сила в России новая, неуловимая и в то же время достаточно мощная, чтобы привести в замешательство лукавого, умного и честолюбивого иерарха. Филарет явно принимал ее во внимание, иначе просто необъяснимым этот почти комический переход от допроса, начатого «по всей форме», к светской беседе, пересыпанной взаимными комплиментами.

«Испытание в вере» не имело для Грановского никаких последствий. Дальше закулисных слухов и беседы с Филаретом дело не пошло: так же, как и прежде, противники Грановского не собирались «противу рожна прати»— подобные «подвиги» были в это время под силу только изгоям вроде Булгарина.

В сущности, Грановский пожинал плоды своих трудов — ведь именно он и его соратники больше, чем кто бы то ни было, способствовали благодетельным переменам в сознании русского общества, тем переменам, о которых так ярко писал Герцен: «Сравнивая московское общество перед 1812 годом с тем, которое я оставил в 1847 году, сердце бьется от радости. Мы

сделали страшный шаг вперед. Тогда было общество недовольных, т. е. отставших, удаленных, отправленных на покой; теперь есть общество независимых... Тогда общество с подобострастием толпилось в доме графа Орлова, дамы в «чужих бриллиантах», кавалеры, не смея садиться без разрешения; перед нами графская дворня танцевала в маскерадных платьях. Сорок лет спустя я видел то же общество, толпившееся около кафедры одной из аудиторий Московского университета, дочери дам в чужих каменьях, сыновья людей, не смевших сесть, с страстным сочувствием следили за энергической, глубокой речью Грановского, отвечая взрывами рукоплесканий на каждое слово, глубоко потрясавшее сердца смелостью и благородством».

Вся история «мрачного семилетья» убедительно показала, в какую серьезную силу превратилась общественная оппозиция деспотическому строю. После погромов конца XVIII века, 20-х годов XIX столетия общественная жизнь в России, казалось, замирала, и нужны были годы, десятилетия, чтобы она вновь обрела свой «естественный ток». Теперь же подобные подвиги самодержавию были не под силу. «Замечательное десятилетие», насыщенное неустанной пропагандистской работой «друзей-врагов»— западников и славянофилов — не прошло даром. За эти годы русское общество в значительной степени восприняло высокие идеалы «образованного меньшинства, приобрело внутреннюю упругость, способность к сопротивлению самодержавной реакции. Если разгром декабристов явился в свое время катастрофой, обескровившей целое поколение, то все репрессивные меры правительства в конце 1840-х — начале 1850-х годов, проводимые с не меньшим, пожалуй, размахом и жестокостью (достаточно вспомнить дело петрашевцев), уже не способны были лишить русское общество жизненных сил. Оно и в новых, чрезвычайно тяжелых условиях продолжало свое развитие, не уступая завоеванных позиций. Под гнетом реакции последних лет николаевского царствования то лучшее, что было внесено в русскую общественную жизнь «образованным

меньшинством», ушло вглубь, затаилось, но жило, чтобы воспрянуть с новой силой в эпоху падения крепостного права.

* * *

И все же жизнь «в духовном подполье», когда выразить себя вовне было в равной степени и трудно и опасно,— такая жизнь изматывала. Недаром из писем Грановского конца 1840-х — начала 1850-х годов постепенно исчезает ощущение полноты и радости бытия, столь характерное для молодого, от успеха к успеху идущего профессора; уходит в прошлое вера в себя и в свое дело... Грановским овладевает тоска, которая с каждым годом становится все глубже; она постоянным рефреном звучит в переписке историка. «Пусть будет проклято настоящее! может быть, будущее будет светло...»— эта строка из письма Неверову как нельзя лучше определяет настроение Грановского в эти тяжелые времена.

Редко ухудшалось положение Грановского и его друзей в Московском университете. Радикальные перемены произошли здесь еще до начала европейской революции: Уварову удалось-таки «уходить» непокорного попечителя — в 1847 году Строганов подал в отставку... Профессора-западники справедливо восприняли его уход как тяжкий удар; характерно, что и славянофилы, которым не за что было любить попечителя, весьма скептически настроенного по отношению к их доктрине, смогли все-таки вполне объективно оценить это событие. «Для университета,— писал А. С. Хомяков,— отставка Строганова и особенно назначение его преемника мало чем легче холеры» (на место Строганова был назначен Д. П. Голохвастов — мелочной формалист и педант). Зато, по словам С. М. Соловьева, «все, что при Строганове было в черном теле, т. е. все черное, подняло головы...»

Правление Голохвастова было недолгим. Уже в 1849 году университет перешел под управление В. И. Назимова. Это был «человек добрый, простой, со всеми привычками тогдашнего енерала: при первом

удобном случае любил нашуметь, распечь подчиненного, но последний не должен был этим оскорбляться, потому что его превосходительство потом и обласкает». С учетом всех обстоятельств времени многие считали назначение подобного человека попечителем благом для Московского университета. Действительно, постоянное, методичное давление на «инакомыслящих» было не по силам Назимову. Профессора-западники довольно быстро приспособились к добродушному и совершенно некомпетентному в университетских делах «енералу», который ехал в Москву как на поле брани, готовясь к схватке с «отъявленными бунтовщиками»; не обнаружив же оных, Назимов решительно заявил: «Все наврали...» «Тщетно,— писал Соловьев,— ему внушали, чтоб он не смотрел на наружность, что эти тихони содержат в себе скрытый яд, обманывают начальство. Что же это такое,— отвечал Назимов на эти внушения,— все подлецы и подлецы, где же честные-то люди?»

Однако для того, чтобы новый попечитель, так трогательно отождествлявший верность «престол-отечеству» с личной честностью и порядочностью, утвердился в этих похвальных чувствах, нужно было время. Поначалу же подозрительной профессуре и прежде всего ее признанному лидеру пришлось испытать на себе все генеральские приемы Назимова, постоянно подогреваемого в своих подозрениях охранителями добровольцами. В конце 1849 года Грановский в письме к Неверову с горечью писал о «мелких грубых нападках», которые ему чуть ли не ежедневно приходилось выносить от нового попечителя, о шпионстве, невероятно развившемся в университете. «Начальство смотрит подозрительно на мои отношения к студентам. Опять, как и в 1845 году, у меня много врагов. У них одно сокровенное желание — сбыть меня. Начальству не раз докладывали, как и тогда, о моих политических идеях. Мне опять дают понять, что мне нужно переменить службу».

Но самым страшным, конечно же, было не это. «Что значит личная опасность в сравнении с общими

страданиями и гнетом»,— писал Грановский Герцену: ведь «грубые нападки начальства» и все прочие неприятности были лишь частным проявлением безудержной реакции «мрачного семилетия». Грановский приводил скорбный список тех «стеснительных мер», которым подверглось в эти годы русское просвещение: ограничение приема студентов в университеты, повышение платы за обучение, закрытие Дворянского института, составление учебных программ, которым «иезуиты позавидовали бы,— программ, искажающих самую суть изучаемых предметов».

«Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением», и безжалостно давит его всеми возможными средствами. «Тихая работа» Грановского и его друзей в глазах правительства все в большей степени приобретала облик опасной крамолы. Придирки университетского начальства каждый миг грозили обернуться куда более серьезными неприятностями. Надежда же на «светлое будущее», на конечное торжество своих идей в эти годы ожесточенных нападок и преследований становилась все более смутной.

Тяжелая, мрачная атмосфера реакции лишала сна, покоя, порождала те «мучительные хандры», на которые постоянно жаловался в своих письмах Грановский. При всем при том лидер западников не испытывал ни малейших колебаний в своем стремлении следовать по избранному пути до конца. «Сам я не уйду,— писал он Неверову.— Ты знаешь, я не из тех, кто бегает от опасности». Историк был весьма далек от мысли «затаиться», отказавшись от активной деятельности, или, приспосабливаясь к обстоятельствам, изменить «общему делу». В эти годы он, столь же последовательно, как и раньше, продолжал проводить в своих научных трудах и лекционных курсах западнические идеи. Более того, теперь он еще энергичнее использовал любую возможность, чтобы сказать свое слово в защиту «великого дела просвещения в России».

Так, он охотно принял официальное поручение министерства составить программу учебника по все-

общей истории. Дело было нелегкое и опасное: ведь профессор-западник своей беседой с Филаретом отнюдь не рассеял всех витавших вокруг него подозрений; его особа по-прежнему привлекала к себе самое пристальное внимание охранителей. А уж они-то отлично знали, как нужно преподавать всеобщую историю; в одном из писем Герцену Грановский с негодованием писал о программе по всеобщей истории, разработанной для кадетских корпусов, в соответствии с которой учитель «должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие не понятой историками Римской империи, которой недоставало только одного — наследственности». Подобные программы составлялись в расчете отнюдь не только на кадетские корпуса — они были одним из проявлений общего курса, принятого правительством в сфере просвещения и культуры. Грановский же в поручении министерства увидел возможность дать отпор «иезуитским ухищрениям» охранителей.

В своей программе он предусматривал полное и последовательное изложение в учебнике исторических событий, максимальную насыщенность его фактическим материалом; самое же главное — материал этот должен был быть связан воедино идеей об общем для всего человечества процессе развития. Так же, как в своих лекциях, в своих научных работах конца 1840-х — начала 1850-х годов Грановский последовательно и твердо отстаивал истинно научные принципы познания истории.

Подобная программа являлась откровенным вызовом властям, изуверству и мракобесию которых в те годы, казалось, не было предела. Тем не менее Грановский пытался обосновать ее, сделать убедительной даже для деятелей, подобных Шихматову. В своей объяснительной записке, предпосланной программе, он писал, какую опасность представляют творения «западных педагогов, враждебных либерализму», в которых постоянно проглядывает «намерение обмануть ученика, скрыв от него или представив ему в ложном виде факты важные, но не подходящие под

точку зрения автора». Грановский доказывал, что подобное искажение истины никого обмануть не может; оно неизбежно бросается в глаза всякому мало-мальски «любознательному и опытному ученику» и лишь пробуждает нездоровый интерес к запретным темам. Доводы профессора были хорошо продуманы, изящно изложены и, казалось, могли убедить кого угодно — только не власть имущих в самодержавной крепостной России. Программа Грановского соответственно «не имела последствий».

С тех же позиций Грановский пытался отстаивать истинно научное просвещение в письме к новому попечителю. Поводом для письма явилась статья «О старом и новом поколениях», опубликованная в 1851 году в 40-м номере «Московских ведомостей». По сути своей она ничем не выделялась из того потока обвинений, который обрушился на «образованное меньшинство» в эти годы. Автор статьи обвинял злонамеренных «прогрессистов» в попытке противопоставить русскую молодежь «старому поколению — истинному защитнику устоев». Попытка эта, по его мнению, вдохновлялась примером Запада, где давно свершившееся уже разделение поколений было одним из главных источников смут и анархии. Орудием же своим поклонники Запада избрали литературу и науку, насытив «свои писания» особой условной терминологией, позволяющей им обходить цензурный кордон: так, под «обновлением» и «возрождением» они подразумевают разрушение существующего порядка, под «воровством»— частную собственность и т. д.

Очевидно, Грановского особенно возмутило то обстоятельство, что подобная статья была опубликована в органе Московского университета. В письме Назимову он доказывал, что в России «спокойное общество» и не надо тревожить его «страшными подозрениями». Грановский утверждал, что отнюдь не таинственные «прогрессисты», а люди, подобные автору статьи, сеют смуту и восстанавливают «старое и новое поколения» друг против друга. Все письмо пронизано мыслью об опасности подобных выпадов против молодого рус-

ского просвещения. «Статья заслужила одобрение людей, радостно подхватывающих всякую выходку против науки и литературы, смотрящих на каждого писателя или даже просто образованного человека как на вольнодумца и безбожника. Деды этих людей ненавидели Петра Великого; внуки ненавидят его дело. Не они ли радовались и ликовали, когда разнеслись слухи о возможности закрытия университетов!»

Так же, как и объяснительная записка к программе учебника, письмо к Назимову было логично, красноречиво — и било мимо цели. Убедить подобными рассуждениями царского «енерала» было так же невозможно, как и издать в годы реакции учебник по всеобщей истории, выдержанный в строго научном духе. Столь же наивно выглядит и еще одна попытка Грановского отстоять просвещение: А. В. Станкевич в биографическом очерке о Грановском рассказывал о некоем «лице почтенных лет и в почтенном чине», которому было поручено доставить записку о «духе преподавания в Московском университете»... «Почтенное лицо», затруднившееся в составлении подобной записки, обратилось с просьбой о помощи к Грановскому. «Грановский обещал свое содействие и составил для него записку о благонамеренном характере и направлении Московского университета. Почтенный господин, получив эту записку, вместе с признательностью выразил Грановскому опасения, что, пожалуй, не поверят, что он написал ее сам. Скажут, говорил он, что я не умею так писать, слог надо будет поправить».

Помимо практической бесполезности всех этих «партизанских вылазок», приходится признать, что «мрачное семилетие» заметно исказило характер той борьбы, которую на протяжении всей своей жизни вел Грановский. Теперь ему постоянно приходилось кривить душой: писать о «святости монархических начал», распинаться за все «новое поколение» в любви «к Богу, Царю и России»— самодержавной, крепостнической России!— и проч. Очевидно, что все эти «поклоны» властям были вынужденными; за ними крылось стрем-

ление использовать любую возможность для того, чтобы хоть как-то противостоять реакции,— стремление, которое не может не восхищать. Ведь каждым своим демаршем Грановский подтверждал все подозрения на свой счет — и это в годы, когда любое подозрение очень быстро могло обернуться самым немилосердным приговором, когда всякая живая душа в России стремилась затаиться, затихнуть, переждать... Конечно же, «дипломатия» Грановского не могла ввести в заблуждение ни его друзей, ни врагов. И все же надо думать, что все эти безнадежные арьергардные бои, заставлявшие прибегать к унизительным уловкам, глубоко чуждым открытой, благородной натуре Грановского, действовали на него весьма удручающе. Реакция истерзала историка. «Грановский,— писал Герцен,— не был гоним. Перед его взглядом печального укора останавливалась николаевская опричнина... Но тем не менее я удерживаю мое выражение: да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь».

ГЛАВА IX. ОДИНОЧЕСТВО

В годы реакции Грановскому пришлось вести борьбу, казалось, безнадежную: он был одним из немногих, кто открыто защищал те идеалы и стремления, на искоренение которых в это время были брошены все силы самодержавно-бюрократического режима. И все же историк сумел отстоять свои позиции, ни на йоту не уступив мощному давлению темной деспотической силы. В тяжких испытаниях, которым реакция подвергла молодую русскую интеллигенцию, богатая натура Грановского раскрылась полностью; ведь Герцен, который как никто другой понимал своего друга, был совершенно прав, когда видел его силу «не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительном нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, по-

койной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание; мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово».

Именно в годы реакции в сознании современников окончательно сложился обаятельный облик Грановского — «рыцаря духа без страха и упрека»,— которому суждена была долгая жизнь в мемуарах, публицистике и даже в научной литературе. В это время историк стал признанным лидером «образованного меньшинства»: его слова на лету ловили завсегдатаи столичных литературных салонов; восторженные ученики по всей России разносили хвалу и славу своему профессору, студенческая молодежь находила в нем пример, достойный подражания. О более узком, дружеском круге и говорить не приходилось — «Грановский делается кумиром кружка»,— писал, вспоминая эти времена, И. И. Панаев... И тем более неожиданным и резким диссонансом в этой гармонии всеобщего обожания звучат строки из письма Грановского Неверову, написанные в 1849 году: «Тяжко, брат! Близкие люди ушли, кто совсем, а кто далеко. Кругом пустота».

Ощущение духовного одиночества, совершенно несвойственное Грановскому прежде, теперь стало постоянным,— и вполне оправданным. В конце 1840-х годов круг его общения заметно изменился, причем далеко не в лучшую сторону. «Силою вещей» историку пришлось расстаться с наиболее близкими по духу людьми, с теми, кого он горячо и искренне любил. В 1845 году совсем молодым умер один из ближайших соратников Грановского по Московскому университету — Д. Л. Крюков, его смерть стоила историку тяжких переживаний. В 1847 году за границу уехал Герцен; вскоре вслед за ним — Огарев... Эта потеря была для Грановского поистине невосполнимой. Герцена ему не мог заменить никто. Раздоры «соколовского лета» с каж-

дым годом все больше заглушались тоской друг по другу — и чувство это было взаимным: несмотря на разлуку, на полное почти отсутствие связи между собой, Грановский с Герценом так и не смогли «ни разойтись, ни сделаться чужими». Спустя шесть лет после отъезда Герцена, воспользовавшись редкой оказией, историк писал ему: «...Веселья в сердце нет; только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая, отраднейшая мечта моя в настоящее время — еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется».

В 1848 году Грановскому вместе со всем «образованным меньшинством» пришлось пережить еще одну тяжелую утрату — умер Белинский, так горячо и радушно встретивший историка в Москве в самом начале его пути, в самом начале «замечательного десятилетия»... Правда, после отъезда Белинского в Петербург их дружеские связи заметно ослабели. Очевидно, это было неизбежно; Кавелин, близко знавший и того, и другого, справедливо писал: «...Непосредственной симпатии между ними не было, да и не могло быть. Это были две натуры совершенно противоположные». Действительно, те противоречия, которые развели Герцена с Огаревым и Грановского по разным лагерям, должны были еще с большей силой сказаться на взаимоотношениях последнего с «неистовым Виссарионом», ненавидевшим все и всяческие компромиссы и привыкшим во имя истины не щадить ни себя, ни своих друзей. И все же накануне смерти Белинский в бреду все время поминал давнего друга. А Грановский, успевший застать «неистового Виссариона» живым, писал: «Он лежит в забытьи, но узнал меня, протянул мне руку, пожал мою и сказал: «Прощай, брат Грановский, умираю». Страшно и больно...»

И Герцен с Огаревым, и Белинский были людьми, с которыми Грановский никак не мог сойтись во взглядах. Отстаивая свое мировоззрение, он горячо спорил с ними, шел на конфликт — и не раскаивался в этом... Но между главными героями эпохи существовало глубинное духовное родство — они сходились в силе мысли, широте души и чистоте помыслов. Эти очень разные

люди были выкованы из одного благородного металла, поэтому их так тянуло друг к другу, поэтому никакие разногласия не могли заглушить в них ощущения близости. В конце 1840-х годов, приобретая множество восторженных поклонников, Грановский терял настоящих друзей...

После «соколовского лета» дружеский кружок, группировавшийся вокруг историка, приобрел идейную монолитность — и многое утратил в живости общения, плодотворности споров и способности к развитию. К тому же в конце 1847 года его буквально потрясла так называемая «крыловская история»: Н. И. Крылов, один из столпов «молодой профессуры», был уличен в моральной нечистоплотности; его, в частности, обвиняли во взяточничестве. Недавние друзья Крылова во главе с Грановским объявили ему бойкот и потребовали, чтобы нашкодивший профессор покинул университет. Крылов же во мгновение ока из западника превратился в ярого сторонника официальной доктрины, сблизился с Погодиным, обеспечил себе поддержку Уварова — короче говоря, сделал все возможное и невозможное, чтобы выйти сухим из воды. Тогда члены дружеского кружка, составлявшие его идейное ядро: профессора Грановский, Редкин, Кавелин и редактор университетской газеты «Московские ведомости» Е. Ф. Корш,— подали в отставку, которая с восторгом была принята министром просвещения. Лишь Грановскому, не отслужившему еще полного срока за свою берлинскую стажировку, Уваров отказал в этом благодеянии... В 1848 году отставные профессора — а вслед за ними и Корш — вынуждены были перебраться в «резиденцию», как именовал Петербург К. Аксаков; в Москве для них работы не нашлось.

Вновь, как и после ссоры с Герценом и Огаревым, Грановскому пришлось расставаться с друзьями. Правда, теперь они прощались не на век—связь между московскими и петербургскими западниками поддерживалась регулярно. И все же тесный круг единомышленников, общение с которыми определяло всю жизнь и деятельность историка, распался окончательно и

безвозвратно. Должно быть, именно после «исхода» из Москвы молодой профессуры Грановский явственно ощутил, что его время — время необъятных надежд и возвышенных стремлений — уходит в прошлое.

... К концу 1840-х годов в Москве осталось лишь два «ветерана» западнического кружка — Боткин и Кетчер. На первый взгляд казалось, что невозможно представить себе людей столь несхожих друг с другом. «Буршикозный» Кетчер поражал современников как своей неряшливой внешностью и странностями своего костюма, так и невероятной бесцеремонностью манер. Он вечно шумел, спорил по любому поводу с любым собеседником, подавляя оглушительным криком и грубостью выражений,— все это, впрочем, с большой долей добродушия, примирявшего с ним его обруганных и оскорбленных оппонентов. Утонченный же сибарит Боткин, стремившийся прежде всего к комфорту, как материальному, так и к духовному, был, напротив, весьма любезен в обществе, что отнюдь не исключало неожиданных и беспричинных приступов брюзгливой раздражительности. Однако при всех внешних различиях Боткина и Кетчера связывала общность их мировоззрения, главными чертами которого были политическая и социальная умеренность.

Разойдясь в убеждениях с радикальными членами кружка, Грановский, казалось, тем теснее должен был сблизиться с людьми подобного типа. На первый взгляд так оно и получилось. Кетчер вплоть до смерти Грановского был непременным членом узкого, «домашнего» кружка, постоянно собиравшегося у профессора. В самых приятельских отношениях с Грановским оставался и Боткин, который еще в 1847 году писал о нем и Е. Ф. Корше: «Эти два человека составляют в Москве все мое общество, и я привязался к ним всем сердцем».

И все же Боткин и Кетчер не могли заменить Грановскому тех, кто покинул его... Особенно ясно это стало после того, как Европу потрясли революционные события, а Россию — реакция. Боткин, по словам Анненкова, в это время «почти что тронулся»: он «тре-

петал за каждый час своего существования». Не принимая революцию идейно, Боткин видел в ней к тому же и основной источник личных «невзгод и опасностей»; это придавало особый колорит его постоянным нападкам на социалистов, развращающих массы, на массы, угрожающие «культуре и цивилизации», на Герцена, компрометирующего друзей своими заграничными изданиями... Страх никого не красит, и недаром даже такой близкий Боткину по духу человек, как Анненков, с нескрываемой брезгливостью вспоминал о поведении этого «нервного господина» в тяжкие годы реакции. В еще большей степени оно должно было отталкивать Грановского, никогда не жаловавшего людей, лишенных чувства собственного достоинства. К тому же Боткин, напуганный «оргией высылок, взяток и проч.», захлестнувшей Москву при новом «сатрапе» — свирепом генерал-губернаторе Закревском,— предпочитал в конце 1840-х годов большую часть времени проводить в Петербурге.

Кетчер вел себя иначе — в недостатке храбрости его обвинить было никак нельзя. И внешне у Грановского сохранились с ним самые теплые дружеские отношения. Но в то же время историк писал Коршу: «Сказать тебе правду? Я люблю по-прежнему Кетчера, но говорить с ним мне едва ли приходится раз или два в год. Не о чем. Он застыл на известных позициях и во многом пошел назад». Узость мышления и либеральное доктринерство старого друга исключали для Грановского всякую возможность духовной близости с ним.

Помимо Кетчера, «общество, постоянно посещавшее дом Грановского», составляли Н. Г. Фролов, Н. М. Щепкин и Е. И. Якушкин. Это были люди разных поколений. Фролов — сверстник Грановского, «берлинский друг», лишь в 1847 году вернулся из-за границы. Более десяти лет он посвятил самообразованию, усердно посещая лекции берлинских и парижских профессоров и не менее усердно работая в крупнейших европейских библиотеках. Вскоре после возвращения он стал издавать «Магазин землеведения и путешест-

вий» — солидный и весьма тяжеловесный по содержанию географический альманах. Грановский, который со времен берлинской стажировки поддерживал с Фроловым дружескую переписку, был самого высокого мнения о душевных качествах этого человека, о его добросовестности и благих намерениях. Но даже самая горячая дружба не позволяла ему оспаривать то, что бросалось в глаза: Фролов был вполне заурядным человеком, лишенным не только талантов, но и сколько-нибудь ярких черт характера. То же самое с полным основанием можно сказать и о «молодой поросли» западничества, учениках Грановского по Московскому университету,— Щепкине и Якушкине. Недаром современники, саркастически величавшие постоянных «сотрапезников» Грановского «второстепенными московскими пророками», видели в них не столько друзей, сколько свиту западнического лидера.

После «крыловской истории» к худшему изменилось и положение Грановского в университете. Прежде всего отставка профессоров-западников заметно усилила противную партию; западники же все больше ощущали себя «гонимой церковью». Однако, вспоминал Соловьев, и «в этом печальном состоянии было не без утешения»: «Мы все, молодые профессора, определили сблизиться тесно, ничего не делать без взаимного совета, собираться у каждого по очереди на вечера и толковать». Итак, опять дружеский кружок, опять молодые профессора, тесно связанные между собой единством взглядов и общностью цели... Но вот что характерно: рассказывая о составе нового кружка, Соловьев прежде всего вспоминал М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева, О. И. Пеховского, С. Д. Шестакова и П. Н. Кудрявцева... Грановского же не было среди «членов-учредителей» — он примкнул к ним позже.

Члены нового профессорского кружка сходились с Грановским во взглядах; большинство из них искренне уважали старшего коллегу, безоговорочно признавая его лидером «своего направления». И все же настоящей дружбы между Грановским и «новой» молодой профессурой так и не возникло. «Сильно привязыва-

лись все к Грановскому, но при нем, как при человеке крупном, все же, несмотря на его гуманность, должны были держать руки по швам в известном отношении...»

Несомненно, «бремя лидерства» в какой-то степени мешало сближению Грановского с профессорским кружком. И все же, очевидно, не в этом крылась главная причина их взаимного отчуждения. То были представители разных поколений, и, сходясь во многом, они во многом не понимали друг друга.

Пожалуй, ярче всего это непонимание выразилось в той характеристике образа жизни Грановского, которую дал в своих «Записках» тот же С. М. Соловьев: «...Люди самые привязанные к нему должны были иногда с горем порицать его в глаза и за глаза: лень заставляла его закапывать свой блестящий талант... Он был постоянно окружен толпою людей, с которыми весело было проводить дни и ночи, от остроумной, веселой беседы с которыми трудно было оторваться для кабинетного труда». Следует иметь в виду, что эти строки писал человек, большую часть жизни проведший в архивах и за письменным столом, переработавший огромную массу источников, издавший 29 томов замечательной «Истории России» и великое множество других произведений. Соловьев, как никто другой в его время, обогатил отечественную историческую науку; велико было и общественное значение его трудов, которые подвели под политическую доктрину западников мощное «историософическое» основание. Несомненно, Соловьев принадлежал к тем редким людям, которым удалось прожить свою жизнь с полной отдачей,— тем весомее звучали его упреки в адрес Грановского.

Но ведь и «шепелявый профессор» прожил жизнь точно так же... Многочисленные свидетельства современников, казалось бы, подтверждают суровую правду «Записок» Соловьева. «Общительность Грановского была прямо поразительна,— вспоминал Федор Корш, сын Е. Ф. Корша, в начале 1850-х годов подолгу живший у Грановских.— Как благодушно встречал он всякого, кто к нему приходил, и как охотно жертвовал

своим временем, прямо теряя его! Насколько в самом деле была ему приятна эта потеря — другой вопрос, но он никогда не показывал никакого признака неудовольствия». Записочки, которые Грановский в течение дня по нескольку раз посылал жене, нередко содержат лишь одно известие: «Меня похищают...» А сколько времени, должно быть, занимали приватные курсы западной истории, которые Грановский, «приноравливаясь к разным степеням знания и понимания», читал в это время самым разным людям: близким друзьям, любимым ученикам и просто «заинтересованным лицам» — историку Забелину, книгоиздателю Солдатенкову, отставному министру Уварову.

В этой постоянной круговерти была вся жизнь Грановского: для «кабинетного труда» и впрямь времени оставалось мало — сам профессор нередко жаловался на это в своих письмах. И все же образа жизни он не менял, да, наверно, и не мог изменить. Причиной тому была отнюдь не слабость Грановского, просто он всегда оставался верен своей звезде. Тот же Ф. Корш отлично объяснил эту удивительную готовность Грановского оставлять все дела ради живой беседы: он, писал Корш, «чувствовал себя учителем в самом обширном смысле этого слова,— учителем всего, что он считал достойным познания и усвоения... Он учил всякого, кто искал поучения, учил то словом, то примером, никому не навязывая ни своей умственной помощи, ни своих мнений...». В годы реакции Грановский продолжал делать свое дело, неустанно проповедуя новые идеи, воспитывая людей, по-новому мыслящих. К такой проповеди у Грановского был особый талант.

Так можно ли было считать Грановского беспечным прожигателем жизни? Можно ли было корить его и его ближайших друзей за «веселое времяпрепровождение», которое, по сути, скрывало все ту же «тихую работу»? «Рядом с болтовней, шуткой и вином,— писал Герцен,— шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в

одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительных явлений, которые не попались бы кому-нибудь из нас и не были бы тотчас сообщены всем.

Вот этот характер наших бесед не понимали тупые педанты и тяжелые школяры».

Публицистическая резкость последних строк вполне понятна: Герцен защищал не кого-нибудь, а «наших» — людей, столь близких ему по духу и дорогих по воспоминаниям. В целом же справедливость его слов не подлежит сомнению. И тем более характерно, что справедливость эта была недоступна Соловьеву — умному и во многих отношениях весьма проницательному человеку.

Конечно же, «тупым педантом» великого историка никак не назовешь, но педантом — пожалуй. Вся жизнь Соловьева была отдана тяжелому, кропотливому труду; во имя этого труда весь день историка был расписан буквально по часам, и расписание это соблюдалось свято. Грановский же времени своего не жалел никогда и ни для кого. И воздано было этим людям по трудам их: Соловьев оставил после себя замечательные книги; Грановский воспитал целое поколение... В сущности, они делали одно дело, но делали его по-разному, ибо, имея много общего во взглядах, оставались в то же время очень разными людьми. Достичь же взаимопонимания, духовной близости эти два ярчайших представителя московской профессуры были, увы, не в состоянии.

Столь же безнадежными с этой точки зрения представляются отношения Грановского и почти со всеми прочими членами нового профессорского кружка. О Каткове Грановский еще в начале 1840-х годов составил себе мнение как о сухом, самолюбивом, неприятном человеке, и мнение это оказалось устойчивым. Впрочем, Катков в 1850 году покинул университет, после чего личные отношения Грановского с ним почти прервались. Зато ближайший друг Каткова — античник П. М. Леонтьев, мастер интриги, «художник клеветы», попортил Грановскому немало крови: в начале

1850-х годов он стал одним из главных противников историка в Московском университете. Прочие же члены кружка были безлики — недаром Соловьев затруднялся дать им в своих записках сколько-нибудь распространенную характеристику.

Таким образом, наиболее яркие члены кружка были Грановскому несимпатичны; прочие ничем не могли привлечь его внимания. Единственное исключение составлял «ближайший коллега», историк-медиевист П. Н. Кудрявцев: это был свой брат «идеалист», воспитанный на Шеллинге и Гегеле и многими чертами своей натуры повторявший молодую профессуру начала 1840-х годов. Его доброта, терпимость, вера в высокую миссию исторической науки, стремление к «учительству» в самом широком смысле слова — все это позволило ему стать достойным соратником Грановского, близким другом, последней опорой в Московском университете.

Грановский, впрочем, добросовестно пытался поддерживать отношения со всем кружком, собирая его членов у себя по определенным дням. Однако собрания «западников второго поколения» носили формальный характер, резко отличались от непринужденных дружеских встреч, которые так украшали жизнь их предшественников. Сам Грановский, вспоминал Чичерин, признавался, что собирает у себя коллег «только по обязанности, ибо чувствует, что в этих собраниях царит непроходимая скука». Чичерин, в свою очередь, спешил засвидетельствовать справедливость слов Грановского: «Я был на одном из таких обедов... Собралось человек двенадцать, но я не слыхал ни умной речи, ни даже живого слова...»

Старый круг западников распался безвозвратно. Определенные трудности испытывали и их вечные антагонисты, их «друзья-враги» — московские славянофилы. В 1848 году Самарин писал А. Н. Попову: «Кружок наш, против того, что я застал в прошлом, рушится... Он совсем и, кажется, навсегда расстроился. Теперь нет двух человек, которые бы стояли вместе, заодно; все разбрелись врозь, и даже не удержалось прия-

тельских отношений, чем-нибудь не помраченных. Вследствие этого и вечеров нет». Создавшееся положение Самарин объяснял как истинный диалектик: «Все это произошло от того, что мысль, доведенная до известной степени развития, должна перейти в дело, осуществиться; за отсутствием общего дела, потребность деятельности порождает ссоры, люди начинают не соглашаться между собой потому только, что два года, будучи во всем согласны, каждый вечер говорили об одном и том же и только говорили. Повторяю опять: одно дело может связать надежно».

Самарин был, несомненно, прав. Эпоха дружеских кружков, на протяжении двух десятилетий определявших собою русскую общественную жизнь, явно затянулась. Новое поколение, незаметно выросшее под тихий рокот салонных бесед, жадно требовало д е л а. Однако в годы реакции сколько-нибудь серьезное дело было невозможно; в этом отношении новое поколение «образованного меньшинства» попадало в еще более тяжелое положение, чем их предшественники. И все же западническая молодежь решительно предпочитала синицу самых мелких практических результатов той журавлиной стае возвышенных мечтаний, которая властно влекла за собой Грановского и его друзей.

Кружок профессуры конца 1840-х годов не стал общественным явлением; его члены к этому и не стремились; они хотели лишь облегчить свою профессиональную деятельность, оказать друг другу поддержку в борьбе с враждебным окружением. В своих беседах профессора, как правило, ограничивались обсуждением университетских дрязг. «Идеалисту» Грановскому было в таком кружке нестерпимо скучно; прочие же члены, несомненно, ощущали неловкость в присутствии своего лидера.

Переход от возвышенных мечтаний к реальному делу был связан с потерей Москвой «умственной инициативы», которой она, несомненно, владела в 1830—1840-х годах. Этот процесс начался именно в годы «мрачного семилетия». Недаром в это время Грановский отвечал Коршу, жаловавшемуся на «недо-

статок умственной среды» в Петербурге: «Здесь... скучнее, чем у Вас». Недаром он при первой возможности бежал из Москвы в северную столицу, спасаясь не столько от самодура Закревского, сколько от тоски, от духовного одиночества...

В Петербурге, куда после «крыловской истории» переместился центр западнического движения, каждый приезд Грановского отмечали как праздник. У Корша, где обычно останавливался профессор, за ним «ухаживали, как за малым ребенком»; Редкин устраивал в его честь банкеты; на вечерах у Кавелина его носили на руках, не только в переносном, но и в буквальном смысле этого слова. «...Хорошо здесь принимают твоего Тимошку»,— писал Грановский жене.

Но Грановского влекли в Петербург не только те «хвала и слава», которыми встречали его старые друзья. Здесь действительно было «веселее», чем в Москве; здесь лучше ощущались новые веяния. Грановский имел возможность оценить их в полной мере прежде всего благодаря Кавелину. Этот в высшей степени энергичный, открытый, исполненный энтузиазма человек — «гениальный мальчуган», по характеристике Грановского,— был, как всегда, в центре общественной жизни. Более того, он, по словам Чичерина, сам «сделался маленьким центром», около которого собирались «всякого рода молодые и даже старые люди... Ему хорошо было известно все, что творилось в Петербурге; коротко знакомый с либеральными чиновничьими сферами, он был близок ко двору великой княгини Елены Павловны, которая очень его приласкала...». Именно через Кавелина Грановский познакомился с братьями Милютиными, которым суждено было впоследствии сыграть такую выдающуюся роль в подготовке и проведении буржуазных реформ. Братья Милютины и Грановский проявили друг к другу взаимный интерес; они встречались при каждом приезде Грановского в Петербург, и в переписке своей историк упоминал о новых знакомых с неизменным уважением.

Ежегодные поездки в Петербург были для Грановского своего рода отдушиной, в которой он спасался от

тоски. И все же едва ли Грановский мог обрести в них покой и полное удовлетворение. Во всяком случае, энтузиазма «вечного юноши» Кавелина, воспринимавшего столичную суету чуть ли не как начало новой эпохи, Грановский никоим образом не разделял. Кавелин, писал он жене, «в своих рассказах нам преувеличил все хорошее и утешительное и не заметил дурного и грустного в петербургской жизни». Несомненно, в Петербурге движения было больше, люди — крупнее, разговоры — ярче... Но и здесь так же, как и в Москве, русское общество все заметней меняло свой облик.

Вместо бесплодных «поисков абсолюта» новое поколение российских либералов готовилось к решению реальных политических и научных задач. В полную силу его представители проявили себя позже, в «эпоху реформ», но уже на переломе века «либералы-идеалисты» заметно теряют свой идеализм, а вместе с ним уходит в прошлое их абстрактная, но «теплая», от души идущая, гуманность; бесследно исчезает и та известная широта воззрений, которой, несомненно, обладали «люди сороковых годов», искренне стремившиеся отыскать пути, ведущие к «всемирной гармонии».

В Москве профессор С. М. Соловьев каждый год издает по тому своей фундаментальной, насыщенной богатейшим фактическим материалом «Истории России»; в Петербурге чиновник министерства внутренних дел Н. А. Милютин «пробивает» реформу городского общественного управления... Грановский не мог не понимать всего значения этих на первый взгляд будничных дел. Но в то же время он явственно ощущал, как за ними скрываются, уходят в прошлое возвышенные мечты его поколения о «новой земле и новом небе»,— их заменял практический расчет и «реальная» программа буржуазных преобразований. Туманный идеализм западников 1840-х годов вытеснялся у их преемников сугубо рациональным доктринерством, исполненным глубокого классового смысла и не допускавшим никаких «расплывчатых суждений...»

* * *

Один из самых характерных штрихов в облике «позднего Грановского», который как нельзя лучше поясняет все вышесказанное,— его отношение к революции 1848—1849 годов. Огромный интерес историка к этому общеевропейскому катаклизму отнюдь не был чем-то исключительным: все «образованное меньшинство» в эти годы жадно следило за развитием событий во Франции, Италии, Австрийской империи. Но вот восприятие и оценка этих событий Грановским ясно показывают, насколько одинок он был даже в кругу своих ближайших друзей.

Те материалы, которые имеются в нашем распоряжении,— а Грановский рисковал даже упоминать о европейских событиях в своем университетском курсе лекций,— убедительно показывают, что революция эта была для историка явлением органичным и закономерным. Поначалу он увидел в ней предвестие новой переходной эпохи на пути в светлое будущее. Победу буржуазного строя, к которому привела революция на первом этапе, историк отнюдь не склонен был рассматривать как наивысшее достижение человечества...

В письме к матери Б. Н. Чичерина Екатерине Борисовне — одному из немногих людей, с которыми Грановский находился в это время в доверительно-дружеских отношениях,— он делился своими горькими размышлениями по поводу свежих известий о безжалостном подавлении буржуазией рабочего восстания в Париже в июне 1849 года. «Опять там восторжествовала картечь, угнетатели ликуют. Они думают вернуть рабочих в прежнее рабство. Буржуазия опять собирает силы, но угнетенные не спят. Они покрыли Париж баррикадами, и это было в полном смысле классовое восстание пролетариев... Вторая республика была похоронена, и над ней склонились красные знамена. Верите ли, руки у меня опустились. Надежды на все рухнули. Мне тяжело, я не нахожу себе места».

Конечно же, наивно видеть в авторе письма последовательного революционера и защитника интересов

рабочих — ни тем, ни другим Грановский не был. Но письмо убедительно свидетельствует, что он не был и безусловным сторонником буржуазии; ненависть историка к насилию распространялась отнюдь не только на насилие угнетенных по отношению к угнетателям — произвол угнетателей вызывал у него еще большее отвращение.

Не в первый раз мы говорим о внутренней противоречивости Грановского, об отсутствии в его взглядах цельности и последовательности; и снова приходится убеждаться, что эти несомненные недостатки иной раз чудесным образом превращались в достоинства... Вот, для сравнения, как воспринял события в Париже вполне последовательный либерал Б. Н. Чичерин: «Как двадцатилетний юноша, я, разумеется, сочувствовал крайнему направлению, а потому для меня громовым ударом были июньские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые для нее были созданы. Когда мятеж был укрощен и водворился Кавеньяк, я сделался умеренным республиканцем». Здесь все предельно последовательно: «демократическая масса» хороша, пока «работает» на буржуа; когда же эта масса вступает в борьбу за свои собственные интересы, круша «создаваемые для нее учреждения», она сразу превращается в «разнузданную толпу», в борьбе с которой все средства хороши. При этом Чичерин по молодости лет хотя бы в начале революции был способен сочувствовать «крайнему направлению», а вот его старший единомышленник — Боткин еще в 1847 году негодовал на Герцена, «обижавшего» буржуа в своих письмах из Франции. Насколько же Грановский при всей абстрактности своих идеалов (а может быть, именно в силу этой абстрактности) был выше, свободнее этих людей, прочно связавших себя защитой интересов класса буржуазии!

Но именно поэтому исход европейской революции был так болезненно воспринят Грановским. «Увле-

чение было общее,— писал Чичерин о восприятии «образованным меньшинством» революции 1848—1849 годов,— все тогдашние либералы исполнены были веры в человечество и ожидали чего-то нового от внезапно призванных к политической жизни масс. Последовавшие затем события послужили для всех уроком; они воспитали политическую мысль, низведя ее из области идеалов к уровню действительности». В этой оценке много верного, но то, что для либерального доктринера Чичерина явилось «назидательным уроком», идеалиста Грановского потрясло до глубины души: переходная эпоха не задалась, человечество в своем развитии забуксовало на месте, светлое будущее окуталось мраком... «Я вчера искал успокоения на улице. День был хорош, и я бродил без мысли, без цели, не зная, где брожу. Вывели меня из оцепенения наши будочники с своими испуганными, деревянными лицами. Власть свинцовой руки чувствуется и на них, и не знаю, долго ли у нас это продлится. Впрочем, все присмирело, все придушено, и взрыва ждать неоткуда...»

Наверное, самым страшным в этой тоске было то, что она оставалась неразделенной. Те, кто окружал Грановского в тяжелые годы реакции, в подавляющем большинстве своем не способны были постичь всю глубину его терзаний. Люди же, близкие историку духовно, стоявшие с ним вровень, волею судеб или ушли из жизни, или покинули Россию.

Ощущение духовного одиночества усиливалось у Грановского с каждым годом; и в высшей степени характерна ностальгическая грусть, которой пронизаны его воспоминания об уходящем в прошлое «замечательном десятилетии». В 1854 году Грановский писал Коршу: «Тогда мы были молоды, и скольких нет более между нами. Сколько жизни и ума и сердца было в наших сходках, а теперь?.. Ты жалуешься на недостаток умственной среды в Петербурге. А разве она есть здесь? Я счастливее других. У меня есть Университет. Но и при том мне бывает нестерпимо скучно».

* * *

Университет, лекции, наука — «свое маленькое дело» — вот в чем пытался Грановский найти отдохновение от «тягот бытия». Но уйти от мира, спастись в своей работе, укрыться в этой «башне из слоновой кости» историку не удалось — слишком уж тесно было связано его дело с жизнью, обществом, родиной...

Казалось, Грановский навек усвоил свою, круто замешенную на гегельянстве историческую концепцию: цельная, стройная, четкая, строго логичная и в то же время исполненная истинного гуманизма, она как нельзя лучше отвечала и натуре историка, и требованиям эпохи. Однако события конца 1840-х годов, лишний раз показавшие, сколь извилист путь, по которому идет человечество, привели Грановского к радикальной переоценке ценностей. На Западе — подавленная революция и разбитые надежды; в России — свирепая, безысходная реакция... Тяжкие впечатления «мрачного семилетия» не могли не замутить прозрачную ясность гегельянской историософии. В годы реакции Грановский много и мучительно размышлял о своей науке; следы этих размышлений можно заметить в некоторых его трудах того времени. Наиболее же ярко и последовательно ученый сформулировал свою новую точку зрения в речи «О современном состоянии и значении всеобщей истории», произнесенной им на торжественном собрании в университете 12 января 1852 года.

Значительная часть этой речи посвящена была критике гегельянства в его отношении к истории. «Опека» гегельянской философии над историей приобрела, по мнению Грановского, слишком мелочный характер: в то время как единственной ее задачей является «определение общих законов, которым подчинена земная жизнь человечества, и неизбежных целей исторического развития», она настойчиво вторгается «в сферу частных явлений». Подобные вторжения подчас нарушают живую ткань исторического материала: абстрактные формулы начинают все больше довлеть над

нашим представлением о прошлом. Поверяя дела человеческие «логической необходимостью, почерпнутой из законов разума», последователи Гегеля нередко игнорируют все, что ей противоречит, объявляя это «случайным» и, следовательно, неважным. А между тем «всякое покушение... провести резкую черту между событиями логически необходимыми и случайными может повести к значительным ошибкам и будет более или менее носить на себе характер произвола».

Мысль о закономерном характере исторического процесса явилась в свое время одним из величайших достижений европейской науки; однако ныне, утверждал Грановский, она нередко доводится до абсурда, до «логического фатализма», который превращает человека в «бессознательное орудие роковых определений».

Подобный абстрактно-логический подход к прошлому вызывает ответную реакцию; у философии истории появляется все больше противников, которые вообще отказываются от всяких попыток «раскрыть нам настоящее движение событий», заявляя: «Дело историка должно заключаться лишь в верной передаче того, что было». С точки зрения Грановского, это такая же крайность, как и «логический метод» правоверных гегельянцев. Историческую науку должно провести между Сциллой логического фатализма и Харибдой бесплодного эмпиризма: она нуждается в своем, независимом от философии, «строгом методе».

В поисках этого автономного исторического метода Грановский обращался к естественным наукам. Он подчеркивал, что история имеет с «естествознанием» самую тесную связь: связь, которая почти полностью игнорируется «жрецами абсолюта». На исторический процесс оказывают мощное воздействие такие факторы, которые никак не назовешь «логически необходимыми»: физиологические особенности народа, природные условия, в которых он осуществляет свое историческое бытие,— все это «нельзя вывести из законов разума, но нельзя также отнести к сфере случайности». Это тоже необходимость в полном смысле слова, необходимость, которую в отличие от логичес-

кой, выведенной из разума, можно назвать естественною, выведенною из природы.

«История,— утверждал Грановский,— по необходимости должна выступить из круга наук филолого-юридических, в котором она была так долго заключена, на обширное поприще естественных наук... Действуя заодно с антропологией, она должна обозначить границы, до которых достигали в развитии своем великие породы человеческие, и показать нам их отличительные, данные природою и проявленные в этом движении свойства». Только на этом пути историческая наука может обрести то, чего ей так недостает, в настоящее время: «большую положительность и точность».

Последние слова как нельзя лучше выясняют первоисточник и речи Грановского, и многих других его работ этого времени. В последние годы своей жизни историк, несомненно, попал под влияние позитивизма, который на переломе века становится все более популярным в России. Распространение в русском обществе этой в высшей степени «деловой», практической философии было одним из предвестников грядущих перемен; Грановский же всегда чутко прислушивался к новым веяниям...

Отказ от самовластной, «все объясняющей» концепции истории, пристальное внимание к материальным факторам исторического процесса, стремление использовать в своей работе методы, подобные тем, которыми оперируют ученые-естественники, — все это было в высшей степени характерно, и на первый взгляд может показаться, что Грановский весьма последователен в своих речах, в своем стремлении перейти на новые позиции. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что историк не собирался целиком отвергать гегельянство во имя позитивизма, скорее он стремился сочетать одно с другим. Заключительная часть его речи носила «примирительный» характер: «У истории две стороны: в одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой — независимые, данные природою условия его деятельности. Новый метод должен воз-

никнуть из внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии. Только таким образом можно достигнуть до прочных, основных начал, т.е. до ясного знания законов, определяющих движение исторических событий». Грановский был далек от того, чтобы целиком и полностью подчинить «логическую необходимость» природной и тем самым провести полную аналогию между историей и естественными науками. Недаром же он в одной из своих статей этого времени особенно подчеркивал «опасное заблуждение тех немалочисленных защитников естествоведения, которые видят в нем и хотят дать ему первое место в воспитании над науками исторического и филологического содержания». Естествоведение, писал Грановский, ни в коем случае не должно поглотить историю, которая имеет свою специфику.

Основа этой специфики в том, что история в отличие от естественных наук имеет дело с людьми — с их высокими и низкими стремлениями, страданиями, подвигами и преступлениями. Поэтому-то на исторический процесс самое мощное влияние оказывают не только законы природы, но и законы разума. А кроме того, история властно требует нравственных оценок, в которых совершенно не нуждается естествоведение: «Истории предстоит совершить для мира нравственных явлений тот же подвиг, какой совершен естествоведением в принадлежащей ему области».

Грановский оставался верен своей натуре. Несколькими годами раньше Герцен, искавший истину столь же мучительно и страстно, нашел ее в материалистическом мировоззрении. Грановскому этот путь был заказан. Ф. Е. Корш весьма основательно писал по этому поводу: «...Хотя в истории он в последние годы своей жизни считал наиболее трезвым методом естественно-исторический, однако материализм ему был глубоко противен». Ощущая глубокую неудовлетворенность гегельянством, которое с каждым годом все больше теряло свое созвучие с современ-

ностью, он в поисках выхода обратился не к Фейербаху, а к Конту — точнее, к историкам и натуралистам, воплотившим в своих трудах идеи французского философа. При этом Грановский с его светлым умом ясно видел, что учение это, будучи последовательно приложено к истории, ведет именно к тому «голому эмпиризму», который был ему так отвратителен. Отсюда — стремление уравновесить позитивистские «естественно-исторические» методы, сохранив гегельянскую схему, сохранив в полной мере нравственный подход к истории. Можно ли было подобным арифметическим сложением разнородного создать единое, органичное целое?

В научной сфере так же, как и во всех прочих, Грановский был непоследователен; он и здесь ограничился компромиссом между старым и новым. Впрочем, речь «О всеобщей истории» в значительной степени была лишь вдохновенной декларацией. Свои лекционные курсы, свои научные работы последних лет ученый в целом выдерживал в духе старых гегельянских схем. Создать же труды, отвечавшие его новым воззрениям на историю, Грановский так и не успел — или не смог.

* * *

В 1853 году «плавное» течение русской жизни было нарушено Крымской войной. Начавшись разрывом дипломатических отношений с Турцией, она вскоре переросла в безжалостную схватку России с самыми передовыми государствами Европы — Францией и Англией. Этой войне, потребовавшей от страны максимальных усилий, суждено было обнажить все пороки самодержавно-крепостнического строя. Бесславная гибель флота, постоянные поражения армии, неспособность правительства, мобилизовав тыл, обеспечить Крым всем необходимым — такой дорогой ценой приходилось платить России за годы реакции, за десятилетия застоя.

Крымская война вызвала в русском обществе весьма противоречивые настроения. Многих его членов не миновало «патриотическое одушевление», усиленно раздувавшееся органами печати, причем отнюдь не только официальными. «Хор славословия и восторженной лести, не всегда в тот момент фальшивой, — писал советский историк Е. В. Тарле, — стал так могуч, строен, согласен, без единого диссонанса, как никогда до той поры не был».

Голос Грановского никогда не звучал в этом хоре. Прежде всего он ясно понимал, насколько неравны силы противоборствующих сторон. «Чем приготовились мы для борьбы с цивилизацией, высылающей против нас свои силы?» — задавал он горький вопрос людям, легко веровавшим в счастливый для России исход борьбы. А главное, он, будучи плоть от плоти «образованного меньшинства», на протяжении многих лет беспощадно подавляемого николаевским деспотизмом, понимал, чем грозит подобный исход ему и его ближайшему окружению. И, казалось, историк должен был занять почетное место среди тех «высоко стоявших и по своему образованию, и по своим нравственным качествам» людей, которые, по словам современника, «желали не успеха России, а ее поражения». Современник этот, тогда еще совсем молодой Е. М. Феоктистов, вращавшийся в кругу московских западников, так определял их общую позицию: «Конечно, только изверг мог бы радоваться бедствиям России, но Россия была неразрывно связана с императором Николаем, а одна мысль о том, что Николай выйдет из борьбы победителем, приводила в трепет. Торжество его было бы торжеством системы, которая оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей и с каждым днем становилась невыносимее; ненависть к Николаю не имела границ...»

Однако многих эта ненависть к главе деспотического строя заводила слишком далеко. Сверстник Феоктистова К. Н. Бестужев-Рюмин рисовал в своих воспоминаниях характерные фигуры убежденных

западников: М. Н. Каткова, «с восторгом» выбиравшего из газет «места, где говорилось о наших поражениях», А. Д. Галахова, который пропускал уроки — главный источник своего существования, — «если этою ценою можно было купить возможность услышать весточку о том, где и как нас поколотили...». «Когда же, — вспоминал Бестужев-Рюмин, — я возражал, говоря, что ненавидеть правительство можно, радоваться же поражению и подтачиванию народных сил не совсем естественно, то меня называли за это юнкером».

Подобным взглядам не откажешь в последовательности. Однако для Грановского они оказались совершенно неприемлемыми. «Соловьев и Грановский (насколько я слыхал последнего), — писал тот же Бестужев-Рюмин, — с горем говорили о наших неудачах». Действительно, эти столь различные люди на этот раз сошлись во взглядах. В своих записках Соловьев прекрасно показал трагическую двойственность положения тех, кто, искренне ненавидя официальную Россию, не мог радоваться ее позору, потому что позор этот был омыт народной кровью. «...Мы, — писал Соловьев, — терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные привели бы нас в трепет». Грановский мог бы подписаться под этими строками.

В начале войны историк с нескрываемой иронией писал Коршу, который, по слухам, «просился в Соловецкий монастырь для защиты тамошних святых от варваров»: «Я, брат, предпочитаю Дунайскую армию. Та все отступает для завлечения врага — и смело и безопасно». (Правда, тут же следовала характерная оговорка: «Не сердись за этот вздор».) Прошло немного времени, стало ясно, какими бедами чревата для России эта столь легкомысленно начатая война, — и ирония исчезла из писем Грановского, сменившись иными, куда более сильными чувствами.

В 1855 году после поездки в Воронежскую губернию историк с негодованием писал о том, как беззастенчиво уклоняется местное дворянство от призыва

в ополчение. Зато на обратном пути он встретил отряд ополченцев, из рядов которого послышались восторженные приветствия: многие офицеры оказались выпускниками Московского университета. Грановский услышал от своих учеников, что они почитают за честь умереть за Россию. «Мы все пошли. За то другие над нами смеялись». «Я, — писал историк, — гордился в эту минуту званием московского профессора».

Героическая оборона Севастополя вызывала у Грановского восхищение; в его защитниках он видел цвет России. «Был же уголок в русском царстве, где собрались такие люди», — повторял он. Весть же о падении города-крепости заставила историка плакать... «Будь я здоров, — писал он Кавелину, — я ушел бы в милицию (то есть в ополчение. — *А. Л.*) без желания победы России, но с желанием умереть за нее».

В этих строках — весь Грановский; и понятно, что с подобных позиций безоглядное злорадство по поводу поражений русской армии должно было вызывать у него не меньшее раздражение, чем самый восторженный «патриотизм». Между тем в годы войны люди, мыслившие подобно Грановскому и Соловьеву, составляли ничтожное меньшинство. Московское общество явно распалось на две противостоящие группы: «патриотов» и «пораженцев». И недаром в переписке военных лет Грановский еще горше обычного сетовал на полную невозможность найти в своем окружении понимание и сочувствие. «Так много свершается кругом, — писал он Фролову в октябре 1854 года, — так много противоречий в голове и сердце, что подчас не знаешь, куда деваться с этою ношею. Образованных отголосков на собственные мысли мало. Встречаешься с людьми просвещенными, мыслящими, которых знаешь давно, и с удивлением замечаешь бесконечное расстояние, разделяющее вас в самых коренных убеждениях». Круг общения Грановского в годы войны еще более сузился. «Я засел дома, — с горечью

писал он, — и, кроме университета, нигде не бываю».

Между тем война и впрямь несла с собой перемены. Для Грановского и других профессоров-западников первым их признаком стало назначение нового министра: в 1854 году, после смерти Ширинского-Шихматова, его место занял А. С. Норов. Это назначение произошло в известной степени автоматически — с 1850 года Норов был товарищем министра, то есть его «законным наследником». Но сам факт, что Николай утвердил это назначение, отказавшись от поисков изувера, подобного Ширинскому, был свидетельством определенных перемен. И по взглядам своим, и по характеру Норов никоим образом не годился в «душители и гонители». По единодушным отзывам современников, это был человек весьма образованный, исполненный искренних стремлений принести пользу делу русского просвещения, — и добрый до бесхарактерности. С его именем в профессорском кружке связывали одну из первых уступок «духу времени», на которую пошел в 1855 году Николай: самодержец, не терпевший никаких празднеств, за исключением придворных балов и военных парадов, позволил-таки отметить столетний юбилей Московского университета. Его справили 12 января, в Татьянин день — день основания, пышно, торжественно и чинно; это событие, вслед за назначением Норова, позволяло надеяться, что самые страшные дни остались позади...

От Николая, впрочем, серьезных перемен никто не ждал: это имя слишком прочно было связано в сознании современников с гнетом, застоем, реакцией. Но жить царю оставалось недолго... Николаю, искренне желавшему видеть свою страну мощной, великой державой, властно диктующей волю свою всей Европе, суждено было убедиться в ее непомерной слабости. Крымская война вынесла безжалостный приговор всему его тридцатилетнему царствованию, показав, сколь гибельным было оно для России. Своего полного банкротства царь пережить не смог; 18 февраля 1855 года, «разбитый, обкра-

денный, обманутый, одураченный, шеф Павловского полка отошел в вечность».

Весть о смерти царя разнеслась по Москве ранним утром 19 февраля и вызвала удивительные, ни с чем не сравнимые ощущения: тяжелым временам, казалось, пришел конец. Словно камень с души свалился. Соловьев вспоминал, как он, в тот же день отправившись в университетскую церковь приносить присягу новому императору, столкнулся на крыльце с Грановским: «...первое мое слово ему было: «Умер». Он отвечал: «Нет ничего удивительного, что он умер; удивительно то, как мы с вами живы...»

Смерть Николая открыла широкую дорогу надеждам на перемены. «Что бы ни было, а будет уж не то...» — эта строка из письма Хомякова, написанного под впечатлением от известий о смерти царя, как нельзя лучше отражала настроение русского общества. Как будто повеяло свежим ветром; важнейшие проблемы русской жизни стали предметом оживленного обсуждения в московских гостиных; по рукам пошли рукописные записки, трактовавшие пути отмены крепостного права, о перестройке системы государственного управления.

Это общее одушевление не могло миновать и Грановского. С началом нового царствования заметно изменилось к лучшему его собственное положение. Весной 1855 года Грановский был избран деканом исторического факультета, причем за него голосовали не только коллеги-западники, но и «люди старого закала», такие, например, как профессор богословия Терновский. Столь редкое единодушие тоже было данью времени: по справедливому замечанию современника, у профессуры «оживилась надежда на лучшую будущность университета; нужен был способнейший ходатай за потребности университетского преподавания». Кто же, кроме Грановского, мог претендовать на эту роль? В высшей степени характерно и то, что выбор московской профессуры без всяких проволочек был утвержден министерством. В то же время Грановский принял пору-

чение Норова написать учебник по всеобщей истории в соответствии с программой, разработанной им еще в 1851 году. Перемены, таким образом, были налицо: из подозрительного профессора, проводника «чуждых идей», от которого стремились избавиться при первой возможности, Грановский превращался в глазах начальства в полезного сотрудника, вызывавшего доверие и уважение.

Приняв на себя новые обязанности, Грановский отнюдь не собирался ограничивать ими свою деятельность. Он вновь предпринимает попытку осуществить свою давнюю мечту: завести собственный орган печати. В октябре 1855 года Грановский писал Кавелину: «Нужно было бы мне поговорить с министром о затеваемом мною с Кудрявцевым «Историческом сборнике». Мы думаем издавать 2—3 книжки в год. Эластическое слово «исторический» дало бы нам возможность касаться самых жизненных вопросов». Сам Грановский, в частности, собирался приготовить для сборника несколько статей под названием «Исторические письма», «желая изложить здесь ряд мыслей о своей науке и высказаться полнее и отчетливее о тех вопросах, которых коснулся в своей речи «О современном значении всеобщей истории». В том, что министр даст свое согласие на издание, Грановский не сомневался и торопил своих сотрудников в составлении программы «Сборника».

Казалось, волна общественного подъема, столь характерная для первых лет нового царствования, с головой захлестнула Грановского. Человек, при жизни ставший кумиром «образованного меньшинства», естественно, оказывался во главе своих почитателей, во главе общества, впервые в русской истории всерьез поверившего в свои силы. Но вот парадокс: сам кумир в эти силы совершенно не верил... Недаром же он писал Кавелину: «Не только Петр Великий был бы нам полезен теперь, но даже и палка его, учившая русского дурака уму-разуму. Со всех сторон беда; не хорошо и снаружи и внутри,

а ни общество, ни литература не отзываются на это положение разумным словом. Московское общество страшно встает против правительства, обвиняет его во всех неудачах и притом обнаруживает, что стоит несравненно ниже правительства по пониманию вещей». А. В. Станкевич вспоминал, что именно в это время всеобщего энтузиазма Грановский «переживал мрачные, тяжелые часы, в которые будущность России являлась ему в страшном виде. Он вспоминал тогда, что история представляет примеры народов и обществ, ослабленных гибельными влияниями и уже не находящих в себе достаточно сил для обновления, для возрождения к лучшей жизни. Он припоминал Испанию после Филиппа II, вспоминал долгие, напрасные усилия Италии возродиться для независимости и политической жизни...».

И вновь приходится говорить о духовном одиночестве этого человека, столь высоко вознесенного своими ближними. В последние годы жизни историк все более явственно ощущал, как не похожи на него его преемники, продолжатели его дела, — и мысль об этом была мучительна. Тот же Станкевич писал, вспоминая свои беседы с Грановским: «Из его обрывочных суждений, из его случайных замечаний можно было заметить, что он чувствовал в современной литературе недостаток твердых начал, тех чистых упований, той любви, той силы верований и убеждений, какими так богата была душа его».

Выразительной иллюстрацией к этой записи может служить незаконченный набросок статьи Грановского, направленный против ослабления классического образования, наметившегося в русских гимназиях в начале 1850-х годов. Критикуя в ней министерство просвещения, Грановский утверждал, что оно в данном случае следует «западному» образцу: именно в Европе «естественные и математические науки» все больше теснят в средних школах «чисто классический элемент». Этот процесс,

писал Грановский, порожден духом времени; «безрассудно было бы восставать против явлений, в которых выражалась существенная потребность...». Но, преследуя временную цель, ни в коем случае нельзя упускать из виду «высших благ и целей воспитания», ибо «не о едином хлебе сыт человек». Если же в обществе новые поколения воспитываются вне исторической перспективы, если они лишены идеалов, то подобное общество обречено... «Решительный перевес положительных, применяемых к материальным сторонам жизни знаний над теми, которые развивают и поддерживают в сердцах юношества любовь к прекрасным, хотя, быть может, и неосуществимым идеалам добра и красоты (разрядка моя. — *А. Л.*), неминуемо приведет европейское общество к такой нравственной болезни, от которой нет другого лекарства, кроме смерти». «Классика», по мнению Грановского, буквально пронизана «возвышенными чувствами нравственного долга и человеческого достоинства», столь необходимыми каждому строителю нового мира. Естествознание же, чрезвычайно важное с точки зрения материального прогресса человечества, не способно само по себе выработать в нем подобные чувства. Более того, оно «сообщает юным умам холодную самоуверенность и привычку выводить из недостаточных данных решительные заключения». Именно в безоговорочном подчинении европейской школы естествознанию Грановский видел одну из основных причин «развития в образованном поколении Запада той безотрадной и бессильной на великие нравственные подвиги положительности, которая принадлежит к числу самых печальных явлений нашей эпохи».

Нет необходимости доказывать здесь, сколь наивна была вера Грановского в чудодейственную силу древних языков. Ведь, по иронии судьбы, именно в России через десяток лет древние языки стали определяющим предметом гимназических программ;

и многим поколениям русской молодежи пришлось на себе испытать мертвящую силу «казенного классицизма», опираясь на который правительство не без успеха воспитывало аккуратных и дисциплинированных чиновников... С чисто практической точки зрения статья Грановского — не более чем курьез. Но вот для характеристики настроения историка в последние годы его жизни она просто бесценна, ибо ясно показывает, сколь гибельным представлялся ему «положительный», сугубо рациональный подход к жизни, не оставлявший места для «высоких идеалов», для нравственного подвига. И, конечно же, те упреки, которые обращал Грановский в своей статье Западу, имели куда более близких адресатов.... Он очень ясно осознал и четко сформулировал свою точку зрения на те черты современного общества, которые уже в конце 1840-х годов так раздражали и отталкивали этого «великого идеалиста». И следует сказать, Грановский хорошо понял свое окружение, может быть, раньше всех разглядев в зародившемся тогда русском либерализме склонность к доктринерству, отсутствие широты и полную неспособность подняться в своих делах и планах над интересами сегодняшнего дня. Какие же надежды мог возлагать на подобных деятелей человек, продолжавший в глубине души мечтать о «новой земле и новом небе»?

Так, тревогой и сомнениями встречал Грановский новую эпоху, почти не надеясь отыскать в ней свое место. Но всем его духовным метаниям был положен предел: с начала 1850-х годов историк часто и мучительно болел, постоянно жалуясь в своих письмах на невозможность нормально жить и работать; в 1855 году наступила неминуемая развязка — 4 октября Грановский скончался.

* * *

На переломе XIX века Россия вступала в новую эпоху: пришло время реформ, время коренных преобразований в существующем порядке вещей. «Умственные плотины», теснящие общественную жизнь, рухнули, казалось, безвозвратно, и развитие ее приобрело невиданную ранее мощь. «Образованное меньшинство» год от году расширяло свои ряды, видоизменяло состав: дворянская интеллигенция вытеснялась разночинной, на смену идеалистам сороковых годов шел реалист-шестидесятник. Менялись взгляды, вкусы, привычки, менялись образ жизни и образ действий, менялось мировоззрение... И многие из тех, кто привык ощущать себя во главе движения, совершенно неожиданно оказались в арьергарде; многие получили все основания повторять горькие слова современника: «Раздался свисток судьбы, декорации переменены, и я из либерала, нисколько не меняясь, стал консерватором».

Новые времена, новые цели, новые люди... Поколение Грановского покидало арену общественной борьбы, и почтительные аплодисменты в его адрес со стороны преемников и продолжателей все явственней заглушались свистом и насмешками непочтительной молодежи... «Хорошо умереть на заре», — писал о смерти Грановского Герцен; хорошо, добавим мы, уйти вместе со своим временем, которому отданы все силы, все способности, которое поглотило тебя целиком, без остатка.

БИБЛИОГРАФИЯ

Грановский Т. Н. Полное собрание сочинений. Т. 1—2. Спб., 1905.

Грановский Т. Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987.

Грановский Т. Н. Четыре исторические характеристики. Публичные лекции, читанные в 1851 году. М., 1852.

Грановский Т. Н. О современном состоянии и значении всеобщей истории.— В кн.: Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании имп. Московского университета 12 января 1852 года. М., 1852.

Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 1—2. М., 1897.

Письма Т. Н. Грановского к А. И. Герцену.— В кн.: Литературное наследство. Т. 62. М., 1955.

* * *

Герцен А. И. Публичные чтения Грановского.— В кн.: Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. Т. 2. М., 1954.

Шевырев С. П. Публичные лекции об истории средних веков г. Грановского.— «Москвитянин», 1843, № 12.

Тургенев И. С. Два слова о Грановском.— В кн.: Тургенев И. С. Собр. соч. в 12 т. Т. 11. М., 1979.

Григорьев В. В. Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве.— «Русская беседа», 1856, кн. 3.

Ветринский Ч. Грановский и его время. Спб., 1905.

Асиновская С. А. Из истории передовых идей в русской медиевистике (Т. Н. Грановский). М., 1955.

Каменский З. А. Т. Н. Грановский. М., 1988.

* * *

Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983.

Герцен А. И. Дневник 1842—1845.— Собр. соч. в 30 т. Т. 2. М., 1954.

Герцен А. И. Былое и думы, ч. 4—5.— Там же, т. 9—10. М., 1957.

Десятилетие министерства народного просвещения. Спб., 1864.

К и р е е в с к и й И. В. Избранные статьи. М., 1984.

О г а р е в Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. Т. 1—2. М., 1952.

П а н а е в И. И. Литературные воспоминания. М., 1950.

Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914.

Х о м я к о в А. С. О старом и новом. М., 1989.

Ч и ч е р и н Б. Н. Москва сороковых годов. М., 1929.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИБ № 6221

Левандовский Андрей Анатольевич

ВРЕМЯ ГРАНОВСКОГО

Заведующий редакцией **А. Житнухин**
Редактор **И. Симонова**
Художник серии **Е. Ковалева**
Художественный редактор **М. Решетько**
Технический редактор **В. Пилкова**
Корректоры **Е. Дмитриева, И. Ларина**

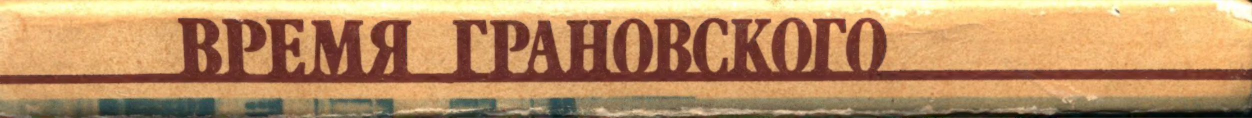
Сдано в набор 29.05.89. Подписано в печать 22.01.90. А02228. Формат 70×100 1/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Условн. печ. л. 12,35. Условн. кр.-отт. 25,3. Учетно-изд. л. 13,3. Тираж 100 000 экз. Цена 75 коп. Заказ 1553.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00621-6

75 коп.




ВРЕМЯ ГРАНОВСКОГО